

МАГИСТРАЛЬ АНТОЛОГИЯ

МАГИ
ИСТР
АЛЬ

АНТОЛОГИЯ

МОСКВА  **новый хронограф** 2021

МАГ ИСТР АЛЬ

АНТОЛОГИЯ



*К 75-летию
литературной студии
«Магистраль»*

МОСКВА **новый** хронограф 2021



УДК 821.161.1-1
ББК 84(2=411.2)6-5
М 12

М 12 Магистраль. Антология – М. : Новый Хронограф,
2021. – 544 с.

ISBN 978-5-94881-498-8

Антология представляет легендарную литературную студию «Магистраль» в нескольких поколениях ее участников и близких друзей – ушедших и ныне здравствующих поэтов, писателей, переводчиков. Состав авторов – лишь малая часть тех, кто прошел школу «Магистрала». Многие ее выпускники стали профессиональными литераторами. Антология служит своеобразным срезом литературной жизни Советского Союза и России как в негромких, так и в самых прославленных именах. Книгу составляют три раздела: «Историческая «Магистраль» (1946 – 1994); «Магистраль» в Доме Цветаевой (1995 – по сей день); «Друзья студии».

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2=411.2)6-5

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕЛО ЖИЗНИ. Алексей СМИРНОВ	9
---------------------------------------	---

I

ИСТОРИЧЕСКАЯ «МАГИСТРАЛЬ»

Александр АРОНОВ. ОСТАНОВИТЬСЯ, ОГЛЯНУТЬСЯ...	17
Нина БЯЛОСИНСКАЯ. ПОЗДНИЙ СВЕТ	22
Владимир ВОЙНОВИЧ. АВТОПОРТРЕТ. РОМАН МОЕЙ ЖИЗНИ (ФРАГМЕНТ)	30
Наталья ГЕНИНА. ПТИЦА ПЕГАС.	35
Виктор ГИЛЕНКО. МАГНИТНЫЕ СВЯЗИ.	43
Ян ГОЛЬЦМАН. ПУСТЫННЫЕ ПЕСНИ	51
Алла КАЛМЫКОВА. В ЭТОЙ ШКОЛЕ	59
Галина КИТАЕВА. ХОРОШО, ЧТО ТЫ ВЫЖИЛ...	67
Вадим КОВДА. Я УДРУЧЕН ЖИВУЧЕСТЬЮ СВОЕЙ...	72
Валерий КРАСКО. ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ	77
Владимир ЛЕВАНСКИЙ. Я ТРАВЫ НАДЕЛЮ РЫДАНЬЕМ...	85
Григорий ЛЕВИН. ПУСТЬ СКРОМЕН ЗНАК ЛЮБВИ ПРОСТОЙ...	96
Владимир ЛЕОНОВИЧ. ТОЛЬКО РАЗ Я ЖИВУ	100
ПЕРЕВОДЫ	110
Дмитрий ЛЕПЕР. ГОЛОС.	118
Евгения МИШЛЕ. ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ, ПРОСТИ...	127
Елена НАДЕИНА. РАСПАХНУ ОКНО.	131
ПЕРЕВОДЫ	136

Булат ОКУДЖАВА. КОГДА МНЕ НЕВМОЧЬ ПЕРЕСИЛИТЬ БЕДУ...	138
Софья ПЕТРЕНКО. В ПОЛНЫЙ РОСТ	148
Александр ТИХОМИРОВ. ДОРОГА	156
Эммануил ТОВБИС. СИНИЙ ВЕТЕР	161
Павел ХМАРА. ХЛЕБ НАШИХ ДУШ	168
Борис ЩЕРБАТОВ. СЛОВА ПРОРОКОВ И ЗАДИР...	175
Александр ЮДАХИН. БУДЬ ТЕРПИМЫМ К СТРАСТОТЕРПЦУ, ОТЧЕ...	181

II

«МАГИСТРАЛЬ» В ДОМЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Наталья АЛЕКСАНДРОВА. В РОДНОМ ДОМЕ	189
Марина АРХИПОВА. СВЕТ – ЭТО БОЛЬ	197
Владимир БЕКЕТОВ. БЫТЬ РАВНЫМ САМОМУ СЕБЕ...	201
Людмила БОГУСЛАВСКАЯ. ДУМАЯ СВОЕ...	206
Сэда ВЕРМИШЕВА. И САМОЛЕТ УБРАЛ ШАССИ...	214
Игорь КАЛУГИН. ЭТИ ПОЗДНИЕ ДРУЖБЫ НАДЕЖДУ НЕСУТ НА БЫЛОЕ...	224
Наталья МАРТИНЕЦ. ДОМИК В КОЛЬЦАХ ДОЖДЯ	229
Вера НИКОЛАЕВА. В КОЛЬЦЕ ОХРАННЫХ РУК	236
Людмила ОРАГВЕЛИДЗЕ. СКВОЗЬ ПРОШЛЫЕ И ЭТИ ВРЕМЕНА...	241
Галина ОСИНИНА. ПОЛЮШКО ВАСИЛЬКОВОЕ	251
Александр ПЕЛЕВИН. АЛХИМИЯ СТИХОВ	259
Елена ПОХВИСНЕВА. МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ СОЛНЦУ...	264

Нина САНИЦКАЯ.	СКВОЗЬ ВСЕ ПРОСТРАНСТВО МЧАЛИСЬ ПОЕЗДА....	271
Алексей СМИРНОВ.	ДВЕСТИ СТРОК ПЕРЕВОДЫ	279 288
Лилия СОКОЛОВА.	НАСТАЛО ТАКОЕ ВРЕМЯ	294
Людмила СОКОЛОВА.	ТЫ ВСЕ-ТАКИ В НАШУ ПОРОДУ	299
Виталий СПИДЧЕНКО.	ЖЕЛАНИЕ ПУТИ	306
Яков ТВЕРСКОЙ.	ДЕТИ СОРОК ШЕСТОГО...	312
Наталья ФИЛАТОВА.	ЗВЕЗДНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК	316
Ольга ФЛЯРКОВСКАЯ.	ЖИВЕМ, ЖУРАВЛИ, ЖИВЕМ!...	324
Мариам ЧАЙЛАХЯН.	ПРЯЖА ДНЕЙ	334
Алла ШАРАПОВА.	ТАМ ДРУГОЕ МОРЕ, НО ВЕДЬ МОРЕ....	342
	ПЕРЕВОДЫ	349
Петр ШЛЫГИН.	НАШ МИР НЕ ТЕСЕН	355

III

ДРУЗЬЯ СТУДИИ

Наталья ВАНХАНЕН.	ГОД СТАЛЬНОЙ МЫШИ. ПЕРЕВОДЫ	365 373
Евгений ВОЙСКУНСКИЙ.	БАЛТИЙСКАЯ САГА (ФРАГМЕНТ)	382
Михаил ГРОЗОВСКИЙ.	О ПРОШЛОМ, О ЛЮБВИ...	387
Григорий ЗОБИН.	НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ И МИГА	395
Александр ЗОРИН.	В ГОСТЯХ	404
Фазиль ИСКАНДЕР.	ПЬЮ, РОГ ТЯЖЕЛЫЙ НАКРЕНЯ...	415
Геннадий КАЛАШНИКОВ.	ЛЕРМОНТОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ	422

Наум КОРЖАВИН.	А Я БРОДИЛ В АКАЦИЯХ, КАК В ДЫМЕ...	430
Григорий КРУЖКОВ.	ПАЛАТЫ КОНУНГОВ, ЗЕМЛЯНКИ ПАРТИЗАН...	441
	ПЕРЕВОДЫ	447
Вильгельм ЛЕВИК.	ПЕРЕВОДЫ	454
Виктор ЛУНИН.	ДЕТСКОЕ ТЕПЛО	461
	ПЕРЕВОДЫ	469
Юлия ПОКРОВСКАЯ.	ОБРУЧЕННАЯ С ЧУДОМ ДУША	478
	ПЕРЕВОДЫ	486
Ольга ПОСТНИКОВА.	ТРЕВОГА БЫТИЯ	495
Леонид РАБИЧЕВ.	ЧУДЕС НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ	503
Александр РЕВИЧ.	ВСЕ ЭТО ЗНАЛИ МЫ...	514
	ПЕРЕВОДЫ	521
Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ.	ОН ИЩЕТ ЧИТАТЕЛЯ, ИЩЕТ...	526
Борис ЧИЧИБАБИН.	МОИ СТИХИ, МОЕ ДЫХАНЬЕ.	534

ДЕЛО ЖИЗНИ

1

Литературная студия «Магистраль» отмечает свое 75-летие. Ее росток пробился сквозь руины великой войны в форме литкружка для школьников в уцелевшем от бомбардировок Москвы Дворце пионеров на улице Стопани (ныне Огородная слобода, 6, стр. 1) в бывшем особняке чаепромышленника Высоцкого. Кружок повел поэт и литературный критик, член Союза писателей СССР Григорий Левин. Его первые кружковцы, два Вити – Гиленко и Забелышенский – стали первыми «магистральцами», когда кружок из Дворца пионеров перекочевал в Центральный Дом культуры железнодорожников (ЦДКЖ) на площадь трех вокзалов, там обрел свое название – «Магистраль» и превратился в литературную студию для взрослых всех возрастов, званий и общественных положений. Ограничение одно: участники студии должны иметь отношение к железной дороге. В рамках этого требования – профессии какие угодно: машинисты, кочегары, кондукторы, диспетчеры, стрелочники, если вне рабочего времени они питают страсть к сочинительству. Но таковых кот наплакал на общем фоне пристрастных. И Левин призывает всех изыскивать железнодорожников среди родственников или хотя бы среди друзей, раз местное начальство воспринимает название студии не как обобщенный символ пути, а непосредственно – как стальную колею.

Эта забота, видимо, так тяготила Григория Михайловича, что много лет спустя, когда студия собиралась уже в ВИНТИ (Всесоюзном институте научной и технической информации) на Соколе, где никаких железнодорожных шлагбаумов не ставилось, а в рядах студийцев

появился, наконец, настоящий железнодорожник, Левин всегда объявлял его со светящимся от радости взором:

– Читает начальник железнодорожной станции «Космос»!

И вставал импозантный мужчина во цвете лет – автор стихотворных пародий. Зуд рифмачества так его беспокоил, что, возвращаясь с занятий, он и в метро продолжал свои экспромты, демонстрируя нам и случайным пассажирам наблюдательность, умноженную на технику владения отглагольными и прочими рифмами: «По вагону не мотаться // И к дверям не прислоняться! // «Не заботься о собственной выгоде. // Ты мешаешь гражданке на выходе».

Еще одним предметом внимания Левина были выступления «магистральцев» на разнообразных эстрадах. «Красные уголки» жилых домов, парки культуры, дома отдыха – все это составляло наши вотчины. Казалось, любые подмости, любая аудитория для шефа – подарок. Что подвал ЖЭКа с тремя кемарящими старушками, что переполненный актовый зал ВИНТИ, вмещающий полтысячи слушателей. Что забрызганный осенним дождем «Зеленый театр» Парка Горького с одиноко торчащим зонтиком над мокрыми лавками, что Большой зал Центрального Дома литераторов: в начале Вечера почти полный, а в конце – почти пустой, потому что читает сорок седьмой поэт, и Вечеру пошел пятый час. Жестокая диалектика постоянно предлагала ведущему этот выбор: либо на радость публике выступают лучшие, а остальные в ауте; либо выступают все желающие, а публика пусть терпит. Но публика при всей своей воспитанности терпеть не хотела, а Левин всегда стоял на стороне поэтов. Его демократический дух, стремление никого не обидеть, дать высказаться не позволяли отказывать никому. Спрашивается: как же при таком либеральном беспределе он вел занятия?

А вот занятия – совсем другое дело.

2

Пройти через горнило «Магистрали» с индивидуальным обсуждением, когда тебе одному уделены час-полтора студийного времени, было сродни защите диссертации. После твоего чтения выступало несколько специально подготовившихся оппонентов, а затем при активном участии Левина затевалась общая дискуссия. Ее итоги подводил сам седовласый шеф. Суждения бывали нелицеприятными, часто противоположными. Атмосфера накалялась, но никогда не переходила «на личности», взаимные обвинения. Левин зорко следил за тем, чтобы обсуждение носило сколь угодно острый, но исключительно творческий характер, касалось сугубо сути дела, не нарушало стиль дружеского общения. И, конечно, украшением каждой дискуссии становились реплики и финальная кода самого маэстро. Удивительным образом ему – пусть не сразу, но неизменно – удавалось выйти на такую глубину понимания, которую, кажется, он и сам от себя не ожидал. Она рождалась у всех на глазах как бы экспромтно, и было необыкновенно интересно следить за развитием мысли, не продуманной заранее, а возникающей вот сейчас, в этот момент. И так случалось каждый раз. Как бы обыденно Левин ни начинал заключительный монолог, иногда выраставший в целую лекцию, но к концу его, а то и к середине он непременно находил свой «золотой ключик», отмыкавший представленную на обозрение «шкатулку». И все, включая ее автора, обнаруживали хранящиеся в ней подлинные ценности или ценности мнимые.

Григорий Михайлович обладал врожденным и с детства им самим почувствованным даром литературного критика, учительским талантом и ораторским пафосом. Здесь ему не было равных. Притом его критический дар проявлялся не столько в статьях, где он был скован внешним надзором, внутренним цензором, корпоративными обязательствами; нет, он блистал именно изустно, на

«Магистраль», в свободном и практически бесцензурном обмене мнениями. Недаром вначале по Москве, а потом и по всему Советскому Союзу заработало «сарафанное радио», тихо передававшее от человека к человеку, что в Москве есть такая «Магистраль», где люди говорят то, что думают. Не ограничиваясь вопросами литературного мастерства, «Магистраль» спланировала едиными представлениями о том, что есть «искусство при свете совести». Аналитичность Левина, учительская чуткость, абсолютная преданность поэзии объединяли вокруг него людей разных поколений, и многих – навсегда. «Магистраль» была делом его жизни. Но делом жизни или во всяком случае чем-то жизненно важным становилась она и для его учеников.

После окончания пединститута Виктор Гиленко был направлен по распределению на два года в одну из школ Камчатки. И все эти два года по его просьбе его мама прилежно посещала «Магистраль», посылая сыну в письмах подробные отчеты о каждом занятии.

Люди не расставались со студией до самого преклонного возраста. Наталья Никитина говорила: «Я выхожу из дома только по двум причинам: в поликлинику и на «Магистраль».

В квартирке у Речного вокзала на мой вопрос: «Булат Шалвович, а вы долго ходили к Левину?» – Окуджава ответил: «Долго. Лет пять. А может и больше. Я пришел гордый тем, что у меня есть книжка, а ни у кого не было, но с меня там такую стружку сняли, что я и про книжку забыл».

3

В 1995 году после ухода создателя студии, отдавшего ей пятьдесят лет, поэт Владимир Леонович, тоже левинский ученик, предложил мне вместе подхватить «Магистраль», не дать ей остаться в нетях. К тому времени мы оба были знакомы с основательницей Дома-музея Марины Цветаевой Надеждой Ивановной Лыткиной-Катаевой и ее

помощницей, а потом многолетним директором музея Эсфирию Семеновной Красовской. Они с горячим участием приняли студию под кров, связанный с именем одного из самых дорогих нам поэтов.

Такую личность, как Левин, заменить некому и нечем. Однако поддержать студийный дух, чтения по кругу, обсуждения, творческие вечера, представления новых книг оказалось возможным. Возможным оказалось и сохранить отношение к студии как к маленькому оазису друженности, тепла, блесков таланта, которые всегда редки.

* * *

Антология состоит из трех разделов:

- I. Историческая «Магистраль»
- II. «Магистраль» в Доме Цветаевой
- III. Друзья студии

Собранные здесь авторы – капля в море имен, прошедших за эти годы через ЦДКЖ, ВИНТИ, Дом Цветаевой.

В первом разделе – выпускники левинской студии.

Во втором – отчасти левинской и те, кто пришел в Дом Цветаевой.

В третьем – свидетели многих студийных перипетий, друзья «Магистралей», не раз бывавшие и выступавшие в ней.

Каждый автор представлен подборкой стихов или отрывком прозы. Поэты-переводчики – двумя подборками: оригинальной и переводной. За ушедших публикации подготовили составители.

Алексей СМИРНОВ,
руководитель литературной студии
«Магистраль» в Доме Цветаевой

I

**ИСТОРИЧЕСКАЯ
«МАГИСТРАЛЬ»**



Александр АРОНОВ
(1934–2001)

ОСТАНОВИТЬСЯ, ОГЛЯНУТЬСЯ...*

СЕН-СИМОН

С утра мороз не крут,
Земля белым-бела.
– Вставайте, граф, вас ждут
Великие дела!

Анри де Сен-Симон
С утра побрит, одет
От белых панталон
До кружевных манжет.

Анри де Сен-Симон
Уже подсел к делам.
Да будет мир спасен
К 17 часам.

Проект почти готов:
Отныне и навек
Отнюдь не будет вдов,
Голодных и калек.

На солнце и в тени
Снежок – не описать.

* Составила Алла Шарапова.

Как раз в такие дни
Приятно мир спасать.

И, поглядев на снег,
Все пишет, пишет он...
Великий человек
Анри де Сен-Симон.

Мы знаем наперед,
Что крив его маршрут,
До срока он умрет
За несколько минут.

И будет снег лежать,
И будет даль бела,
И долго будут ждать
Великие дела.

ПЕСЕНКА О СОБАКЕ

Когда у вас нет собаки,
Ее не отравит сосед,
И с другом не будет драки,
Когда у вас друга нет.

А ударник гремит басами,
А трубач выжимает медь –
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь.

Когда у вас нету дома,
Пожары вам не страшны,
И жена не уйдет к другому,
Когда у вас нет жены.

Когда у вас нету тети,
Вам тети не потерять.
И раз уж вы не живете,
То можно не умирать.

А ударник гремит басами,
А трубач выжимает медь –
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь.

ПЕСЕНКА МЕНЕЛАЯ

Закончилась Троянская война,
Вернулась в дом усталая жена.
Ей больше, может, нравился Парис –
Но победили греки, покорись.

Ахилл, Аякс, и Гектор, и Приам
По Елисейским разбрелись полям,
Сгорела Троя, ужас затая.
И обеднела Греция моя.

В моей квадратной комнате живет,
Обед готовит, стелет, ест и пьет
Семи царей неслыханный каприз,
На десять лет состарившийся приз.

Я в каждый из имеющихся дней
Обязан быть счастливей всех мужей.
Ведь если ты обычная жена –
Зачем была Троянская война?

* * *

Л. Жуховицкому

Остановиться, оглянуться
Внезапно, вдруг, на вираже,
На том случайном этаже,
Где вам доводится проснуться.

Ботинком по снегу скребя,
Остановиться, оглянуться,
Увидеть день, дома, себя
И тихо-тихо улыбнуться...

Ведь уходя, чтоб не вернуться,
Не я ль хотел переиграть,
Остановиться, оглянуться
И никогда не умирать!

Согласен в даль, согласен в степь,
Скользнуть, исчезнуть, не проснуться –
Но дай хоть раз еще успеть
Остановиться, оглянуться.

ВЫХОД

Где-то здесь. На полслова правей,
На полстрочки левее и выше
Должен быть этот выход. Я слышу
Холодок меж камней и ветвей.

Понимаю, никто никогда
В этот лаз не пролез ниоткуда,
Сквозь него не проник никуда
И назад не вернулся оттуда —

Что с того? Там, где нынче нас нет,
Завтра будет свободно и людно.
Есть такое явление – свет,
На словах объяснить это трудно.

Среди этих камней и ветвей
Дуновение свежести слышу.
Это здесь. На полслова правей,
На полстрочки левее и выше.

* * *

До голубой звезды сгустится синева,
Как я пишу сейчас в своей тетрадке,
И женщина произнесет слова
Вот эти самые и вот в таком порядке.

Она войдет и встанет среди вас,
Ни перед кем ни в чем не виновата.
Я буду далеко в тот поздний час,
В таких краях, откуда нет возврата.

И будет дальше пир.
А чуть позднее
Утихнут песни и устанут споры.
Один из вас остаться должен с ней,
Кто тайно и недавно стал ей дорог.

Пока и день, и все его труды
Отхлынули и помнятся так смутно,
Сгустилась ночь до голубой звезды
И за Уралом затерялось утро.

Нина БЯЛОСИНСКАЯ
(1923–2004)

ПОЗДНИЙ СВЕТ*

* * *

Смеется девчонка семнадцати лет.
Смеется в землянке, приникшей к земле.
Видать, ее шуткой какой-то поддели –
Смеется девчонка в потертой шинели.
Осколки мороза с полы отряхнув,
Промокшие ноги к огню протянув,
Смеется девчонка, в ладонях сжимая
Горячую кружку с промасленным чаем
И капли с ушанки роняя на лоб...
Смеется девчонка.
Смеется вздохнув,
Со вкусом,
Со вкусом,
Да так откровенно,
Как только девчонки умеют, наверно.

* * *

Я живу вполсвиста соловьиного.
Ветки в щепки крошит по лесам.
Глыбы с гор срываются лавинами.
Ты на свист явился или сам?

Видишь – никакая не красавица,
А вздохнула – вышел бурелом.

* Составила Ольга Постникова.

Понимаешь, что с тобой стрясается,
Что тебя касается крылом?

Кажется, с тобою не соскучишься.
Ты, я вижу, тоже голосист...
Представляешь, дурень, что получится,
Если засвищу я в полный свист?

* * *

Было молодо – не зелено, а красно.
Хорошо ли, что состарились поврозь?
Кто рассудит, что прекрасно, что напрасно?
Как разъялось, разломалось, разбрелось?..
Было – убыло. По целому рубила.
Бедовала вполбеды. И поделом.
Девка била, баба била – не разбила.
А старуха разметала подолом.

* * *

Булыжник вспоминает кряжи.
Тоскует по листве доска.
И даже в сероватой луже
Есть океанская тоска.

Она асфальтовую кожу
Опять морщинит и знобит.
Она по ней проходит дрожью,
Чтобы о бризах не забыть.

Чтобы и мы не забывали,
Забравшись под надежный кров,
Как кровь, бывает, закипает
И как, бывает, стынет кровь.

* * *

Крестный путь.
А может быть – воскресный.
Во спасенье или по вине
Прохожу обрушившейся Пресней.
Стены в ноги валятся ко мне.

И все то, чего уж нет в помине,
У меня зияет за плечом,
Угасает в кафеле и глине,
Опадает каждым кирпичом.

И уходит в рябь под светофором,
Свет заката на цвета дробя.
Остаюсь без улиц, по которым
Шла к себе,
Бежала от себя.

* * *

Слава Богу, что свеча –
Теплый круг на стол ложится,
Обнаруживает лица,
Зорким светом облуча.

И отбрасывает в тень
Непременное веселье –
Освящает новоселье,
Оселяет смертный день

Бескорыстным торжеством
Тихой зрелости осенней.
Завтра будет воскресенье.
Засыпает барский дом.

На столе бумажный лист –
Не камчатные полотна.
Слишком тесно, слишком плотно
Эти тени собрались.

Утвердились во плоти
Перед синими очами,
Закачались за плечами.
Помни, мужеству, плати!

И из плоского кольца
Выводи их понемногу
На высокую дорогу,
У которой нет конца.

Выводи их, выноси,
Осторожно обращая,
Все минувшему прощая,
И прощения проси.

Чтобы струи за окном,
Как в младенческой купели,
Первой влагой прозвенели,
Первородным холодком.

Чтобы теплился вослед
От порога до мосточка
Белый всплеск – твоя сорочка –
Очага уютный свет.

* * *

Н. П.

Как не сразу, как медленно входишь в покой –
Волочешь суету, как вину.
Под ладонью сосны,
Над широкой рекой
Нарушаешь собой тишину.

Извини меня, роща,
Прости меня, бор,
Деревами меня огради,
Отвори мне высокий осиновый створ,
Через просеку переведи.

Это белое море – березовый лес,
Утоли меня и удостой
Улыбнувшимся облаком,
Плотью небес,
Преподобной своей простотой.

* * *

Эти странные стихи –
Слишком просто,
Слишком проза.
Как гуденье паровоза,
Низковаты и сухи.

Как подбитый грузовик
От поверженной дороги –
Проседают, однобоки,
Тащут груз свой напрямик.

Одноцветные почти,
Словно скатки и пилотки,
Однозначны, как обмотки,
Сколько их ни перечти...

Не нарядны.
Не приглядны.
Серомытое былье.
Из прожарки.
Из каптерки.
Как девичество мое.

* * *

Видно, ныне свершилось, и мне, и тебе
отпущение старых грехов,
если было даровано в тихой избе
разделить и краюху, и кров.

И, пока самовар поспеваает, урча,
жаркий уголь в печи ворошить,
и сырую тельняшку с большого плеча
над своей головою сушить.

* * *

В глубинке тверского края
Все выстоял, все претерпел
Дом Анны и Николая,
Как рукопись – не сгорел.

Стоял, домой ожидая
Хозяев, а не гостей –
Убитого Николая
И Анну с крестных путей.

Стоял – не прогнул, ветшая,
Пока под тройным ключом
Сын Анны и Николая
Изведывал что почем.

Стоит, как свеча святая,
Глядят в него небеса.
Он Анны и Николая
Еще хранит голоса.

* * *

День солнечный. Второе января.
Тишайший день, и праздничный, и праздный.
Который год творенья отворя,
Не своевольный, а своеобразный.

Все наново, не начато, в наем
Не отдано, не горбится устало.
И красота, в младенческом своем
Неведеньи, себя не осознала.

Ни прошлого, ни будущего нет.
Мир не судим и никого не судит.
Не на белила, а на белый снег
Свободно лег нерукотворный сурик.

И ничего не вписано в строку.
Свистит синица, и снегирь сияет.
Носатая ворона на снегу
Боярыню Морозову не знает.

* * *

По обмелевшим траншеям тяжеловато и просто
Бродим гуськом в молодом подмосковном лесу.
Тридцатилетняя роща почти корабельного роста
Снегом набитые крылья напруживает навесу.

Это предзимье – снегов неустойчивых праздник.
Пестрая лыжница нас настигает и дразнит.
Непроизвольную тень заплетает в стремительный
свет.

Парный, настойчивый, и невесомый, и дерзкий,
Женственно полуокруглый и прямолинейный
по-детски,

Вполоборота навылет выносятся след,
Приостановленный на расстоянии близком
От поворота с воздетым к звезде обелиском.
Мы его знаем еще не одетым в гранит.

Это предзимье. Едва припорошено лето.
Только что вырыта эта траншея и эта
На повороте могила. И первый ровесник зарыт.
Первая наша работа: крутое, хромое движение –
С полной выкладкой выбраться из окруженья,
Перемогаться, выкладываясь до конца...

Легкая лыжница полным витком прокружилась.
Вышла навстречу. Приблизилась. И обнажилась
Незащищенность ее молодого лица.

Владимир ВОЙНОВИЧ
(1932–2018)

АВТОПОРТРЕТ. РОМАН МОЕЙ ЖИЗНИ (ФРАГМЕНТ)*

<...> – Ну, хорошо. – Левин взглянул на часы и схватился за портфель. Вместе с ним он стащил со стола часть бумаг, которые с шелестом расстелились по полу. Я кинулся их подбирать, но был остановлен небрежным жестом:

– Бросьте, некогда. Вы что сегодня делаете? Хотите поехать на мое выступление?

Я не поверил своим ушам. Как? Неужели? Такой человек, заменяющий самого Огнева, предлагает составить ему компанию.

- Вообще-то, я свободен, – сказал я, скрывая волнение.
- В таком случае поехали.

Левин нырнул в пиджак, зажал под мышкой портфель и ринулся к дверям. Запихнувши тетрадь за пазуху, я побежал за ним. С каждой секундой темп ускорялся. Конец коридора одолели и запрыгали по лестнице вниз.

Я был уверен, что внизу нас ожидает машина с шофером. Только интересно, какая? «ЗИМ» или «Победа»? У подъезда машин было несколько, но ни один «ЗИМ» и ни одна «Победа» дверец своих не распахнули. Но и не должны были, потому что первым делом мы посетили парикмахерскую, где Левина побрили и подушили одеколоном «Шипр». Но и после этого на наш пробег мимо «побед» и «зимов» ни одна машина не отреагировала.

* Выбрал Алексей Смирнов.

– Ловим такси! – скомандовал Левин, и мы оба, дергая руками, стали кидаться под колеса бегущих автомобилей.

Наконец поймали «левака», шофера чьей-то персональной «Победы» шоколадного цвета.

Я юркнул на заднее сиденье, Левин устроился впереди, прижав портфель к животу.

– В Парк культуры! – уверенно бросил он.

Водитель, почуяв настоящего седока, торопливо рванул с места и, обходя других, вывел машину к осевой линии.

Доехали до парка Горького, остановились перед воротами.

– Голубчик, – повернулся Левин ко мне, – если вам не трудно, подойдите там к кому-нибудь, скажите, пусть откроют ворота. Скажите, писатель Левин приехал.

Я уже не сомневался, что Левин имеет отношение к литературе. Может быть, даже самое прямое, но я не представлял себе, что он писатель. Слово «писатель», как мне тогда казалось, обозначает какое-то высшее человеческое звание, даже выше всяких генералов, маршалов, президентов, царей и генеральных секретарей.

Со всех ног кинулся я оправдывать оказанное мне доверие. В поисках учреждения, управляющего воротами, налетел сначала на очередь в кассу, потом передвинулся к окошку администратора. Там тоже была очередь, и немалая, но допустить, чтобы писатель Левин ждал слишком долго, я, понятно, не мог.

Растолкав очередь и кем-то оттаскиваемый за ворот, я ухитрился сунуть голову в окошко и закричал громко, чтобы слышали и администратор, и те, кто меня оттаскивал:

– Откройте ворота! Писатель Левин приехал!

Оттаскивавшие, оробев, устыдились, ослабили в своем напоре, но администраторшу высокое звание несколько не оглушило.

– Что еще за писатель? – закричала она. – Вот делать нечего, буду тут каждому ворота открывать. Он что, пешком не может дойти?

– Он не может, – настаивал я, – он писатель.

– Ну и что, что писатель? Не инвалид же.

К машине я возвращался, понурясь.

– Не открывают, – доложил смущенно.

– Как не открывают? – сверкнул глазами Григорий Михайлович. – Вы сказали, что я писатель? Хорошо, подождите меня, я сейчас.

Выскочив из машины, он убежал.

– А что, – повернулся шофер ко мне, – он очень мастистый писатель?

Он так и сказал «мастистый», и я, не зная этого слова, сразу сообразил, что оно происходит от слова «масть». То есть высокой масти.

– Да, – подтвердил я. – Очень даже мастистый.

– А что он написал?

Спросил бы чего полегче!

– Надо знать! – ответил я уклончиво.

– Вообще-то надо, – смутился шофер. – Только времени на книжки не остается.

Левин вернулся и, заняв свое место, кинул устало:

– Поехали!

Ворота были распахнуты настежь.

Проехали метров приблизительно семьдесят.

– Стоп! – распорядился Левин и царственным жестом протянул водителю две десятки, деньги по тем временам и в моих глазах немалые.

Мы вышли из машины как раз там, где стоял щит с афишей, сообщавшей, что сегодня на открытой эстраде состоится тематический вечер «НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!».

Было объявлено, что выступают член редколлегии журнала «Крокодил» Борис Егоров и поэт Роберт Рождественский. Вечер ведет писатель Григорий Левин.

О Егорове я кое-что слышал и раньше. Какие-то стихи Рождественского, написанные под Маяковского лесенкой, даже читал. Но их фамилии обозначены маленькими

скромными буквами, а вот имя и фамилия ведущего, как и следовало ожидать, буквами раза в два крупнее.

Подкатилась дамочка с большими серьгами в ушах:

– Ах, Григорий Михайлович, слава богу, приехали, я боялась, что опоздаете. Люди уже в сборе, через пять минут начинаем.

За кулисами вновь прибывших ожидали невзрачный Егоров и очень колоритный Рождественский в сиреневой вязаной кофте с большими пуговицами. Он был очень крупного роста, и все детали его внешности были соразмерными росту. Большие черные глаза, крупный нос, выдающиеся скулы и губы. Такие пухлые губы, словно их целовали пчелы. И крупная родинка над верхней губой.

Левин поздоровался с ними за руку и представил меня, назвавши имя и прибавив к нему: поэт.

Сердце мое сладостно замерло. Я, конечно, предполагал, я надеялся, я мечтал, что когда-нибудь моя профессия будет обозначаться словом «поэт», но никак не ожидал, что это случится так быстро и просто.

Рождественский и Егоров оба слегка приподнялись для рукопожатия, как равные с равным.

– Вы тоже выступаете? – спросил Егоров.

– Я? Выступаю? – переспросил я и посмотрел на Левина, ожидая, что тот сейчас засмеется и скажет: ну что вы, это же только начинающий автор, он еще пишет очень и очень слабо, о каких-то таких выступлениях еще нечего говорить. Но Левин сказал только:

– Нет, он сегодня не выступает, он просто пришел со мной.

Из чего я заключил, что сегодня я не выступаю, но завтра это вполне может случиться.

– Голубчик, у меня к вам просьба, – обратился ко мне Левин, – не считите за труд, пока я буду выступать, подержите мой портфель. Только поддерживайте снизу, а то ручка, видите, дышит на ладан.

Я сидел в первом ряду и, поглядывая на сидевшую рядом курносую блондинку, прижимал к животу потертый портфель с оторванным замком и подвязанной ручкой. Я поглядывал на блондинку, а блондинка не смотрела ни на меня, ни на портфель, не представляя, кому он мог бы принадлежать. Что было, конечно, обидно. Потому что если бы она знала, если бы знала... А почему бы ей, собственно говоря, не спросить: уж не принадлежит ли этот портфель кому-нибудь из выступающих? Я бы тогда обыкновенным будничным голосом сказал, что да, портфель принадлежит лично Григорию Михайловичу Левину, он обычно просит во время выступлений кого-нибудь из своих поддержать. Этим я мог бы показать, что выступления Левина вообще без меня не обходятся и что портфель свой Григорий Михайлович обычно доверяет только мне. Но блондинка смотрела на сцену, и как переключить ее внимание на себя, я не знал.

Наталия ГЕНИНА

ПТИЦА ПЕГАС

ПТИЦА ПЕГАС

Пока мы живы, нас никто не слышит.
След на снегу крестом привычно вышит,
небесное раскрылось шапито.
Известно всем, что правды нет и выше,
и что там наварили нувориши,
они нам не доложат ни за что.

За стайей стая – небо разомлело.
И непонятно: где душа, где тело.
И даже если будешь щебетать
причудливо, бездарно, неумело,
о воздух спотыкаясь то и дело,
не выйдет повернуть с арены вспять.

И зрители в беспальные ладони
захлопают, и голос твой потонет
в сугробах и под купол не взлетит.
В благообразном пряничном притоне,
в тяжелой позолоченной попоне,
как ни крути – а дышится навзрыд.

* * *

В расщелину меж бытием и бытом –
разлаженным, раздерганным, разбитым,
в дыру озонную, заветную войти,
оскальзываясь в космосе открытом,

склоняясь над распластанным корытом,
понять: иного нет у нас пути.

Известно – где по плану остановка.
Стрелять неловко, но в руках винтовка.
И цокает небесная подковка,
и никого нельзя предостеречь.
И на ладони божия коровка
мычит – и в небо целится, плутовка.
Добытчик резвый, где твоя сноровка?
О чем бишь я? Да не о хлебе речь!

Где родина? И гнется знак вопроса.
Так отнимают душу без наркоза.
Так рассуждают твердо и тверезо,
покачиваясь, превращаясь в прах.
И просто все, как во поле береза.
Кобыле легче, если баба – с воза.
Щекочет ноздри вешний дух навоза,
и птица-тройка жмет на всех парах.

Куда? Ну, не дает она ответа.
Меня ссадили – езжу без билета.
Конец туннеля, а быть может, света.
И больше не захватывает дух.
А ночью вспомнишь: возлюби соседа, –
и любишь всех подряд в порядке бреда.
И не припомнишь Нового завета,
покуда трижды не сплет петух.

* * *

Живу – пока не надоест
(не выдаст Бог, свинья не съест),
пока река глядит окрест
и выгнута дугой.
Охота к перемене мест –
норд-ост зовет или зюйд-вест.
Я смастерю в один присест
чугунный парус свой.

Пространство так искривлено –
взлетая, падаешь на дно.
А там и тихо, и темно,
и некуда спешить.
И мне бы радоваться, но –
луны холодное пятно
мне светит, как в глазу бревно,
и больно воровжить.

* * *

Прекрасно остаток жизни ютиться в слове.
Стило всегда наготове
нырнуть в никуда.
Душа без стыда
выворачивается наизнанку
(это, конечно, портит ее осанку).
На пепельном фоне атомной бури –
дыхания неземной ветерок.
Все бы крылатой восторженной дуре
парить между строк,
покуда они не сомкнутся,
как застежка-молния над головой.
Никак до небес не дотянуться,
милый ты мой.

* * *

В сосредоточенном угаре
творяют как дышат божьи твари.
Кто резвой ножкой ножку бьет,
кто словом по душе скребет,
кто над палитрой пламенеет –
и всяк бессмертен как умеет.

* * *

Там, где дом возведен против всяких правил,
где тебя навещает апостол Павел,
где ни эллина, ни иудея нет, –
только трын-трава да неближний свет.

Там, где горы твои и твои долины,
корабли плывут, выгибая спины,
и на лодке Харон – по твоей реке –
налегке плывет еще, налегке.

* * *

На рассвете, когда лица еще темны,
во лбу прорастает третий глаз.
И я, виноватая без вины,
прощаю того, кто меня не спас.
Он беспечен, будто глухарь на току.
Бесшумно вламывается конвой.
Передвигаются по потолку
серые тени вниз головой.

* * *

Эта вечная бочка грохочет над нами,
и потоки воды, а не кровь под ногами.
Видно, вправду сегодня еще не конец.
Не сегодня нам в сердце загонят свинец.

Эта зыбкая жизнь – за беспечность расплата.
Бесконечен период полураспада,
где над нами сгущается мрак проливной.
Нелюбимый, нелюбящий, – плачь надо мной!

* * *

Свой шаг сбивая набекрень,
надсаживая слух и зренье,
цеди по капле мутный день,
выхаживай стихотворенье.

Его рифмованный недуг
неизлечим, и зоркий звук
все понимает: ты интригу
загнал под землю – ловкость рук.
Зачем ты, обернувшись вдруг,
не спас когда-то Эвридику?

* * *

Твой герой хорош на вид,
и всему-то он учен,
даровит и плодovit
и не помнит ни о чем.

Он приветлив, хамоват,
вечно голоден и сыт,
и сам черт ему не брат,
он на ниточке висит.

Глянь, выделяет па:
как пройдет на руках –
благодарная толпа
только вскрикивает «ах»!

Вот и лопнули тяжи:
и в окошко он, и в дверь.
Ты держи его, держи,
да не верь ему, не верь!

* * *

Откроешь дверь, а там *никто* –
вот наказание за то,
что плоть отделена от духа.
Ложусь на голую скамью
и колыбельную пою,
но в музыке царит разруха.
Пятнистый проскрипит паркет,
чей это – через годы – след?
Куда исчезли те, кто были?
Но стол с бумагами молчит,
вербальный исчерпав лимит,
и прогибается от пыли.

* * *

Мы в разлуке с тобой преуспели.
Мало помнили – много хотели,
а теперь и забыли совсем,
как нам пели осины и ели,
следом птицы – лесные свирели –
продолжали любую из тем.

Да и мы не молчали, покуда
не явилось на свет из-под спуда
безнадежно слежавшихся лет
это пламя – для речи остуда.
Нелегка бессловесная смута,
для которой названия нет.

* * *

Густая ночь колышется, как зыбка,
и зреет за ошибкою ошибка,
и нет решенья у простых задач.
Вольно ж тебе прислуживать без страха
тому, кто платит по счетам с размаха –
с налета – по щекам – и плачь не плачь.

Здесь бредит зной, и в тесноте убогой
растет сорняк, но ты его не трогай:
он выгнет спину и оскалит пасть.
А может быть, стена и есть дорога –
все вверх и вверх? В преддверии итога
карабкайся – да так, чтоб не упасть.

* * *

Постойте!
Никогда не говорите: это неправда!
Может быть, я последний из могикан,
которого прикололи булавкой к странице.
Погодите,
я умею летать против ветра.
В конце концов,
это мое право,
я так хочу.
Но только не смотрите мне в спину,
когда я, открывая лицо, иду вам навстречу.

* * *

Песнь песней перед закатом.
Зачем ты стараешься,
сидя на ветке,
глядя на колченогий город?
Роняешь перо за пером –
уже написана книга книг.

Виктор ГИЛЕНКО
(1930–2001)

МАГНИТНЫЕ СВЯЗИ*

ЛЕСНОЙ СУЧОК

Г. М. Левину

Я принес
Удивительный сучок:
Острый нос,
Выразительный зрачок,
Хохолочек колкий,
Шея, как стрела...
Укрепил его на елке
У стола.
Свечи елочные тают
В тишине...
Птичий профиль возникает
На стене.
У сучка недвижна шея,
Тих зрачок.
Только слышу вдруг:
– Уже я
Не сучок.
Ты во мне
Живую птицу
Разглядел.
Мне на ветке не сидится.
Столько дел!

* Составила Ольга Постникова.

Песни петь хочу я,
Гнезда вить,
Детей растить.
А без крыльев –
Мне и песен
Не сложить.
И зовет меня
Высокий небосвод,
Ширь лесная,
Воля вольная
Зовет.
Над лесами,
Над долами –
Свет зари...
Одари меня крылами,
Одари!.. –
Клюв открытый,
Черный мечется зрачок.
Говорю я:
– Да сиди ты:
Ты – сучок!.. –
Стеариновое пламя
Ворожит.
Острый профиль
Наклоняется,
Дрожит.
И не спится мне,
Не спится –
Тяжко мне:
Умирает, бьется птица
В тишине.
Бьется молча и бессильно,
Гаснет взор, –
Вместо ветки этой пыльной –
Синь-простор,
Солнце, поле, речка-змейка,

Птичий грай...
Подобрал –
Теперь сумей-ка –
Крылья дай.

* * *

Я забыл свои восемнадцать.
Но уже девяносто дней
Приучаюсь вновь задышаться
Ветром молодости моей.

Возвратилась она девчонкой,
По-хозяйски вошедшей в дом –
Темноглазой, с детской челкой
И по-детски припухшим ртом.

И узнал я, что было пусто
В доме, полном книг мудрецов...
Здравствуй, август – с веселым хрустом
Крымских яблок и огурцов!

Я не буду с тобой прощаться,
Чтобы много ночей и дней
Возвращаться мне, возвращаться
В лето молодости моей.

* * *

Рукой мне губы тронешь,
Но грустен взгляд и тих.
И кажется, ты тонешь
В объятиях моих.

Жена моя – травинка
Среди травы лесной...
Любовь моя – тропинка
Над смертной крутизной...

ПРЕДОК

Ничем себя мой предок не прославил.
Он жил как все, работал все что мог:
Однажды он пришел – избу поставил,
И печь сложил, и хлеб себе испек

Своими заскорузлыми руками,
И закутилась около семья...
И вот уже разделены веками
Два разных человека – он и я.

Прости меня, мой позабытый пращур,
Начало неизвестное мое.
Прости меня за то, что жизнь я трачу
На городское легкое житье.

За то, что грудь слабее, уже плечи,
Что не возник, должно быть, оттого
В моей сухой и выверенной речи
Некнижный звук наречья твоего.

Но в час, когда метели не сдается
Частушка под вечернею зарей,
Чужая кровь в моих сосудах бьется
Горячею, дурманящей струей.

Уходят за околицу девчата,
Своих парней запевками маня.
И снова ты, мой предок прадесятый,
О том не зная, мучаешь меня.

21 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Мягка трава на солнечной поляне.
И эти двое первый раз одни.
О том, что существует мирозданье,
За целый день не вспомнили они.

Над ними ива ветки наклоняет,
Качаются ромашки в тишине...
И женщина счастливая не знает,
Что он убит на завтрашней войне.

ПОВИЛИКА

Забирается на стены
И ползет из-за камней
Это странное растение,
Под которым нет корней.

Осторожной хваткой душной
Обвивает шею трав,
Колокольчик свой воздушный
По-змеиному подняв.

Он зовет, душист и бледен,
А потянешь за цветок –
И чешуйчатые плети
Лягут кольцами у ног.

Растопчи ты их, порви ты –
Но, запрятаный в земле,
Их зародыш ядовитый
Извивается во мгле.

Ищет путь, что покороче,
К жертве будущей своей –
В тишине подземной ночи,
Меж корней и меж камней.

ПОЗДНО

Э. Товбису

С тобою мы виделись мало.
Забот разгребая завал,
Я двор за нешумным вокзалом
То помнил, то вновь забывал.

Хотел в утешении странном
Свое оправданье найти:
Мы живы – и поздно ли, рано,
Но встретятся наши пути.

И вот оказалось, что поздно –
Все поздно: встречаться, дружить...
А как было, в сущности, просто:
Собраться, дела отложить,

Пройти по знакомой дороге –
В субботний денек, например, –
Услышать на добром пороге
Твое непокорное «эр».

Забывши все горести в мире,
Поэзии веря одной,
Душою оттаять в квартире
С бамбуковой шторкой дверной.

В квартире, где вовсе не лишний,
Отринутый от шелухи,
На пленке магнитной, давнишней
Мой голос читает стихи.

Меня волновало, не скрою,
Что был он тобой сбережен
И ты наклонялся порою
Над бездной, где кроется он,

Что в каждой рифмованной фразе
С нехитрой словесной резьбой
Рождались магнитные связи
Меж смертными мной и тобой.

Ему еще жить, наплывая
Кругами из дальнего дня,
Сначала – тебя призывая,
Потом – провожая меня...

СВЕРЧОК

В ночь мою – тревожную, душную, –
Как сквознячок,
С древней песенкой непослушную
Влетел сверчок.
Он таится от всех на свете –
Ищи, зови...
Ах, сверчок, сверчок, рассекретьте
Черты свои.

Где Вы там? Не вижу лица я.
Но, так высок,
Над судьбою моей мерцает
Ваш голосок.
И негромок, и монотонен,
А все поет.
Захлебнется вдруг, а не тонет –
Плывет, плывет.
Тишина.
В темноте избушки
Куруется печь.
Ваше пенье слушает Пушкин,
Не может лечь.
Безголоса песенка Ваша,
А он – согрет...
Вам действительно очень важно
Сберечь секрет.

В мире атомных расщеплений,
Разъятых строк
Все слышнее, все сокровенней
Сверчит сверчок.

Ян ГОЛЬЦМАН
(1936–1999)

ПУСТЫННЫЕ ПЕСНИ*

* * *

Здоровье царя – здоровье страны.
Все горести твои в душе заключены.
И радости – в душе. Так полагал Сенека.
... И я опять сижу в болотистой глуши,
Стараясь излечить недуг своей души
В краю лесной воды и тающего снега.

Дымится подо мной студеная вода.
Немного отлегло: дух тающего льда!
И птичьи голоса полны очарованья.
Природа, как всегда, сильна и хороша,
Но, видимо, болит и у нее душа –
Дается все трудней искусство врачеванья...

* * *

Надо мною долгий крик:
Гуси бьют крылом.
Дует снежный северик –
Местный аквилон.

Замутил озера лед.
В солнечный просвет
Ринулся гусиный лет,
Лебеди – вослед.

* Составила Алла Калмыкова.

Высоко вожак летел –
Над землей летит.
Видно, что-то проглядел
И назад глядит.

Что-то к радости скупой
Прибавленья нет,
И поземкою сухой
Затекает след.

Отлетает долгий крик
В сторону морей.
Задувает северик –
Тутошный борей.

Но, попавшийся впросак,
Павший на лету, –
Все кричит слепой гусак,
Стынувший на льду.

* * *

Хорошо бы собаку купить...
И. Бунин

Зачерпнул – озерной воды испил.
Нет камина – русскую затопил.
И собаку себе купил.

Что же дальше? Вслед за тобою в бег?
Веллингтон? Маркизские острова?
В Веллингтоне так же звучат слова,
Под Парижем так же растет трава,
И повсюду недалог век.

Десять лет в лесном костерке сожги,
И – неслышны станут твои шаги.
А дороги так широки!

Топи и острова. Поброди окрест
И узнаешь, один из ста,
Что бывает красная береста,
Что бывают гибельные места,
А других не бывает мест.

СЛОВАРЬ ОЗЕРНЫЙ И РЕЧНОЙ

Озеро Пélус да озеро Пял,
Озеро Кúлгом да озеро Лёмчин...
Тщетны старания – Митька прят! –
Нам объяснить имена эти нечем.

Сколько их, темных, в твоём словаре!
Угры ушли, да остались угоры.
Волга. Москва. Как горят на воре
Темные шапки – прямые укоры.

Десять столетий не меркнут они.
Бездну печали таят топонимы.
Угры и финны – гони, не гони –
Вечно пребудут, водою хранимы.

Ладога, Волга, Печора, Двина...
Кости истлели в песках побережий.
Память – в глубинах, у самого дна,
И не идет в невода и мережи.

...Озеро Пелус светит в окно.
Горлом гагары воют глубины.
Сумрак в глубинах, но светится дно
Луд каменистых и плесов рябинных.

Кулгом! – и лебедь ударит крылом.
Лемчин! – и язь заколышет осоку.
Пял! – и сорога пойдет напролом,
Норочьи семьи вырастут к сроку.

Кто он, творец незабвенных имен,
Вверивший водам остывшее сердце?
Это наследье многих племен
Или слова одного рунопевца?

Пращур, о многом душе говорят
В этом просторе, пустынном и гулком,
Воды – слова твоего словаря –
Водла и Пелус, Лемчин и Кулгом...

* * *

Прибой не нарушает тишины.
И голос редкой птицы, как ни странен.
А чайки – те и вовсе не слышны,
Поскольку крик чайчий непрестанен
И вечен: видно, к птичьим голосам
За миллионы лет привыкли предки,
Скитаясь по озерам и лесам.
Но даже ветра завыванья редки
В бетонной клетке этого двора.
Какие звуки слышит детвора?
Свист электрички с пригородной ветки.

...Волна и ветер. Но мгновенно, вдруг,
Сквозь всю многоголосицу простора
Уловит ухо посторонний звук –
Железный стук рыбацкого мотора.
А в городе моторы – звуковой
Привычный фон привычного уклада.
Вороний карк или собачий вой,
Кота ночного вешняя рулада
Коснутся слуха – сердце звуку радо:
Скупая весть, что мир еще живой!

ОСТРОВ БАБИЙ

Окунь жирует в прибрежной тресте*:
Всплеск – и тяжелый рывок.
Чайка сидит на могильном кресте.
Ветром продут островок
Бабий.

Груда промытых водою камней.
Зной. Чаичáта-летки.
... Все же стожок поднимался над ней,
Ясно белели платки
Бабьи.

Вот и рябина уже зажжена,
Лист на рябине – рябой.
Если с моей стороны тишина,
Значит, с другой – прибой,
Волны...

* Трестá – тростник (сев.).

Дни просветлений. Природа права –
С чем, балабол и едок,
Ты приплывал на ее острова?
Время исчислить итог
Странствий.

Или не думать теперь ни о чем,
Не торопить срока –
Просто сидеть под закатным лучом
Около островка,
Молча?

* * *

Чайка озерная – светло-озерного цвета –
Следом за лодкой долго перелетает.
Ждет молчаливо. Изредка, в нетерпенье,
Горестно так голосить начинает по-бабьи
И отбивает поклоны – кланчит рыбешку.

Если спешу по делу без остановки,
Надвое гладь озерную рассекая,
Птица меня провожает недоуменно:
Перелетает, садится то слева, то справа,
И догоняет. И снова – то слева то справа...

Нету со мной ни удочки, ни наживки.
Нету в садке ни окуня, ни плотицы.
Только трудно в это поверить чайке:
Если не ловишь рыбу, зачем же плавать?

...Вот и мы ожидаем подачки, чуда,
Но плывет в своей синеве Всевышний:
На борту – ни удочки, ни наживки,
А в садке – ни окуня, ни плотицы...

* * *

Припекает – только озеро не тает.
Враз темнеет, да никак не рассветает.
Все не в жилу, все-то нам не по нутру.
Полукровки, полудурки, перестарки,
Мы не светим, а мигаем, что огарки,
Что оглодыши свечные на ветру.

Как просторно-незапятнанна бумага!
Нарастают отрешенность и отвага:
Что терять, когда потерям счету нет?
Может, только порешив, что песня спета,
Напоследок излучаешь столько света,
Что кому-то и взаправду виден свет.

* * *

Да разве я о смерти говорю?
О жизни, что похожа на зарю,
Поскольку хороша и мимолетна.
Об этом все поэмы и полотна.
Сначала – утро, яркая денница,
Потом – закат, вечерняя заря,
А после прожитое долго снится,
Тысячелетья тлея и горя...

Про смерть – в разгаре жизни говорится.

Когда же впрямь дыханьем ледяным
Повеет на тебя неотвратимо,
Захочется взглянуть поверху и мимо,
Чтоб слабый разум укрепить иным.
Припомнить осень давнюю, рассвет
И тишину, какой в помине нет,

Картавый стон тетеревиных веток.
Какая свежесть, музыка и страсть!

...Когда в сырую землю станут класть,
Ты будешь улыбаться напоследок.

* * *

Месяц – прямо за кормой.
Сумерки. Плыву домой.
Недалекий путь.
Облетевшие леса.
Отлетают голоса.
И не повернуть...

Поутих былой задор.
Что за прихоть – всякий вздор
Рифмовать, молоть?
Для печали нет причин.
Может, лучше помолчим
До кончины вплоть?

Разве что стишок в альбом...
Лунный свет стоит столбом,
Тянется за мной.
Как просторно. Боже мой!
Я теперь плыву домой
По воде земной.

Алла КАЛМЫКОВА

В ЭТОЙ ШКОЛЕ

СТАРЫЕ СНИМКИ

Чему-нибудь и как-нибудь
учила я ребят,
избрав себе окольный путь,
который мне простят
в недостижимом РОНО,
в заоблачной Москве,
в стране, где все давным-давно
стоят на голове.

Тогда казались мне главней
больших снегов холсты,
полет пугливых оленей,
как скажут якуты,
сиянья северного плен,
полярных вьюг тесьма,
и простодушие – взамен
ученого ума,
и эти жаркие зрочки
в лукавых щелках глаз,
и сердца гулкие толчки,
когда входила в класс,
не зная, что им говорить
про ямб или хорей,
но торопясь любовь избыть
счастливей и скорей.

Давным-давно растаял след
моих унтов в снегу,
давно меня в помине нет

на диком берегу
реки по имени Чондон,
но, как секретный код,
слепые фото: дети, дом,
и я, и снег идет.

ГЕЛЯ КРАПТОВСКИЙ

Рвут в куски. Изведешься сердцем
всех жалеть и всем помогать.
Но таким уж меня наследством
оделили отец и мать.

И поныне снится избушка,
тесноватая для пятерых,
и дежурная раскладушка
у родителей молодых.

То ли пензенский, то ль тамбовский –
вошь в кармане, долги не в счет –
помешавшийся пан Краптовский
без прописки у нас живет.

Пана сбросили под электричку.
Балагур, доцент, шахматист,
он утратил к труду привычку
и как новорожденный чист.

В «дурака» с ним играем чинно,
оба – дети. В порыве чувств
он мне дарит нож перочинный –
в этой школе я и учусь...

Геля сгинул. Отец нас предал.
Дом снесен, и вырублен сад.
Но я вижу в порядке бреда:
все опять за столом сидят

в нашей кухне странноприимной,
где натоплена жарко печь,
и бессилья привкус полынный
забывает горчить и жечь.

ВОСПОМИНАНИЕ О ГРОЗНОМ

Вечером сидим, пьем чай под навесом,
словно бы к родне приехали в гости.
День был добрый – никого не убило,
и в садике у Айшат распустилась роза.
Что мы за люди такие? Сидим за столом с врагами.
Что мы за люди? Война идет – мы танцуем.
Чем боль больнее, тем стремительней танец,
чем горше горе, тем легче взлетают руки.
Лишь несколько часов мы знаем друг друга,
но их довольно, чтобы раскрылось сердце
для любви... Мы вспомнили, что свободны,
и – пусть на миг один – вышли вон из истории,
из ее месива – постылой каши кровавой.
А горшочек все варит и варит!
Мы не разделились на тех и на этих,
отказались быть расходным материалом.
Сегодня мы просто дети у ног Отца.

ГДЕ ГОЛГОФА?

Голгофа – не точка на карте Иерусалима,
не камень, спрятанный под музейный колпак,
что выжимает слезу у идущих мимо
паломников и зевак.

Голгофа не там, где можно согреться
душою, затеплив огонь свечи,
а там, где Твое взрывается сердце,
где горе немое кричит.

Голгофа – над бутовскими расстрельными рвами,
над прахом Алеппо, в дыму донецких боев...
Чем бойни людские бессмысленней и кровавей,
тем больше Твоих Голгоф.

И над землей, оскверненной раздором
Твоих детей, над позором проклятых мест
плывет, как в видении Сальвадора
Дали – в синеве –
Твой Голгофский крест.

* * *

О милости, не думающей даже,
что грех и что не грех,
не почитающей за бред и «лажу»
быть ниже всех,
стыдящейся тяжелой позолоты
и пышных риз
и, чтоб не видеть наших душ темноты,
глядящей вниз,

но чаще – ввысь, где дышит, не разъята
раздором, синь,
где ни одна былинка не примята,
где во Христе все прощено и свято...
О милости...
Аминь.

* * *

На Рождество Габон восстал
и ПЦУ вручили Томос –
пока Новорожденный спал
и, Сам от гибели на волос,
на откуп данную Ему
веков клубящуюся тьму
вдыхал в Себя...

Чуть-чуть кололась
солома, льнущая к Нему.
И Он сквозь сон расслышал голос –
чей? чей же? – слабый плач того,
кто под бетонную плиту,
спеленут смертной теснотой,
в Магнитогорске звал Его.
И мальчик, что дышал едва,
был извлечен из-под завала...
С неделю смерть не отдавала
добычу – только Рождества
свет золотой ей нестерпим –
ушла. Малыш очнулся. Мама
воркует горлицей над ним.
Ну, с днем Рожденья! Как упрямо,
как непростительно мы спим...

Москва гуляет. Эта драма
уже забыта...

К двери храма
подходят дети – это к ним
бредут волхвы и пастухи,
а мир давно не верит в чудо.
Хотя – как знать?
Вдруг свет *оттуда*
нахлынет? Боже, помоги...

* * *

Полвека в тебя как в огонь смотрю.
– Ты мне родина, – говорю.

И ты в меня как в воду глядишь.
– Сама такая, – смеясь, говоришь.

Смеялись, плакали, то вместе, то врозь,
и вот оно как, родимый, сошлось:

в изголовье твоём (а покров так бел!)
нараспев читаю Псалтырь по тебе.

Я не плачу, нет, только голос высок.
Вот кладут тебя в белый речной песок

на скрещенье дорог, где от смертного сна
в воскресенье разбудит тебя сосна.

Мне привиделось – это навек сберегу:
ты стоишь один на ночном лугу

в рубахе белой, и выше колен
зыблется туман, будто тает тлен.

Таким и придешь на последний суд.
Осквернил лукавый твою красу

земную – всего-то! – да не уловил
душу, вместившую столько любви.

* * *

Вот теперь мы навек неразлучны с тобой.
Я не верю, я – знаю.
Неразлучней, чем древний как мир прибор
и галька береговая.
Эта сила и власть уже никогда
не узнает отлива,
ибо жизнь сбылась, и смерть не беда,
и все справедливо.
Меж любовью и смертью различья нет,
они сестры-двойняшки.
Та и та – мгновенный слепящий свет,
по коже мурашки.
Та и та – железная хватка – плен –
усилье свободы.
Ты опять впереди – я иду – до колен
мне горькие воды.
Ты опять позади – не хочу обронить
из бывшего ни капли.
Ты опять везде – что толку бранить
океан, не так ли?
Ты опять обтачиваешь и моешь мои
валуны и песчинки,
все напластовавшиеся слои,
личины, морщинки
совлекаешь – и я выхожу на свет
под теми же небесами
девочкой шести, не более, лет
с распущенными волосами.

Я смеюсь, прижимаю руки к груди
от немого восторга,
оттого, что вижу тебя впереди
и идти недолго,
оттого, что в мертвой схватке с судьбой
накануне отлета
ты зачем-то поставил перед собой
мое детское фото.

Галина КИТАЕВА

ХОРОШО, ЧТО ТЫ ВЫЖИЛ...

СТАРЫЙ СОЛДАТ

Не надо ему беречь
Его застарелые раны,
Не надо, не надо рядить
Для митингов и для экранов
Погибшую в сорок втором
Совсем еще юную душу
И тело, что столько потом
Ей, мертвой, вместилищем служит.
Оно безобразно вполне,
Пропахло мочою и водкой,
И память его – на войне,
А разум – в том памятном дне,
Что кончен командой короткой,
Единственно верной: «Вперед!»,
Подъявшей из зимних болот
Пустое и гулкое тело.
Душа была выбита влет!
А тело – оно не хотело! –
Не знает, зачем, но – живет...
Забыл он, что было когда-то,
Не знает, зачем, а – живет.
Ничтожный он и бесноватый,
Заходится бешеным матом
И вдруг пробормочет: «Вперед...»
«Вперед, – прокричит он, – ребята!..»

Воздай его горю, браток,
Собрат по военной дороге.
Налей ему водки глоток, –
Ты счастлив, ты только безногий.

О женщина, ляг и утешь
Во имя великой победы.
Угрей его ветошь и плешь,
Он женщины так и не ведал.
Юнец, не беги доброты,
Мы все перед ним виноваты.
Любить его – это цветы
Носить на могилу солдата.

* * *

Бережена женщина
Была в бою,
Пережила женщина
Любовь свою.
Тишину,
Сраженью шедшую
Вслед,
Острый запах снега свежего,
Снег,
Свет,
Отраженный телом павшего,
Пережила, любя.
Пережила женщина
Себя.

* * *

Мамы своей лица молодого –
Война! – не помню.
Ночью беда огромного дома
У изголовья.
В предчувствии
Неизбежности мрака
Кожа гудела.
Где-то
на расстоянии страха
Лампа горела.
Все вокруг
Было как было
И смысл имело,
Я держалась руками обеими
За стылое, маленькое свое тело.
Восставал день прямо
Из-за горизонта.

Приходила с дежурства мама.
Приходил отец с фронта.

* * *

Г.Л.

О ораторы-пращурь!..
...Вы – из них?
Сединою летящую –
В бронзу, в стих.
Голос плавится в форму
Круглых слов,
Тяжело и покорно –
В ритмы строф,
В человечьи потемки,

Вверх и вниз,
Где рисует свой тонкий
Контур мысль.
Так пронзительно нежен
Жест и чист
Рук, у горла мятежных!
Вы – артист?
От высоких вселенских
Скорбных нот
Неприлично, по-женски
Жалок рот,
И глаза очень страшно
Отвести
От всеильной, ужасной
Наготы.
Вы – идущий навстречу,
Не рядом – нет!
Божьей метой отмечен.
Вы – поэт!
Наизнанку рассказан,
В точку сжат,
Чтобы собственной фразой
Звучной стать.

* * *

Г.Л.

Хорошо, что ты выжил
Ото всех потрясений
И дважды, и трижды.
Хорошо, что осенний.

Не дальше, не ближе,
Особый
 судьбою.
Хорошо, что ты выжил
И остался собою.

Никогда не увижу,
Как плакал однажды...
Хорошо,
 что ты выжил.
Остальное – неважно...

Вадим КОВДА
(1936–2020)

Я УДРУЧЕН ЖИВУЧЕСТЬЮ СВОЕЙ...*

СИРЕНЕВАЯ НОЧЬ

Буду просто стоять и смотреть,
буду слушать, вдыхать этот воздух.
Свет исчезнувший начал гореть
в проступающих медленно звездах.

От земли до небес – тишина.
Темно-желты огни за рекою.
Да сиренево светит луна,
освещающая пространство земное.

Тишину и сиреневый свет
отражают замерзшие лужи...
Пусть так будет хоть тысячу лет,
я подобный покой не нарушу.

Пусть нарушит его самолет,
пусть нарушит дурная собака.
Пусть петух тишину раздерет,
отвлечет от сверканья и мрака.

* Составила Алла Шарапова.

Мира этого я не сужу.
Это дело другим оставляю.
Ничего у него не прошу
и ни в чем его не укоряю.

И, создание его одного,
не ругатель и не низвергатель,
я – хранитель, смотритель его,
я – любитель его, восторгатель...

Звезды, звезды да эта луна,
да еще огоньки за рекою.
Тишина только цветом полна –
освещение сегодня такое.

Так спасибо, сиреневый свет!
Лес ночной, тебе тоже спасибо!
Миллионы вам праздничных лет.
Оставайтесь чисты и красивы.

Значит, это бывает с людьми:
как когда-то в минуты молитвы,
вновь чудесные чудятся ритмы,
выше музыки, выше любви.

* * *

Я удручен живучестью своей,
способностью, случайной и постыдной,
свой интерес блюсти среди людей
и щель найти, где выхода не видно,
все рассчитать и вовремя успеть,
и выжить там, где нужно умереть.

О СТРАДАНИИ

На всякий век своих достанет бед –
за то, что в мир вошли, такая плата.
Страдают все – таков наш белый свет...
И, значит, для чего-то это надо.

И пусть никто страданья не зовет,
пусть каждый молит, чтоб промчалось мимо...
Но каждому оно необходимо...
И каждый, если страждет, то живет.

БОГ И ДЬЯВОЛ

Что за страсти в пути запоздалом?
И куда меня рок поволок?
На лице моем детском и старом
проступают и дьявол, и Бог.

Бог и дьявол, конечно, не пара –
все орут непонятно о чем,
все ведут толковище и свару
в неприкаянном сердце моем.

Что за жребий такой злополучный!
Никому не могу услужить.
И без дьявола вроде бы скучно...
А без Бога не стоит и жить.

СТАРАЯ ВОРОНА

Здравствуй, старая ворона!
Как твои дела?
Ты кого там с небосклона
целый день звала?
Потеряла вороненка?
Ворон твой сбежал?
Что ты каркаешь так громко,
черт тебя бы взял?
Тишину всю искромсала,
душу рвешь мою!..
– Ничего, – она сказала. –
Это я пою.

НЕПУТЕВЫЕ ДЕТИ

Словеса тыщелетья толочь...
Замечать, как сгущается ночь.
Апокалипсис!!! – все по легенде!
Неужель нас сумеют спасти
и помогут покой обрести
ноутбук, навигатор и хэнди?

Даже гений иль шиз-патриот,
диссидент, работяга иль воин...
Неужели погибнет и тот,
кто погибели был не достоин?

Ни свернуть, ни забыться нельзя.
Дух бунтует, упорствует, скован...
Апокалипсис! он начался
с зарождения рода людского...

И в бесстрашном луче доброты
мы – приматы второго отряда,
ловим кайф в гиблых дебрях тщеты,
уклонившись от рая и ада...

Каждый денежку держит в горсти...
Где величье? *Убогие* лица!
Так не мсти же, о Боже, не мсти –
хоть такими дай нам сохраниться.

И не щурь настороженно глаз –
с нами трудно, корыстными, ладить.
Наш прогнивший, но правящий класс
не разучится хапать и гадить.
Нас уже невозможно исправить.

Ты ведь слышишь, о Боже, меня?
Я на этом пока еще свете.
И пусть каждый – слабак и свинья...
Мы – *Твои* непутевые дети.

Валерий КРАСКО
(1941–2010)

ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ*

* * *

Посреди Средневековья, но в его конце
Разглядел родную кровь я на его лице
И сгоревшую до срока посреди дорог
Страсть – без страха и намека даже на упрек.

Посреди Средневековья, детства посреди,
Где-то возле изголовья он сказал: «Иди!» –
И незримой мглой, и далью пыльной маня,
Озарил меня идальго, ослепил меня.

Кровью крестного верховья, а не просто ран,
Посреди Средневековья, – как «но пасаран!» –
Воссияла у постели, торопя века
Однорукого Мигеля** правая рука.

И застыл среди веков я с верою в груди –
Посреди средневековья, века посреди,
И забрезжила с востока, торопя восход,
Жизнь – длинна и одинока, словно Дон Кихот...

* Составила Наталья Краско.

** Мигель де Сервантес Сааведра потерял левую руку в 1571 году в битве при Лепанто.

ГОНЕЦ

Прилетал ко мне гонец со Звезды –
да, с той самой – из созвездия Снов,
из галактики распятой Мечты
и расстрелянной в массиве лесном.

Говорил, что перевыполнен мой
долг сожженья безглагольных сердец,
что пора мне возвращаться домой –
там и прадед мой,

и дед,

и отец...

– Столько терниев я здесь претерпел,
но никто оттуда не прилетал.

Лишь теперь ты прилетел,

а теперь –

здесь мой дом и здесь мой храм,

а не там:

здесь мой сын – моя семья – здесь мой быт –
он глаголом Бытия не сожжен...

Так что пращурам скажи, что убит,
или проще – что меня не нашел...

– Что ж, – сказал гонец, – прощай – до поры,
сей в низинах гефсиманскую ложь
отречения,

но ни от Горы,

ни от Совести своей не уйдешь!..

То ль прокукарекал, то ль прорыдал,
ослепил багровым светом радар
и пропал за перевалом гряды...

ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ

Господи, если Ты есть – а Ты есть
без сомнения –
услыши мя, Господи,
ведь я весь –
месса Бдения
в Гефсиманской тьме, где в душе не Храм –
зла этажерка:
«Пожертвуйте м н е – пожертвую в а м –
за жертву жертва!»
Господи, прикрой, голося, мою
тьму короною –
броско жертвую ферзя за ладью –
ту, харонову –
так и останусь я осел ослом –
игом слов немым?..
Ах, не то чтобы с космическим злом –
и со злом земным
мне не справиться –
не Лик Бытия –
чернь из черни я..
Да исправится молитва моя –
жертва вечерняя.

ЕРЕТИК

Застыл в постылом горле искомой смерти ком:
Да, в юности был гордым Краско еретиком,
коль в строки опрокинул всю ересь вер до дна,
И Бог меня покинул, как первая жена.

Между душой и телом – то хор, а то раскол:
да, в зрелости был зрелым еретиком Краско –
а как же! – «сну дарю я стимул Бытия!»

И, как жену вторую, покинул Бога я.
Бог мой, смеялась Лета безмолвно надо мной:
зимой сменялось лето, словно жена женой,
явь не зарницей меря, а вереницей жен,

и я, уже не веря ни в ересь, ни в канон,
усек, звеня как лютик в столетья борозде,

что Бог меня не любит,
как «третья»
и т.д.

ЛУНА

*Телеутам**

Володя, милый, не тяни.
Не хмурься Яну, Дима.
Мы – вместе – все равно одни.
Луна неумолима.

* *Телеуты* – так называлась литературная группа, которую составили «магистральцы» Владимир Леонович, Ян Гольцман, Дима (Владимир) Леванский и Валерий Краско.

Луна – видна: она – одна.
Мы – вроде рядом – родом
Из общей пропасти без дна –
Одни, и каждый – продан.
И – невинные вдвойне –
И в частности, и в целом –
Мы – по неведомой вине –
Как видно, выданы Луне
На нас нацеленным извне
Космическим прицелом.
И, намекая на финал
По существу предмета,
Луна над нами – как фонарь
Сомнительного цвета...

Мы – вместе – все по одному –
По воле Лунорукой
Летим в заоблачную тьму
На randevу с разлукой.
И все же объединены,
Как братскою могилой,
Незримой лунной стороны
Потусторонней силой.

ПАМЯТИ СТАРШЕГО СЫНА

На звезду Любви я шел по белу свету –
плачу, прах твоих игрушек теребя:

я-то думал – для меня здесь места нету,
оказалось – нету места для тебя.

Кто-то в синеве маячит и щебечет:
«Место пчелке Света – в улье Тайн...»

Улетай, мой мальчик, мой бубенчик,
улетай, мой птенчик, улетай!

* * *

Да, я поэт – не слишком уж большой,
но и не средний,
а равновеликий
своей судьбе тишайшею душой,
не луноликий, но и не безликий.

Всю жизнь я, уходя, не ухожу,
а ржу и плачу над своим уходом,
не совпадая гневным генокодом
с падением миража на межу.

А сколько я, в угоду небесам,
в себе земных пророков не увидел,
а сколько я стихов недописал,
недолюбил и недоненавидел!

Я не всерьез – до хохота, до слез –
прощаюсь и, вращаясь, возвращаюсь
туда, где то всерьез, то не всерьез –
до грез, до слез, до хохота прощаюсь

и в такт вечернему лучу шепчу:
«Итак, до встречи в Вечности» (шучу).

ТАЙНА МИРОЗДАНИЯ

Тайна мира – здания
Майна – вира –

мера
тайны мира – знания
предзнаменование,

а поверх барьера
Тайны мира – Вера.

* * *

Незримая, поет земная лира,
незримое вкушая питье,
что мировое царство – не от мира
сего –

Божественное бытие.

Поет поэт, чьи тварные идеи
верны, чей потный путь к Творцу тяжел,
что два тысячелетия иудеи
Мессию ждут,

А Он уже пришел.

Единственный наследник слов, итогом
и током рек – изрек не имярек:
единственный посредник между Богом
и человеком –

Богочеловек.

Владимир ЛЕВАНСКИЙ
(1942–2010)

Я ТРАВЫ НАДЕЛЮ РЫДАНЬЕМ...*

БЕССМЕРТИЕ

Я травы наделю рыданьем.
Я камни скорбью наделю.
Налиться страстью и страданьем
Любой песчинке повелю.

О нет, слова мои не лживы.
В сиянье сатанинских морд –
Жива трава, и камни живы,
И жив песок, а сам я мертв.

НЕЖНОСТЬ

Где-то пес
то выл, то лаял,
и метелица мела.
Был костер
как рыжий ангел –
нежно-алые крыла.
Свист морозный,
вой протяжный,
в четырех шагах ни зги...
Ангел мне сушил портянки,
гимнастерку,

* Составили Вера и Сергей Леванские.

сапоги.
Усталь смертную смывая,
как жена,
со мной нежна
эта речка молодая,
голубая глубина.
Я прошел огонь и воду,
знают камни и трава.
Нежно пело с небосвода
солнце –
медная труба.
Здесь, на Севере
медведи,
слыша пенье этой меди,
рано поутру в лесу
лижут светлую росу.

* * *

Я обернулся, вдруг почуяв,
Что чей-то взор, как бы ладонь,
Лег на плечо мое – и чудо:
То был точеный черный конь.

С каким презрением высоким,
С державной гордостью какой
Обвел меня лиловым оком
И отвернулся.

И, выгнув шею лебедино,
Угрюмо в губы взял траву,
Как будто ждал большого дива
И был обманут наяву.

И я, чужак, невольно вспыхнул,
Как провинившийся юнец,

Когда на конской шее всхлипнул
И захлебнулся бубенец.

* * *

Не дозовешься –
зови не зови.
Память
мучительней всех наказаний.
Красные ландыши
перед глазами.
Не было,
нет
и не будет любви.

Ежели
косо качнется стена,
станет черно
в ежедневном загоне –
выбей ладонью
стекло из окна.
Красные капли
дрожат на ладони.

* * *

Голый ветер и голый снег –
одинаково одиноки.
Посреди пустыни пророки –
голый ветер и голый снег.

Государство твое, январь, –
только снега, безлюдье, вьюга.
Ни огня, ни волка, ни друга.
Одиночество, государь.

- Так лети, как бывало встарь,
над безлюдьем моих владений.
Воет ветер, гуляет гений...
- Одиночество, государь!

Одиночество, государь.
Ни тебе дороги, ни дома.
И страна твоя незнакома,
и замерзла всякая тварь.

Я помог в усмиренье рек.
Я огонь зажимал ладонью –
и один на один с любовью –
в голый ветер и голый снег.
Одиночество, государь.

ГАМЛЕТ

Когда взорвался бензосклад,
то, обожжен и окровавлен,
был в госпиталь доставлен Гамлет –
так звался молодой солдат.

А я лежал, легко жалел
свои бинтованные лапы,
и ледяной покой палаты
пустынной скукою белел.

И, словно маятник, вдали
звучал солдатский топот ровный.
Как вдруг раздался стон утробный –
в палату Гамлета внесли.

И было все его лицо
покрыто черною коростой,
и в сердце молнией короткой
ударило его лицо.

И я припомнил, потрясенный,
что был он ясен, темноок –
страны Армении росток,
на дальний Север занесенный.

О, как над ним склонялась мать,
дыша надеждами своими,
какое царственное имя
она посмела сыну дать...

Рванулась дверь, затрясся пол.
И торопливыми рывками
архангел с белыми крылами
влетел. Скомандовал: «На стол!»

Ужели он же через ночь
из храма операционной
раздавленный, униженный
прошаркал прочь?

И я вошел и отвернул
край марли, голову закрывший.
И на меня уже отживший
лик запрокинутый взглянул

очами мутными, в которых
такая боль застеклена,
что ни кровавая слюна,
засохшая на скулах черных,

ни рта сожженного оскал
о муках большего не скажут.
Я ждал, покуда труп отвяжут,
тащить носилки помогал.

И никогда не позабыть,
как, в темень морга погруженный,
лежал он, жалко обнаженный,
вопросом: быть или не быть?

Уже он – не был. Между тем
вопросом мертвого солдата
был полон мир. И тень распада,
незримая, грозила всем.

АПОЛОГИЯ СОКРАТА

Академику В. С. Нерсесянцу

Сократ – седой силен,
Поющий как сирена.
Захватит душу в плен –
И доведет до тлена.
И у его колен –
Прекрасная Елена.

Сократ – сплошной разврат.
Богов не уважает.
Он губит наших чад,
Начальство обижает.
И вот что поражает:
Сократ – не демократ!

За праздничным столом
Почесывает брюхо...
Иные видят в нем
Аристократа духа...
Пускай его старуха
Поведает о том!

Согражданам Сократ
Досаден словно овод.
Ему лишь дайте повод –
Он вам вонзится в зад
И обесмыслить рад
Любой разумный довод.

Сей спорщик наготове
Безумцев – защищать,
Смиранных – возмущать,
Ловить судью на слове.
Он склонен всех прощать
И не выносит крови.

Он хочет – он лукав! –
Казаться всех добрее.
Помешан на идее
Защиты наших прав.
Оракул, ты не прав,
Что нет его мудрее.

Нахален как никто.
Пороки обеляет.
Зимою без пальто
По улицам гуляет.
А знает только то,
Что ничего не знает.

Он в космосе, трепач,
Витают, дома лежат.
И говорит: «Похожа
Земля на круглый мяч!»
(Хоть смейся тут, хоть плачь.)
И не краснеет рожка!

Торговля – наш оплот.
За дефицитом давка.
А этот сумасброд,
Пройдясь по модным лавкам,
Презрительно протяввал,
Что лучше проживет

Без пышной новизны,
Без лишнего комфорта.
Что деньги – не нужны!
И отвернулся гордо.
А не подумал, морда,
О благе для страны.

Афинам – супостат.
Его беседы – в Лету!
Его на свете нету!
Во всем он виноват!
Лишить его наград!
Призвать его к ответу!

Сократ есть диалог.
Его сужденья ложны
И противоположны,
Как пол и потолок.
Он свой язык-клинок
Не убирает в ножны.

Язык его остер,
Но для народа вреден.
Когда ты столь мудер,
То почему так беден?
И молча стрелы сплетен
Приемлешь с давних пор?

Сократ – всегда мятеж.
Горит, да не сгорает.
Он потирает плешь –
И нам очки втирает.
И все не умирает,
Хоть режь его, хоть ешь.

Пора давить клопа!
Без жалости, без всхлипа.
Не так уж и глупа
Несчастливая Ксанטיפпа.
За что ж такого типа
Послала ей судьба?

Бродяжничает он.
Никто не знает, где он.
Он сам себе закон.
В него вселился демон.
Сократ самонадеян –
И все же обречен!

Пришел на суд босой,
В заплатанной хламиде.
И все же рвется в бой
Подобно Эвмениде.
И жертвует собой
В столь неприглядном виде!

Тщеславен свыше сил.
Не хочет стать скромнее.
Себя приговорил
К обеду в Пританее!
И судьям возвестил
Об этой ахинее!

В пиесе «Облака»
Он высмеян пространно.
Держались за бока –
Какая обезьяна!
Но смех Аристофана
Не тронул чудака.

Платон и Ксенофонт!
Какая вам забота
Писать про сумасброда?
Расширьте горизонт!
Не так ли про болото
Шумит Эвксинский Понт?

Сократу – казнь. Но, скажем,
Ввиду его седин:
Не возражали б даже,
Чтоб этот гражданин
Бежал бы из-под стражи
Подальше от Афин.

Ему и страх неведом!
И он в бреду пустом
Вещает, что гуртом
Внимать его беседам
Начнут на свете том
Охотней, чем на этом...

Сократ есть акушер.
Ему ты возражаешь –
Но Истину рождаешь
Из бреда и химер
И музыкаю сфер
Себя же поражаешь!

Ему не прекословь –
Опять затеет смуту...
И женская любовь
Бредет за ним повсюду.
Он пьет как мед цикуту –
И воскресает вновь.

Григорий ЛЕВИН
(1917–1994)

ПУСТЬ СКРОМЕН ЗНАК ЛЮБВИ ПРОСТОЙ...*

ЛАНДЫШИ ПРОДАЮТ

На привокзальной площади
Ландыши продают.
Какой необычный, странный смысл
Ландышам придают.
Ландыши продают...
Почему не просто дают?
Почему не дарят, как любимая – взгляд?
Ландыши продают...

Непорочно-белые, чистые,
Лучевидные и лучистые,
Непогрешимые – что им гроши мои? –
Ландыши продают.

Что звучит пошлей, чем «пошла по рукам»?
Но не тот же ли смысл я словам придам,
Когда спрошу, Москвой проваландавшись:
«Почем ландыши?»
Почем свежесть?
Почем красота?
Почем нежность?
Почем чистота?
Почем воздух сегодня дают?

* Составил Алексей Смирнов.

Не правда ли, странно, когда услышишь:
«Ландыши продают»?

ВОТ ПРИБЛИЗИЛСЯ...

*...вот, приблизился
предающий Меня*

Матф. 26, 46

Я становлюсь недоверчивей день ото дня:
Вот приблизился предающий меня.

Самые близкие предали – и не раз,
Не отводя дружелюбных, внимательных глаз.

После они отводили эти глаза:
Тем, кто нас предал, в глаза нам глядеть нельзя.

Я ж понимаю, даже и не виня:
Вот приблизился предающий меня.

Не уличаю, не обличаю – молчу.
Просто понять, просто постигнуть хочу:

Что же за радость? Близкий, почти родня...
Вот приблизился предающий меня.

* * *

*А наемник бежит,
потому что наемник,
и не радеет об овцах.*

Иоанн 10, 13

Не стареет с веками колючий терновник,
Терн, как прежде, язвит, протыкая чело.
А наемник бежит, потому что наемник,
На него искупление не снизошло.

Волк терзает овец, похищает и губит.
Знает волк, что наемник не устережет.
И наемник бежит, потому что не любит,
Никого он не любит, собою живет.

Не свои ему овцы, он сердца не тратил,
Не берег, не растил и не бодрствовал в ночь.
Наплевать ему трижды на наше распятие,
Он – наемник – бежит, он не хочет помочь.

И, как прежде, чело нам изранит терновник,
Будем кровью, как прежде, опять истекать.
А наемник бежит, потому что наемник,
Не умеет беречь, не желает спасать.

* * *

Хорошо, когда человек,
Уходя, оставляет песню.
Пусть негромкая, но своя. –
Людям дарит он соловья.
Будет людем жить веселей,
Будет в доме петь соловей.
Человек уже далеко,

А в том доме людям легко.
Даже если вокруг тишина,
Соловьиная песня слышна.
И не будет бездушьем и спесью
Омрачен их недолгий век.

Хорошо, когда человек,
Уходя, оставляет песню.

* * *

Пусть скромен знак любви простой,
А словно жизнь меня прославил.
Мне дочка к празднику на стол
Букетик ландышей поставила.

Живет поэзия везде,
Нас различает не по званию.
Зеленый лист стоит в воде
И колокольцами позванивает.

Зачем грустить и счет вести
Обидам, нанесенным ранее?
Мне дочка принесла в горсти
Весны зеленое дыхание!

Вот так вбегают счастье в дом,
И за руку его не вывести.
...А если счастье не во всем,
То, может быть, для справедливости...

Владимир ЛЕОНОВИЧ
(1933–2014)

ТОЛЬКО РАЗ Я ЖИВУ*

ИМЯ ПРАДЕДОВО

Нет ни кликов, ни откликов,
течение неколебимо.
Прадед мой был Василий Облаков
из Любима.
Сиротеют потомки:
против времени кто ж пробьется?
Огонек на потемки –
имя прадедово остается.
Так блуждаешь – долго да около –
жребий русский.
Был ты Облаков –
стал Боголюбский.
Припаду ли когда на паперти
к твоему надгробью?
Я, обязанный матери
сильною кровью,
между мусора прусского
и родимого благосвинства
пе-ре-нял жилу русского
духовенства.
В эту жилу вбежала
и запенилась кровь отцовская:
там Мицкевичи, там Варшава –
воля польская.

* Составила Алла Калмыкова.

* * *

Нелепая русская тяга –
большого пространства труба.
Как нищий и пьяный бродяга,
всю ночь завывает судьба.

В полосчатом рваном халате
кружится промокшей листвой,
и к воле зовет и расплате,
и ждет при дороге – не вой!

Я спал – это в душу ломилось.
Я спал и кричал: погоди!
Наутро она утомилась,
лежала и снегом светилась.

И женщина шла впереди.

РОДНЫЕ

По России, по Сибири,
сам не знаю отчего,
так они меня любили,
как родного своего.
Все живое – тесно, больно –
вот стареют – смерти ждут,
а просты, а безглагольны...
Дом пустой – часы идут.
И везде переселенец
и нигде не сирота,
перепутал как младенец:
та родная или та?
Жив я, нищий и никчемный,
это – милое – копя:

– Целовек-от ты уценой,
так и жалко мне тебя. –

А и мне – и так, и жалко:
груди нет, спина да палка.
И гляжу и пропадаю:
так стояла б – молодая,
так бы руки прятала,
так бы зорко взглядывала.
И, ресницы притемня,
угадала бы меня...
Это – в рамке на стене,
будто в омуте на дне –
ты – не ты? В красе и славе,
в лапоточках и с багром
в майский день в лесу на сплаве, –
стлело время – вышел бром.
Не гляди уж так плачевно,
укоризну затая,
мама Ольга Алексевна
одинокая моя:
по Сибири, по России,
память милую храня,
без меня живут родные,
помирают без меня.

РУСЬЮ ПАХНЕТ

Дым вокзальный Русью пахнет.
Без билета на мели.
Над перроном как бабахнет –
реактивные пошли.

Отдалось, прошло со звоном
коридором звуковым,
пылью кислую, озоном
потянуло грозовым...

Человечек в чем-то сером
на скамейке МПС
сам к себе таким манером
вызывает интерес:

чиркнет спичкой – и втыкает
прямо в кожу – ничего! –
стоймя спичка догорит
на ладони у него.

Черные фигурки вдовьи
возникают, как в кино –
дальним планом – на ладони,
нечувствительной давно.

На ладонь и потылицу
не хватает коробка.
Как ежова рукавица,
растопырена рука.

Что же в нем перегорело
за войну ли, за тюрьму,
если боли просит тело,
если все равно ему?

Паленины дух смердящий...
Человечек заваливающий
озорно глядит в упор:
хошь еще, давай на спор!

И словесности изящной
далеко до этих пор.

Дым вокзальный Русью пахнет.
Что ни шаг, то край земли.
...Налетит, бабахнет, ахнет,
долго рушится вдали.

РУКА СОЧИНТЕЛЯ

Свои рукописные перебираю листки
и вдруг обращаю вниманье
на выраженье руки
и вижу, как верно рука проработана – и
рисую крестьянские руки – мои? не мои?
Чернила уже выцветают при жизни моей,
бумага поблекла, но эта беда – не беда:
гораздо заметнее стала, гораздо видней
рука сочинителя – произведенье труда.

Как рад, что успел – что несметно порвал рукавиц,
как рад я, что в дело мужицкое все-таки вник,
что сам,
от усталости на землю падая ниц,
я взял у земли – что не вычитал бы из книг!
И в первые руки и мимо чужого ума
начальное знанье она мне вручила сама,
и словно бы кровушка чья-то, свежа и ала,
от почвы отсыкла и в жилы вот эти вошла.
И, влажную теплую землю сжимая в горсти,
я знаю – трескотинной кожи, ломотой кости,
блаженною радостью созерцанья труда:
кто землю вскормил – не обидит ее никогда.
И кто хоть однажды бревно положил на бревно
(со звоном певучим и влажным ложится оно,

и знаешь, опять, как легло – по тому, как звенит) –
уж тот не обидит, не тронет и не осквернит
чужого труда.
Кто же землю мою разорил?
Уж верно не тот, кто ломил от зари до зари.
И кто же так бил по рукам, что сломил их в кости?
Прости мне – чья кровь в этих жилах!
Прости мне,
прости...

СЕМЕРО И ОДИН

В. Суховскому

Твои рассказы про ГУЛАГ
душе моей невмоготу.
В социализм врался кулак,
а врос в тайгу и мерзлоту.

На черном севере страны
семь кулаков сидят кружком,
и снимали зипуны,
и все присыпаны снежком.

И в мужиках дыханья нет –
они витают в лучших снах.
И лишь мальчишка малых лет
как будто дышит в зипунах.

Высо́ко вытаял сугроб,
лежит на тепiline малец,
застыли все, и нету дров,
и этот мальчик не жилец.

Как поминальная свеча,
он долго теплится в снегу.
Земля уже не горяча,
и как ему я помогу?

И как ему поможешь ты,
покуда милует мороз,
пока по следу теплоты
еще густеет белый ворс?..

Минует время – горе, гнев –
одно минует за другим.
Семь кулаков, окаменев,
сидят над мальчиком своим.

ЦАРЬ-СВЕЧА

В моем отечестве любому палачу
всегда в достатке памяти и чести.

На Красной площади, на Лобном месте,
поставить надлежит свечу
за упокой невинно убиенных,
крест высечь в камне и звезду –
два символа и знака сокровенных,
умерить скорбью их вражду.
Равно пригодны для распятия
крест и звезда.
Хоть мертвые, теперь вы братья,
товарищи и господа.
А место Лобное, конечно,
задумано и было как подсвешня
для небывалой Царь-свечи.

Остановись.
Опомнись.
Помолчи.

ПЕСНЯ

А. Жигулину

Кабы дали три жизни да мне одному,
я извел бы одну на тюрьму Соловки,
на тюрьму Соловки, на тюрьму Колыму,
твоему разуменью, дитя, вопреки.

По глухим деревням костромской стороны
исходил бы другую, *хозяин и гость*,
на студеной заре ранней-ранней весны
в сельниках мне так жарко, так чутко спалось!

Ну а третью отдал бы черно-белым горам,
и друзьям бы меня величали: Ладо...
Сколько раз бы я жил, столько раз умирал,
ну а как умирал, не видал бы никто.

Я бы так умирал, как заря ввечеру,
уходил-пропадал, как больное зверье...
Только раз я живу, только раз я умру,
а потом я воскресну во Имя Твое.

ПИСЕМУШКО

Здрастуй Ванюшко мой сынушко бажоньий
на два годичка незашто посажоньий
говорят не виноватый ты Ванюшко
кланяется тебе твоя мамушка
и всем товарищам твоим и всем начальникам
как и звать не знаю величать ли как
прости Ванюшко меня простоголовую
таку негодну дурословую
все и складываю нонь да причитываю
а писемушка твое не прочитываю
а прочитыват сын мой Вовушко
он и пишет всяко писемушко
родной сын посажоньий куролесливый
а чужой ученый жалесливый
скажу сделай что дак он и рад
а уходит сам в байну в трубу играт
и пошто эту гадось в рот береш
такой смиренный веселый да всем хорош
у его труба ли квохчет ли керкает
а ку песню заведет всю сковеркает
давай брату гыт мать писать письмо
а письмо вперед и бежит само
нет уж мать по порядку веди не спеши
а ты не слушай меня знай пиши
дуда гнутая сарафаном звать
вся серебряна с такими папинкам
в байны сам сидит раскладет тетрадь
нуко с птичкама такима с крапинкам
а лони пришло эких-то пятеро
кто таки а говорят с конца озера
дак в палатке ночесь их заморозило
а у Вовушки ни отца ни матери
запустила их в зимню горницу
сама думаю кака может вольница

нет гыт мать мы художники
и тебе еще может помощники
эти двое-то с двоима женами
так что мы тебе не грабители
жаль смеюся говорю что не видели
непутевого мово посажного
а ты Вовушко не жанат чево
а гыт мать все в жизни обманчиво
а сам поглядыват на фотку на сестру твою
на таку же на дуру беспутную
добротой да красотой своей нещасную
в батьку видно тихую согласную
а вот как сынушко заключенной ты мой
одна беда мне с твоей тюрьмой
как пошли дожди да картошка не копана
а сыны ушли дак не прикованы
мне высокодавление такой степени
ин до звездочек до края потемени
всю шатат меня ровно пьяную
на коленках в борозде тут и плаваю
изустала да пала да запела я
во всю голову дура угорелая
говорить-то путем разучилася
до того сей год с картошкой добилася
не сердис на меня сыночек Ванюшко
плоха стала я где бы батюшку
нету батюшки нигде нет и в Пудоже
видно ждуд меня к себе знать зовут уже
поклонися от меня всем начальникам
каким товарищам как звать величать ли как
а еще тебе сам напишет Вовушко
напиши ему беспутному два словушка
и за что только Бог меня наказыват
знает все мои грехи да не сказыват

ПЕРЕВОДЫ

Галактион ТАБИДЗЕ

С грузинского

* * *

Недостижимостью святою
Одною только дорожу –
Отнюдь не жизнью пустою,
Где места я не нахожу.

Но кто ты, мой далекий Гений?
Душа тебе обречена
И между счастья и мучений
Не знает разницы она.

Так полнится живое море
Слезой горчайшею одной –
И тлеет в сумрачном затворе
Весь свет – небесный и земной.

У ОКНА

Седой, словно дух бесконечной дороги,
Сюда из-за тысячи дней
Притащится этот Старик колченогий
И станет у двери моей.

И скрипочку верно приладит и хлипко
Смычком проведет по струне...
Спина эта... Беглая эта улыбка,
До муки знакомая мне...

Споет обо всем невозвратно прошедшем,
Взмахнет лебединым смычком,
И вскрикнет струна, и вздохнет, и прошепчет
О жребии верном моем.

Из сил из последних на светоч вечерний
Ни мертвый бреду, ни живой.
Постылые лавры и ржавые тернии
На камень швырну гробовой.

И все это значит, что участью лучшей
Отмечен я был меж людей...
Все так – в этой слезной – летящей – тягучей
Мелодии жизни моей!

НЕ ЖАЛУЙСЯ НА ВРЕМЯ

Мужайся, человек. Гляди вперед:
Ты разогнал колеса маховые.
Ты возбудил прогресс – тебя несет
Новорожденная стихия!

Не жалуйся на время – и потерь
Не числи. Адским пламенем и паром
В младенчестве ты обдан. Что ж – поверь,
Что с дьяволом спознался ты недаром.

И все недаром. И утраты – впрок,
И красное, и белое каленье –
Чтобы когда-нибудь ты превозмог
Позор и ужас самоистребления.

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В ПЕТРОГРАДЕ

Метель!

Изменит слово – глаз не выдаст.
К Неве от Исаакьевских колонн,
Коллебясь, шел пирамидальный слон
Сквозь призрачную взвихренность и взвитость.

Затем

Серебряная пальма Неине,
Едва ступив на черный гололед,
Вальсировала – ветви наотлет, –
Я позавидовал – кому-то – втайне.

Лиловая клубящаяся мгла,
Муаром отливая и атласом,
Над городом – клянусь вот этим глазом –
Летит, срываясь с древка помела!

Свистит и рвется надвое атлас:
Шпиль? Коготь? Коготический палас?
Ну, вьюга! Все на воле – каково им?
Загнем за угол, постоим, повоем, –
Изменит слово – горло не предаст.

Там,

Во главе всего –
Крючок басовый.
Там Ладоги просторные меха,
И дышит города орган суровый
Дыханьем петербургского стиха,
Послушным геометрии Петровой.

Знакомый горький иней на губах.
Простоволосая, о чем ты, ива?
Уже враждуют мертвецы в гробах –
Безмерна грусть твоя и сиротлива.

Как море перехвачено проливами,
Так кольцами бессонниц – эти дни.
О если б мог я плакать с вами, ивами,
Молиться мог:
Спаси и сохрани...

Идущий с миром – явится с мечом.
О скрипка ивы над моим плечом!

Спасите!
Протащите сквозь теснину!
Всегда найдется дюжий костолом.
Куда же я? Сойду с ума и сгину
С моим самодержавным ремеслом.

Меня равнина тянет –
С ветром свиться.
Судьба, я дважды угодил родиться:
Здесь,
В эту ночь,
В ноябрьскую метель –
И там, в раю, за тридевять земель.

Что ж –
На исходе двадцати шести
И я прочел бы моего «Пророка» –
Да некому... О Господи, прости
Галактиона – вот еще морока!
Порвал на ленточки: лети, лети!

Расплакался младенец – за него
Перепугался: не помри с натуги...
Однако раздышался, ничего...
Но это в поезде, там, у Калуги.

И думал я: мне больше не распеться...
И были помыслы мои чисты:
Пустить себе обойму в сердце –
Иль продавать
лиловые цветы.

ДОВИН-ДОВЛИ*

Так пером блаженно водит
Ангел третьего завета,
Ибо женщина выходит
На дворцовый лед паркета.

Прочь отброшено введение
Книги путаной и странной
Ради этого мгновенья
Красоты обетованной!

Дай блаженному грузину
Опрокинуть возле трона
Всю цветочную корзину
Золотого Трианона!

Это грезилось в картинных
Галереях сей столицы,
В глубине зеркал старинных
Собиралось по крупнице...

* Довин-довли – неперебиваемое сочетание звуков, наподобие птичьего напева.

Боже мой, какая мука,
Блажь какая и блаженство –
Изваять – увы – из звука
Вас, о Ваше Совершенство!

Неустанно, неустанно
Возношу хвалы Киприде.
Как версальские фонтаны
Подражают Вам – смотрите!

Довин-довли...
Дева, дева,
Поглядите-ка налево...

Над грядой дубов и пиний,
Над дорожкой райской, синей –
Полуночный ветер горный,
Иссиня-седой и черный, –
Конь летит – по коже иней –
Гость незванный, призрак вздорный...

И к чему такая спешность?
О, замурьтесь, Ваша Нежность!

Это слезы? Не годится –
И давайте «Довин-довли»
Я спою Вам – я ведь птица –
Не люблю я птицеловли!

Довин-довли, довин-довли!

* * *

Тень каштана скользит по стеклу.
Там за нею – за дальнею далью –
Посетителя тень в зазеркалье –
Та же, в том же глубоком углу.

Это утро. Пустое кафе.
Я, входящий в чудесном смятении.
Это Пушкин!.. И спутницы-тени:
Экатомба и аутодафе.

Пистолет иль костер? Все равно.
Черный остов – иль малая ранка...
Для избранных э т о г о ранга
Честь жены, честь эпохи – одно.

Где по мраморному алтарю
Жилка мерзлая – Черная речка, –
Там тебе – только нож да овечка.
Слышишь, чернь, это я говорю.

Я тебе говорю, воронье:
Весть о жертве, о жесте высоком
Ты встречаешь желудочным соком –
Ты всегда получаешь свое.

Дмитрий ЛЕПЕР
(1935–2007)

ГОЛОС*

* * *

Питомец литобъединений –
я мало лавров там снискал.
Мой скромный (но нескромный!) гений
алкал немислимых похвал.
Но втуне слово отзвучало.
Я замолчал.
Помилуй Бог!
Но я сдержать себя не смог.
Ну что ж, тогда начнем сначала.
И с той поры, небритый гений,
хвала небесному царю,
в толпе людей, домов, растений
я говорю и говорю.
Меня не слушают – не надо.
Звучи, безадресная речь.
Не за горами двери ада,
и пламя озаряет печь.

* Составила Галина Китаева.

* * *

*Такая красная рябина,
что даже в воздухе горчит.*
Ю. Адрианов

Синица за тонким оконным стеклом
по старой щербатой фанере стучит.
И мой окоем ограничен двором.
Сгущается вечер, и ветер молчит.
Пылает рябины безумная гроздь,
на палые листья напал снежок –
и я ноября неприкаянный гость,
осеннюю грусть запасующий впрок.
Я юноша вещей, я чуткий старик,
я Божий угодник, слуга Сатаны,
и Вечности неопиcуемый лик
мерцает сквозь бледную зелень волны
мгновенья текущего. Песня стара,
пластинка заезжена, осень горчит,
но листьев утрата не так уж остра,
пока деловито синица стучит.

* * *

О золотая осень!
Под сень твою вхожу.
Сколь ясен твой незамутненный лик.
Сколь ясеня узор золотолистый на темном фоне
светел и прекрасен.
Старик, в сыром лесу подсвеченный лучом,
мне нипочем печаль, моя воскресла сила,
и жало презренного зоила меня уже
не уязвит, как встарь.
Седой старик, листающий букварь,
жизнь постигающий с азов, и на засов

* * *

Я золотую тишину в себе сегодня ощущаю,
я взглядом синеву сгущаю
и этим я (сказать рискну) зимы конец
предвосхищаю.
Весна приходит как Весна, как ожиданье
Воскресенья.
Довлеет злоба, нет спасенья, но вновь
приходит к нам Весна.
Все было как бы и со мной.
Я там присутствовал незримо.
Тревожно спал под властью Рима
усталый город за стеной.
И будет несомненно так:
восток слегка залиловет,
чу,
Некто непостижно реет, предутренний пронзая мрак.
Потом он сложит за спиной
свои сверкающие крылья и без заметного усилья
отвалит камень гробовой.

А через несколько часов измученные скорбью
люди сюда устало притекут,
они не думают о Чуде и Чуда, слабые, не ждут.
В ушах неуловимый звон,
сияющего солнца свет,
прямой вопрос,
и женский стон,
и удивительный ответ:
«Он вышел вон.
Его там нет».

* * *

Окуни свои очи в желтизну неприкаянных рощ,
их предсмертной, последней, их искренней
лаской утешься.

Слишком много уроков, укоров, обид,
ты их лучше не трожь,
слишком много тоски – ты тоскою по горло наешься.
Лучше шелесту листьев еще не слетевших внимай.
Да и будет ли май после столь беспросветной печали?
И бреди к горизонту в немые открытые дали,
и забот сего мира безумного не понимай.

* * *

Неверность и ревность, две девы глухие,
вы звонко в безумные трубы трубили,
две фурии, две беспредельных стихии,
вы незащищенный росток погубили.
Распался союз и взроптали деревья,
ведь близкого неба достичь не дано им,
как нам не дано возрожденья доверья,
и стынут слова, как бойцы перед боем.

* * *

Давай же с тобой поживем, как бомжи,
смотри, разве я не похож на бомжа?
Ведь смертная дрожь – не страшнее, чем жизнь,
когда ее прожил, бесцельно греша,
блуждая в потемках, неровно дыша,
какие в июле погожие дни,
в сосновом лесу молодеет душа
и мы перед Богом сегодня одни,
как в прежние дни,
а вокруг – ни души,

бесцельно греша и безгрешно дыша.
Деревья прекрасны – и мы хороши:
два старых, потрепанных жизнью бомжа.

ГОЛОС

Негромкий голос свой возвысил, свой
невостребованный глас аз,
прозябавший среди чисел, еще не пробужденный аз.

И неожиданно узналось:
проникла в голос трубна медь.

И я тогда отбросил жалость, я предпочел
гореть, чем тлеть. Вотще текущи реки слова

я вспять сурово повернул, я
посягнул расслышать снова иных времен

полнощный гул. Чтоб внятен стал
язык столетий, в глухую я спустился клеть,

среди мятежных междометий я
поднял праведную плеть. И вот пустых словес

полова умчалась с ветром
заодно, и в пашню лет ложится слово

как полновесное зерно.

* * *

Однажды посетив сей мир, трудносмываемые
строки на влажном времени

песке
сумей упрямо начертать.

Не стой и не трясись, как тать в смятении,

страхе и тоске, пока волна
очередная к тебе еще не подошла,

а волнам в море несть числа, ушла одна –

идет другая.

Евгения МИШЛЕ
(1923–2004)

ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ, ПРОСТИ...*

БАГУЛЬНИК

Багульник – добрый лицедей,
сухой, корявый и неброский
пред вереницею людей
хандрил в заснеженном киоске.
А продавец, смешной педант,
исправил все монеткой сдачи:
– Яви, багульник, свой талант,
он спит в тебе, он не растрочен!
Я загадаю на тот миг,
на то высокое доверье,
когда среди картин и книг
тебя настигнет вдохновенье.
И ты затеплишься огнем
сквозным, сиреневым, стократным,
и столько будет правды в нем,
что это не назвать театром.
И не обучен лицемерить,
ты озаряешь край мой пресный,
и мне захочется поверить,
что можно заново воскреснуть.

* Составила Людмила Соколова.

ПЛАЧ

День осенний. Слякоть. Стужа.
Вот она, твоя награда!
Серый мрамор, крест, ограда –
больше ничего не нужно.
Над усопшими скорбя,
листья мокрые опали,
я святым Петру и Павлу,
помолилась за тебя.
Жгла свечу за нас двоих
и, пока она сгорала,
все листочки подбирала
от креста – до ног твоих.
Ты прости меня, прости,
что не часто привечаю,
напоила б тебя чаем,
кабы здесь не загостил.
Ты вином бы угостил,
кабы здесь не загостил,
кабы здесь не загостил,
на руках меня б носил.
Все, о чем бы ни просил,
кабы здесь не загостил.

* * *

Окунается лес до озявших макушек
тихо в луж глубину, в озерца...
Я люблю поздней осени серебристую стужу,
я люблю крон красу созерцать.

Вспоминается детство далекое, мама,
ее грустные песни, неуют, теснота...
Но спасала меня моей родины малой
неосознанная красота...

* * *

Пора бы отпустить подпругу,
за много лет распрячь коня,
пойти под вечер за округу,
в высокий клевер, за поля.
Не торопить, как прежде, друга,
глотать внезапный в горле ком,
следить, как солнце черным кругом
стекает медленно за холм.
Вдыхать речной прохладный воздух...
Река – как аспидная ртуть...
Купать коня в прибрежных водах
и нежно в ноздри, в уши дуть.
Прощально, тихо, терпеливо,
бессчетно, много раз подряд...

* * *

Устав от дел дневных, присела,
закат в полнеба за окном.
А за спиной пластинка пела:
– Вечерний звон! Вечерний звон!
То колокол с угрюмой силой
плыл на басах со всех сторон.
Меня на крыльях уносило:
– Вечерний звон! Вечерний звон!

* * *

Мне снилась мама молодая.
В окне возникла неприметно.
Над ней туманы, пролетая,
светлели за лучом рассветным.

Нагрудный крест с себя сняла
и трижды им перекрестила.
Два рукава, как два крыла,
на подоконник опустила.

Немой укор в ее глазах
стучал в мое живое сердце:
– А где святыне образа
в углу переднем, в полотенцах?

А я стояла перед ней
простоволосая, седая.
– Ах, мама. Времена не те!..
Ах, мама, мама молодая!..

Елена НАДЕИНА
(1923–1998)

РАСПАХНУ ОКНО*

ИЮНЬ 1941. ДОРОГА

Иду полевой тропинкой,
И справа, и слева – рожь;
Любуюсь каждой травинкой,
А день до чего хорош!
Небо огромное, знойное.
Высокие облака,
В воздухе марево сонное,
В солнечных бликах река.

Иду, а куда – не знаю.
Сказка вокруг или быль?
Босыми ногами ступаю
В мягкую теплую пыль.
Блузка моя нараспашку,
С плеча соскользнул платок.
Мне улыбнулась ромашка,
Мне подмигнул василек.

Жизнь в самом начале,
Все лучшее впереди,
До радостей и печалей,
Казалось, идти да идти.
И так мне легко шагалось,
Мечты были светом полны...

* Составила Людмила Богуславская.

Не ведала, что оставалась
Неделя всего до войны...

МАЛИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ

Памяти мамы

Варю в саду варенье из малины –
У внука послезавтра именины.
Держусь я правил строго и упрямо –
Варю, как некогда варила мама...

Ах, аромат какой по саду льется!
Я думаю, варенье удается.
Жужжит пчела, вот налетают осы,
Но я косынку подобрала косы...

Сядутся на руки, залезли в ложку –
Им тоже хочется попробовать немножко.
Да ешьте, осы, мне совсем не жалко,
Да только уберите ваши жалка.

Снимаю пенки длинною шумовкой –
Здесь надо быть внимательной и ловкой.
Малиновыми пенками, бывало.
Меня и брата мама угощала.

Мы теплый хлеб макали в пенки эти,
А мама улыбалась: ешьте, дети.
Кипит, кипит в тазу мое варенье.
Оно – как мамино благословенье.

ПОЛКОВНИК СОНЯ*Софье Петренко*

«Я все еще во сне летаю,
Раскину руки и лечу...»
Она живет, творит, мечтает.
Ей все, как прежде, по плечу.
У Сони легкая походка,
У глаз морщинки чуть видны,
Все так же мысль ясна и четка,
А за спиною – три войны!
Она всю жизнь не забывает
Своих товарищей-бойцов,
Стихи свои им посвящает
И помнит каждого в лицо.
Полковник Соня книги пишет.
Ей есть, что людям рассказать.
В стихах живая память дышит –
Она не может промолчать.
Я помню Сонин взгляд пытливый,
И светлых глаз ее лучи,
И разговор неторопливый
В стихах, рождавшихся в ночи.
На сопках, в дальнем пограничье,
В каком лесу, в году каком
Я видела твой стан девичий,
Солдатским стянутый ремнем?
Нет у меня портрета Сони,
Газета старая одна.
Там на плечах ее – погоны,
На гимнастерке – ордена.
На пышных волосах – пилотка,
Улыбка нежная у рта,
И весь твой облик – стройный, ловкий,
И молодость, и красота.

Я книгу трепетно листаю,
Читаю Сонину строку:
«...Я все еще во сне летаю
И налетаться не могу!».

РЕКВИЕМ

Памяти мужа

1

В ту летнюю ночь ты пришел ко мне,
А было мне двадцать лет.
И мы целовались, пока в окне
Дневной не забрезжил свет.
Вся жизнь промелькнула, как эта ночь, –
И вот ты ушел навсегда...
И мне никто не в силах помочь,
И это – моя беда.
И я, как прежде, ночей не сплю,
Хмурый встречая рассвет.
И Бога молю, и жду, и люблю,
Как будто мне двадцать лет.

2

Всю ночь гремела над землей гроза:
Гудели пушки, минометы пели...
Всю ночь смотрела я в твои глаза,
Мой юноша в пилотке и шинели.
И нам казалось: не было войны,
И не было потерь и поражений.
Мы плыли над землей, любви полны.
Преодолев земное притяженье.
Год сорок третий, самый страшный час.

А сопки и тайга пестрят цветами...
Судьба, как мать, благословила нас,
Укрыв от смерти теплыми крылами.

3

Как облако, клубится
Твой яблоневый сад,
И пчелки-мастерицы
Над ним жужжат, жужжат.
Летят лесные птицы,
Садятся на кусты.
Здесь гнезда будут виться,
И в каждой ветке – ты.

4

А на пригорке, светел,
Стоит твой новый дом.
Ты видишь – наши дети
И внуки за столом.
И мирная беседа,
И крепкое вино,
И поминают деда,
Любимого давно...
И соловейка курский
Поет в твоём саду.
И я дорогой узкой
Иду к тебе, иду...

ПЕРЕВОДЫ

Станислав Ежи ЛЕЦ

С польского

МЫСЛИ НЕПРИЧЕСАННЫЕ

Вначале было слово. А в конце одни фразы.
Даже в его молчании были грамматические ошибки.
Не сотвори себе кумира по своему подобию.
Чтобы громко трубить в рог изобилия, он должен
быть пустым.

Все в руках человека, Поэтому их надо чаще мыть.
«Откройся, Сезам! Я хочу выйти!»
Хорошо бы родиться после смерти врагов!
По скромности он считал себя графоманом,
а был доносчиком.

Не пиши свое кредо на заборе.
У каждого века свое Средневековье.
Свободу симулировать нельзя.
Некоторые мысли приходят в голову под конвоем.
И голос совести тоже ломается.
Если ты без позвоночника, не лезь вон из кожи.
У народных трагедий не бывает антрактов.
Одиннадцатая заповедь: не словоблудь!
Снилась мне действительность. С каким облегчением
я проснулся.

Чтобы быть собой, надо быть хоть кем-нибудь.
Не многие в XIX веке предвидели, что после него
наступит век XX.

Сальто-морале куда опаснее, чем сальто-мортале.
Чтобы дойти до источника, надо плыть против течения.
У кого шире горизонт, у того обычно худшая перспектива.
Как свежи краски тех, которые находились в тени!
Миг познания своей бездарности – это проблеск гения.

В каждой стране по-разному звучит вопрос Гамлета.
Пуритане должны носить два фиговых листка. На глазах.
Есть пьесы такие слабые, что никак не могут сойти
со сцены.

И диктатура тоже не перпетуум-мобиле.
Люди, опередившие свое время, должны были ожидать его
в помещениях, лишенных удобств.

Первый человек не знал печали. Он не умел считать.
Снизил полет и приземлился на Парнасе.
Откуда ветер знает, в какую сторону дуть?
Помни: никогда не изменяй правде – изменяй правду.
Одиночество! Какое же ты перенаселенное!
Бывают времена, когда философ перед смертью может
сказать: «К счастью, я остался непонятым».

Совершил преступление. Убил человека! В себе.
Жизнь отнимает у людей слишком много времени.
Постучал бы человек иногда себя по лбу, да не знает кода.
Человек любит смеяться. Над другими.

Булат ОКУДЖАВА
(1924–1997)

КОГДА МНЕ НЕВМОЧЬ ПЕРЕСИЛИТЬ БЕДУ...*

ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли –
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом – солдат...
До свидания, мальчики!
Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите,
и все-таки
постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб – разлуки и дым,
наши девочки платица белые
раздарили сестренкам своим.
Сапоги – ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.

* Составил Алексей Смирнов.

Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад...
До свидания, девочки!
Девочки,
постарайтесь вернуться назад.

ТРИ СЕСТРЫ

Опустите, пожалуйста, синие шторы;
Медсестра, всяких снадобий мне не готовь.
Вот стоят у постели моей кредиторы:
Молчаливые Вера, Надежда, Любовь.

Раскошелиться б сыну недолгого века,
Да пусты кошельки упадают с руки.
Не грусти, не печалься, о моя Вера,
Есть на свете еще у тебя должники.

А еще я скажу и печально, и нежно,
Две руки виновато губами ловя:
Не грусти, не печалься, мать Надежда,
Есть еще на земле у тебя сыновья.

Протяну я Любви ладони пустые,
Покаянный услышу я голос ее:
Не грусти, не печалься, память не стынет,
Я себя раздарила во имя твое.

И какие бы руки тебя не ласкали,
Как бы пламень тебя не сжигал неземной,
Не грусти, не печалься, болтливость людская
За тебя расплатилась, ты чист предо мной.

Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных,
Белым флагом струится на пол простыня.
Три жены, три сестры, три судьи милосердных
Открывают бессрочный кредит для меня.

* * *

Горит пламя – не чадит.
Надолго ли хватит?
Она меня не щадит –
Тратит меня, тратит.

Быть недолго молодым –
Скоро срок догонит.
Неразменным золотым
Покачусь с ладони.

Потемнят меня ветра,
Дождичком окатит.
Ах, она щедра, щедра.
Надолго ли хватит?

ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры – матросы твои –
приходят
на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.

Полночный троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчком стучала в виске,
стихает,
стихает.

* * *

Нева Петровна, возле вас – все львы.
Они вас охраняют молчаливо.
Я с женщинами не бывал счастливым,
вы – первая. Я чувствую, что – вы.

Послушайте, не ускоряйте бег,
банальным славословьем вас не трону:
ведь я не экскурсант, Нева Петровна,
я просто одинокий человек.

Мы снова рядом. Как я к вам привык!
Я всматриваюсь в ваших глаз глубины.
Я знаю: вас великие любили,
да вы не выбирали, кто велик.

Бывало, вы идете на проспект,
не вслушиваясь в титулы и званья,
а мраморные львы – рысцой за вами
и ваших глаз запоминают свет.

И я, бывало, к тем глазам нагнусь
и отражусь в их океане синем
таким счастливым, молодым и сильным...
Так отчего, скажите, ваша грусть?

Пусть говорят, что прошлое не в счет.
Но волны набегают, берег точат,
и ваше платье цвета белой ночи
мне третий век забыться не дает.

ПЕСЕНКА О ФОНТАНКЕ

По Фонтанке, по Фонтанке, по Фонтанке
лодки белые холеные плывут.
На Фонтанке, на Фонтанке, на Фонтанке
ленинградцы удивленные живут.

От войны еще красуются плакаты,
и погибших еще снятся голоса.
Но давно уж – ни осады, ни блокады –
только ваши удивленные глаза.

Я – приезжий. Скромно стану в отдаленье.
Слов красивых и напрасных не скажу:
что я знаю? Лишь на ваше удивленье
удивленными глазами погляжу.

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК МОЕГО СЫНА

Игорю

Земля гудит под соловьями,
под майским нежится дождем,
а вот солдатик оловянный
на вечный подвиг осужден.

Его, наверно, грустный мастер
пустил по свету невзлюбя.
Спроси солдатика: «Ты счастлив?»
И он прицелится в тебя.

И в смене праздников и буден,
в нестройном шествии веков
смеются люди, плачут люди,
а он все ждет своих врагов.

Он ждет упрямо и пристрастно,
когда накинута трубя...
Спроси его: «Тебе не страшно?»
И он прицелится в тебя.

Живет солдатик оловянный
предвестником больших разлук
и автоматик окаянный
боится выпустить из рук.

Живет защитник мой, неволью
сигнал к сраженью торопя.
Спроси его: «Тебе не больно?»
И он прицелится в тебя.

ОХОТНИК

Спасибо тебе, стрела,
спасибо, сестра,
что так ты кругла
и остра,
что оленю в горячий бок
входишь, как Бог!
Спасибо тебе за твое уменье,
за чуткий сон в моем колчане,
за оперенье,
за тихое пенье...
Дай тебе Бог воротиться ко мне!
Чтоб мясу быть жирным на целую треть,
чтоб кровь была густой и липкой,
олень не должен предчувствовать смерть...
Он должен
умереть
с улыбкой.

Когда окончится день,
я поклонюсь всем богам...
Спасибо тебе, Олень,
твоим ветвистым рогам,
мясу сладкому твоему,
побуревшему в огне и в дыму...
О Олень, не дрогнет моя рука,
твой дух торопится ко мне под крышу...
Спасибо, что ты не знаешь моего языка
и твоих проклятий я не расслышу!
О, спасибо тебе, расстояние, что я
не увидел оленьих глаз,
когда он угас!..

ГРИБОЕДОВ В ЦИНАНДАЛИ

Цинандальского парка осенняя дрожь.
Непредвиденный дождь. Затяжной.
В этот парк я с недавнего времени вхож –
мы почти породнились с княжной.

Петухи в Цинандали кричат до зари:
то ли празднуют, то ли грустят...
Острословов очкастых не любят цари, –
бог простит, а они не простят.

Петухи в Цинандали пророчат восход,
и под этот заманчивый крик
Грибоедов, как после венчанья, идет
по Аллее Любви напрямик,

словно вовсе и не было дикой толпы
и ему еще можно пожить,
словно и не его под скрипенье арбы
на Мтацминду везли хоронить;

словно женщина эта – еще не вдова,
и как будто бы ей ни к чему
на гранитном надгробьи проплакать слова
смерти, горю, любви и уму;

словно верит она в петушиный маневр,
как поэт торопливый – в строку...
Нет, княжна, я воспитан на лучший манер,
и солгать вам, княжна, не могу,

и прощенья прошу за неловкость свою...
Но когда б вы представить могли,
как прекрасно упасть, и погибнуть в бою,
и воскреснуть, поднявшись с земли!

И, срывая очки, как винтовку с плеча,
и уже позабыв о себе,
прокричать про любовь навсегда, сгоряча
прямо в рожу орущей толпе!..

...Каждый куст в парке княжеском мнит о себе.
Но над Персией – гуще гроза.
И спешит Грибоедов навстречу судьбе,
близоруко прищутив глаза.

* * *

Б. Слуцкому

Вселенский опыт говорит,
Что погибают царства
Не оттого, что тяжек быт
Или страшны мытарства.

А погибают оттого
(И тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего
Не уважают больше.

ПРОЩАНИЕ С НОВОГОДНЕЙ ЕЛКОЙ

Синяя крона, малиновый ствол,
звяканье шишек зеленых.
Где-то по комнатам ветер прошел:
там поздравляли влюбленных.
Где-то он старые струны задел –
тянется их перекличка...
Вот и январь накатил-налетел,
бешеный как электричка.

Мы в пух и прах наряжали тебя,
мы тебе верно служили.
Громко в картонные трубы трубя,
словно на подвиг спешили.
Даже поверилось где-то на миг
(знать, в простодушии сердечном):
женщины той очарованный лик
слит с твоим празднеством вечным.

В миг расставания, в час платежа,
в день увяданья недели
чем это стала ты нехороша?
Что они все, одурели?!
И утонченные, как соловьи,
гордые, как гренадеры,
что же надежные руки свои
прячут твои кавалеры?

Нет бы собраться им – время унять,
нет бы им всем – расстараться...
Но начинают колеса стучать:
как тяжело расставаться!
Но начинается вновь суета.
Время по-своему судит.
И в суете тебя сняли с креста,
и воскресенья не будет.

Ель моя, Ель – уходящий олень,
зря ты, наверно, старалась:
женщины той осторожная тень
в хвое твоей затерялась!
Ель моя, Ель, словно Спас-на-Крови,
твой силуэт отдаленный,
будто бы след удивленной любви,
вспыхнувшей, неутоленной.

Софья ПЕТРЕНКО
(1911–1990)

В ПОЛНЫЙ РОСТ*

* * *

Ах, какая случилась радость!
Я живую вернулась с войны.
И теперь по Литейному мчалась,
Всем и каждому улыбалась
Под капель – перезвон весны.

Только вдруг осторожной стала.
Бесшабашная? – Вот те на!
И с оглядкой от стен отступала,
Как бы вывеска не упала
Иль цветочный горшок с окна.

Предо мной не апрельской наледью –
Расстелилась незнамо куда
Самобраной широкой скатертью
Жизнь – а я молода!

* Составила Людмила Богуславская.

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ

*Платье газовое, выпускное,
всю войну в полевой сумке хранила.
Теперь дочь носит*

Из письма подруги

Дочь, бери мое платье из белого
газа,
Я хочу тебя в нем увидеть.
Мне самой не пришлось
Танцевать в нем ни разу,
Сорок первый – и выпало нам
воевать.

И походная сумка, где платье
лежало,
По фронтам кочевала не год и не два.
Я, конечно, о нем той порой забывала,
О себе меж боев вспоминая едва.

Мне подушкой жесткая сумка служила,
Подвернется под щеку заветный
пакет,
Тут и вспомнишь и город любимый,
И надежды своих восемнадцати лет.

Все ж я платье надела, кружилась
и пела
На немецкой земле,
Когда бой отзвучал.
И в проемах окон только флаги их
белые

Тот победный,
Весенний наш ветер качал.

Сколько весен прошло,
Мирных гроз отгремело.
Я живу.
Мне вернуться домой довелось.
Ты росла,
А в шкафу платье девичье белое
Поджидало тебя и теперь дождалось.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Накатывает черная гроза,
Кромсает винт туманы Балтики.
Внизу война, как детская игра.
Стреляют оловянные солдатики.
На нас «Бристоль» пикирует, скользя.
Связной У-2 – беспомощная горлица.
Ни отвернуть, ни снизиться нельзя:
Под нами сопки
В темной хвое горбятся.

Накатывает черная гроза –
И цепкие в кабине за турелью
Магнетизирующие глаза,
Следящие в упор за близкой целью.
Огнем плюется вражий самолет,
Коль выживем, сочтем пробоины.
К штурвалу прикипел
Напруженный пилот,
Мотор хрипит от скорости утроенной.

Но живы мы. На бредущем идем.
Едва-едва не задевая ели.

И все-таки на свой аэродром
Сели.

Потом... Случалось всякое потом.
Но как земля была поката и упруга,
Когда на ней мы обняли друг друга,
Пилот и я, крещенные огнем.

* * *

В Москве зима.
На крышах, вдоль домов
Повсюду снег,
Лежалый и спрессованный.
Не увидеть клубящихся дымов,
И трубы снегом замурованы.

Трамваи ржавые, скрипя, ползут едва,
И окна в них рогожами завешены.
Везут кули с картошкой,
Дрова.
А люди – пешие.

Ватага беспризорничья течет
К вокзальной площади.
Куда ж еще податься?
Рассчитано на «нечет» и на «чет» –
Кому в каком вокзале побираться...

Потом под паутиной чердака
Мы делим все –
До крошки, до огрызка.
И праведна делящая рука,
И кажется,
Что мама где-то близко...

ЖЕНЩИНЫ В ПОГОНАХ

Не умеют женщины в погонах
Под руку с мужчинами ходить.
Довелось, еще не бывши в женах,
Раненых из боя выносить.

Их, любивших той порой едва ли,
Восемнадцать справивших едва,
Ведьмами фашисты называли
За гостинец бомбовый с ПО-2.

И они не под руку, а об руку –
Затекла под тяжестью рука –
Приводили, доставляли волоком
Из ночной разведки «языка».

И в часы, когда так сладко спится,
Если мир и тишина кругом,
Сквозь эфир перекликались птицы:
– «Чайка», «Чайка»!
– Слышу вас. Прием.

Их теперь никто не отличает.
Спят медали в ящиках столов.
Шлемы и пилотки не венчают
Сединой подернутых голов.

Только живо боевое прошлое,
С ним они спокойны, но строги.
Как от камня, в воду брошенного,
От войны идут, идут круги...

* * *

Накуковала скупо мне
Кукушка, что прожить осталось.
Скажу спасибо и за малость,
Теперь я день ценю вдвойне.

Нельзя кривить с обидой рот
Видавшим смерть детей и юных.
Живем, работаем и вот
Еще бренчим на старых струнах.

Судьба мудрила с нами всласть.
Учила, не жалея шкуру,
За счастье внуков грудью пасть.
Да на какую амбразуру?

* * *

Нарядной кофточки, увы, не надевать.
Не туфельки – пуды сапог кирзовых.
Зато какая объявилась стать
И новый блеск в глазах бедовых.

Я кобуру цепляю за ремень.
Приветствуя, откину локоть четко.
И с красною звездой набекрень
Моя пилотка.

Ветрами боевых двадцатых лет
Нас овекает песня про Каховку.
И девушка в шинели и с винтовкой
Шагает первыми дорогами побед.

Такими были мы. Потом пришла
война
И свет в окне крестом перечеркнула.
Костер в «Артеке» походя задула,
У миллионов жизни отняла.

А уцелевшие теперь иными стали,
Былой наивности стесняются подчас.
Но ясные глаза глядят на нас
Из той доверчивой, неповторимой
Дали...

* * *

Наш полк в лесу.
Кругом снега и ели.
В землянке низкой
Терпкий запах хвои.
Мерцают угли в печке еле-еле.
Вповалку спят ребята после боя.

Шинели волглые и ватники не сняты,
Лишь шапки сдвинуты, ослаблены
ремни.
Мгновение – и схватят автоматы
Товарищи мои...

Над рацией склонилась я и слушаю
Ночной эфир на заданной волне.
А нежность обволакивает душу,
Душа-то материнская во мне.

Мерцают в полумраке спящих лица.
То вздох услышу, то короткий стон.
Смеется парень,
Что могло присниться?

Последний, может быть,
Досматривает сон...

Живет эфир.
Мембрана ловит звуки
Знакомых позывных ночной волны.
А мне б над спящими раскинуть руки
И уберечь от смерти, от войны.

* * *

Шинель моя, прощаюсь я с тобою.
Пришла пора, прости, не обессудь.
Приказ подписан, я за проходную –
Закончился привычный долгий путь.

За то спасибо, что ростки живые
Под скаткою не омертвели, нет.
И пропускали все посты сторожевые
И птичье пение, и звезд далеких свет.

Пусть по-пластунски ползала, бывало.
Известно, что армейский быт не
прост.

Зато потом я в полный рост
вставала,
Пусть в небольшой, но человеческий
рост.

Теперь, окопной выучкой богата,
Пойду вперед по новому пути
Незнамому – но мне легко идти
Сноровистой походкою солдата.

Александр ТИХОМИРОВ
(1941–1981)

ДОРОГА*

В ПУТЬ

Через горы, через ельник,
Всем невздам на беду,
Словно шубертовский мельник,
Я с котомкою иду!
А в котомке все простое –
Лишь цветы и тишина,
Только солнце золотое
Да туманов пелена.
Мне цветы нужны для счастья,
Солнышко – для всех людей,
Тишина нужна для песен,
А туманы – для скорбей.

* * *

Я махну рукою –
В поле убегу...
Синие левкои –
Тени на снегу.
А под той рябиной,
Где зеленый лед,
Слепотой куриной
Солнышко цветет.

* Составили Дмитрий Тихомиров и Елена Шувалова.

Надо же, ей-богу!
Неужели сам
Отыскал дорогу
К этим чудесам?

* * *

Природа милая,
Ну как там соловьи?
Что с розами –
Надеюсь, все в порядке?
Все так же ли они играют в прятки,
Чуть ветер дунет на сады твои?
Чуть ветер дунет – облака летят,
И наступает на земле прохлада...
Все хорошо, природа, –
Так и надо...
Светло на небе – облака летят.

ДОРОГА

Вот и ночь уже настала,
А дорога все бела...
Туча небо пропахала
От села и до села.
Молча кружится дорога,
Вдаль бежит через жнивье,
Повернула в лес у стога
И пропала – нет ее...
– В пыльных лапах черной ели,
Знаю, мучаешься ты,
Как спастись, дойти до цели,
Вырваться из темноты!
Уповать тебе, дорога,
В этом тягостном плену

На терпение, на Бога
Да на яркую луну.
...Тучи за моря уплыли.
Вновь свободна и легка,
Серебрится лунной пылью,
Как ночные облака.

* * *

Жара и пыль... И поле колосится.
А вон и тучка вышла из лесов!
От огненной пророка колесницы
Покуда в небе только колесо!
И, оценив свои силенки трезво –
Успеет до дождя она иль нет, –
По улице старушка мчится резво,
Как будто ей сейчас пятнадцать лет!
И что бы вы подумали? Успела!
В сарай попутно запихнув козу,
Вошла домой и у окна присела –
И из окошка смотрит на грозу.

* * *

Пока на время не ропщу –
Пускай года летят...
Под старость все себе прощу,
Коль люди не простят.
В деревне тихой дом сниму
И, поджидая смерть,
Бродить я буду по нему,
На улицу смотреть...
Вдруг счастье выпадет, как знать,
На тот недолгий срок –
Вдруг Пушкина смогу читать,
Как в молодости мог?

* * *

Уж года мои – не те...
Мысли нет, чтоб сбиться с круга.
Тусклый чайник на плите
Запеваает, словно вьюга.
И одно лишь на уме –
Чай попить да лечь скорее...
Слава богу, не в тюрьме,
На свободе я старею.
Только б сыну не хворать,
Да жена бы не болела.
Ну а большего желать,
Право же, – пустое дело!

* * *

Отчего голова поседела?
Вроде б не с чего ей поседеть...
За меня вся родня отсидела –
Так что мне не придется сидеть.
За меня вся страна воевала –
Малолетка, я был не у дел...
Все потери отгоревала.
Ну а я-то – с чего поседел?
Видно, старость как отблеск завета –
Хлеб для жизни, мол, не един...
Мир одаривай толикой света.
Света нет?
Ну хоть светом седин.

* * *

Во сыром бору – отчизне
Расцвел цветок,
Непостижный подвиг жизни
Совершал как мог...
Побледнел, упал на хвою –
И чудно ему,
Что хотел-то он на волю,
А попал в тюрьму.
Ты не вянь, не вянь, цветочек,
Если что не так...
Твой голубенький платочек
Прогоняет мрак.

Шершавость камня,
Нежность кожи,
А между – не найти межи,
Врозь ничего не подытожить.

ЗАКАТ

Закат был розов и синь
И тушью обрызган с донца.
Как сорванный апельсин,
На облаке рдело солнце.

Хотелось схватить рукой,
Отведать, зубами впиться.
...Вечером за рекой
Солнце склевали птицы.

* * *

Замерзающих рек теченья,
Трав подснежные зеленыя...
Научите меня терпенью,
Научите жизни меня!

Ветки, сбросившие одежды,
Обнаженная ширь полей...
Научите меня надежде,
Научите вере своей!

С неумелого не взыщите.
Не прикрыта душа броней.
Научите меня, научите
Оставаться самим собой.

И когда отгремят восходы
И ударит заката медь,
Научите перед уходом
Об утраченном не жалеть.

* * *

...И мне, как всем, одно мгновенье.
Но в нем, мгновении моем,
Есть ты – любви моей рожденье,
Как май в соседстве с декабрем.

И потому на склоне лет
Мне будет осознать не страшно,
Что нами прожит день вчерашний
И что других мгновений нет.

* * *

Кольцо Садовое гудит.
И над притихшими домами
Плывут неспешно журавли –
И я прощаюсь с журавлями.

Летят к Таганке напрямик,
В густом пространстве неба тая,
И все звучит, не затихая,
Призывный крик, прощальный крик.

И, зачарованный тоской,
Их долгим взглядом провожая,
Я плавно падать начинаю
В бездонность неба над собой.

ОСЕННИЙ МОТИВ

Последние дни тишины и тепла
Отмелькали.
Залетные птицы
Об этом уже
Прокричали.

Летит паутина,
И листья окраску меняют.
И в небе разросшемся
Синие краски линияют.

И звезды восходят
Холодным
Мерцающим светом,
И лето уходит,
Как будто и не было лета.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

И тишина,
И странный свет.
Но вдруг
Срывается
Плясучий
Шалый ветер.
Он мнет листву,
Он чертит пыльный круг
И всякий сор
На гибких пальцах вертит.
А воздух,
Будто в финской бане,
Сух.
И птицы гомонят

И суетятся,
И далеко,
Почти минуя слух,
Пустые бочки
Под гору катятся.

* * *

Трава мокра не от росы:
Веселый дождик моросит.

И каждый лист совсем промок,
И каждый куст взъерошен...
А дождик только цок да цок, –
Как маленькая лошадь.

По жести крыш в дверной косяк
И так, и сяк...
И вдруг – иссяк.

МИМ

Сам себя
Обнимает мим,
Словно хочет сказать:
Любим!
Гладит плечи
У пустоты,
Чьи-то ей подарив
Черты,

И изломанным
Жестом рук
Свет и тень
Замыкает в круг.

Рукоплещет
В восторге зал
Безысходным
Его глазам,

Неизбывной
Его тоске,
У надежды
На волоске.

Плачет мим,
И смеется мим.
Плачет зал
И смеется с ним,
Гладит плечи
У пустоты,
Ей любви подарив
Черты,

И невидимым
Жестом рук
Сам себя
Замыкает в круг.

* * *

Я не умру.
Я просто дверь закрою.
Возьму на ближней станции билет –
И унесет меня почтовый поезд
За много верст,
На очень много лет.

Ни голоса,
Ни строчки не оставлю –
Все заберу,
Обиды не тая...
Такой уж путь.
И дальний он,
И давний.
И нет меня.
Как не было меня.

Павел ХМАРА
(1929–2011)

ХЛЕБ НАШИХ ДУШ*

БУБЕНЦЫ

В колокола любой эпохи
Звонит, как правило, герой,
Но скоморохи, скоморохи
Нужны не менее порой!
Шут иногда совсем не лишен,
Он, если вдуматься, – борец!
И там, где колокол не слышен,
Порою слышен бубенец.
Под колокол с врагами бьются,
Летят на подвиг в облака.
А куры подо что смеются
Над важным видом дурака?
Под бубенец родится шутка,
Лукава, озорна, шустра,
Над глупостью глумится жутко
Подначка, смехова сестра.
Да смех и сам, могуч и тонок,
Колюч и весел, наконец,
Тогда безудержен и звонок,
Когда зальется бубенец,
Который колокола мельче,
Но все же колоколу брат...
Когда смолкает вдруг бубенчик,
Гудит молчанье, как набат.

* Составил Петр Шлыгин.

МОРАЛИТЕ

Запомни, ближний мой и дальний,
Кипящий радостью, печальный,
Сверхгениальный, сверхбанальный,
Региональный, федеральный,
Несовершенный, завершённый,
Ольгоченный и льгот лишенный,
Враждебный мне и мой родной,
Со мною пьющий по одной:
Когда ты спишь, когда разбужен,
Когда здоров, когда недужен,
Когда со славою подружен,
Когда ничтожен и недюжин,
Омосквичен, опетербужен,
Когда поклажей оверблужен,
Когда успех тобой заслужен,
Когда ты ловок, неуклюжен,
Когда идеями раззужен, –
Везде: в Москве, в Крыму, в дыму –
*Когда тебе никто не нужен, –
И ты не нужен никому!*

СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ

По утрам пересвисты и трели
Не дают мне досматривать сны:
Прилетели скворцы! Прилетели
Долгожданные гости весны!
Торопились к началу парада,
Чтобы первыми спеть о весне!
И весна им торжественно рада!
Все им рады. А впрочем, – не все.
В дни, когда они грелись на юге,
И скворцы обожали скворчих,

Воробьи, задыхаясь от вьюги,
Заселили скворечники их.
И спаслись от свирепой метели,
И родные дома обрели!
Но сегодня скворцы прилетели
Из курортных районов Земли.
А скворцы, не умея иначе,
Как шальные, на север неслись,
Не куда-то на летние дачи,
А к домам, где они родились!
Но в домах – новоселов орава,
За жилище готовая в бой...
И сошлись два священные права,
Не согласные между собой!
Мировая гармония, где ты?
Диссонансам не видно границ!
Необъятности целой планеты
Недостаточно даже для птиц!
...Воробьи были изгнаны вскоре,
Обошлось без обильных кровей.
Сила – довод решающий в споре:
Кто сильнее, тот чаще правей!
Эпизод, безусловно, ничтожен:
Птаха птаху лишила жилья...
Ну, а кто из них праведней все же,
Кто-то знает, но только не я.

ИСТИНА

Был поздний вечер. Догорал закат.
И город становился тише, строже...
Сказал я другу: «Ты мне друг и брат,
но, понимаешь, истина – дороже!»
А мы гуляли, разговор вели:
что хорошо и что такое плохо...

Вдруг предо мною, как из-под земли,
 возник прездоровенный выпивоха.
 «Очкарик», – он зловеще пробасил...
 (Я возразить, признаться, был и рад бы,
 но я и впрямь всю жизнь очки носил,
 и утвержденье было чистой правдой.)
 «Ты, умник», – он сказал. (Я сжал кулак,
 но промолчать был вынужден уныло:
 ведь то, что я и вправду не дурак,
 незыблемою истиною было.)
 А встречный надвигался не спеша,
 он сбил мне шляпу богатырской лапой
 и, снова против правды не греша,
 ногою встав на шляпу, гаркнул: «Шляпа!»
 Но в это время друг вмешался вдруг.
 Он двинул кулаком по пьяной роже...
 И тут я понял, как мне дорог друг!
 (Хотя, конечно, истина – дороже.)

ДВЕСТИ ЛЕТ

Двести лет цыганка мне жизни нагадала,
 Жизни чашу трезвую, сытость без хлопот,
 Но благодати двести лет – ах, как же это мало!
 Нагадала б лучше ты мне счастья хоть на год!
 Нагадай мне, милая, о любви тревогу,
 Нагадай в глаза врагу смело заглянуть,
 Верного товарища в дальнюю дорогу
 И еще, еще, еще, еще чего-нибудь!

Двести лет кукушка мне жить накуковала,
 Что меня обрадует – знала наперед!
 Но двести лет, кукушечка, ах, как же это мало!
 Накукуй один хотя бы, но бедовый год!
 Чтоб смеяться от беды, а от счастья мучиться,

Чтобы козырем судьбу по хребту хлестнуть!
Чтобы – пан или пропал, а дальше – как получится!
И еще, еще, еще, еще чего-нибудь!

Двести лет на свете жить – это дело третее!
По тоске не отведешь дуло от виска!
А бывает, день один – больше, чем столетие!
Хорошо бы этот день в жизни отыскать!
Только мне пока что он как-то не встречается!
До чего же у судьбы не загадан путь!
Вот бы в жизни встретить все – все, о чем мечтается!..
И еще, еще, еще, еще чего-нибудь!

В ЛЕСУ ПОД КУРСКОМ

Кто бы мог подумать, что когда-то
Здесь велись кровавые бои?
Кто бы мог подумать, что солдаты
Здесь слагали головы свои?

Ветерок слегка листву лелеет,
Вызывая нежный трепет в ней.
Тишь да благодать. Природа млеет:
Речка, соловей и муравей,

Мощный дуб, и тонкая травинка,
И быльем поросший древний дзот...

Божия коровка, как кровинка,
Не спеша по веточке ползет.

РАЗГОВОР С ПОЭЗИЕЙ О ПОЭЗИИ

Поэзия! Пегаса осади!
Дай тормоза поэмам и балладам.
И от себя в сторонку отойди.
И на себя взгляни сторонним взглядом.
Что происходит – непонятно мне!
Поток твоих ревнителей мельчает!
Читателям числа нет на земле,
но большинство тебя не замечает!
Те, кто тянулся с колыбелей, с парт
к твоим стопам, среди забот и бдений
идут к тебе раз в год. Как в зоопарк.
Взглянуть на хвост метафор и сравнений.
Стихов – моря! Но в них волненья нет!
Нет штормов, шквалов, а порой – приборя!..
Когда недовзволнован сам поэт,
читатель – воплощение покоя!
Читатель! Тот, который лишь вчера
так жил тобой! Так жаждал загореться!..
Волною шли стихи из-под пера,
но прежде проходили через сердце!
А ты была умна, груба, нежна,
растила веру и кляла отребье!..
Ну, а сейчас – кому ты так нужна,
чтобы бесстишье было как бесхлебье?
Волнуй же нас! Спасай от бед и стуж!
Твоим стараньям нет эквивалента!
И главное – будь хлебом наших душ,
а не закуской к стопке рецензента.

«МАГИСТРАЛЬ»

Когда бы жизнь растрчивать впустую
Поэтам было б хоть немного жаль,
Они бы песнь сложили неземную
Про литобъединенье «Магистраль»!
О, «Магистраль» – великая держава,
И из нее в литературный мир
Ушли Войнович, Храмов, Окуджава,
Гомер, Овидий и Вильям Шекспир!
И я теперь уже уверен в этом,
Я в этой мысли затвердел, как сталь:
Когда поэт становится ПОЭТОМ?
Когда его признает «Магистраль»!
Вы с этим спорить станете едва ли:
Поэтам «Магистраль» – вторая мать!..
А был ли Пушкин членом «Магистральной»?
Какой позор! Немедленно принять!

Борис ШЕРБАТОВ
(1941–2013)

СЛОВА ПРОРОКОВ И ЗАДИР...*

КОНЬ

Кровь и пена с боков,
кровь и пена!
Я лечу, закусив удила.
Вот у самого уха пропела
и отпела кого-то стрела.
Я на миг застываю на гребне.
Узнаю тебя, русская ширь!
По холмам полыхают деревни,
черным дымом горит монастырь.

Тот, на мне, отбивается сбоку,
щит грохочет, и рубит рука.
Я не знаю, какого он бога,
я не сам выбирал седока.
Он от крови и бешенства пьяный
и меня на смертельном скаку
вдруг бросает в толпу полонянок.
Я встаю на дыбы – не могу!
Не могу, чтоб вот так, подминая.
Я встаю, каждым нервом дрожа.
Он кромсает меня стременими,
удилами мне зубы кроша!..

* Составила Алла Шарапова.

Я унес бы его от погони,
я бы вынес его из огня.
Слишком поздно я все-таки понял
то, что зло оседлало меня!
Человек он, иль зверь, или изверг –
разбирайтесь теперь!
А пока
я лечу сквозь горящую избу,
на стропилах распяв седока!

БОРИСУ КОРНИЛОВУ

Все уедем в пропасть голубую...

Б.К.

Уезжая в пропасть голубую,
день вчерашний вспоминал как сон.
В неизвестность дикую, глухую
уходил столыпинский вагон.

Снег запомнил – непорочно белый –
за стальной решеткою окна,
где смеялась, плакала и пела
самая свободная страна.

А когда на пересылке грянуло
порожденье твоего огня:
«Не спи, вставай, кудрявая,
в цехах звеня...», –

стало жарко, холодно и жарко!
Коршуном метнулся за порог!
Но повисла на плечах овчарка,
душу вынул кованый сапог.

Вот он – «жребий русского поэта»!
Жизнь сломали, скомкали как жесть.
Ни Дантеса нет, ни пистолета –
защитить поруганную честь.

Все темней, все глуше день вчерашний,
все страшнее каторжная быль.
Оседает на кремлевских башнях
серым цветом лагерная пыль...

Ночь ушла, я задушил рыдания.
Где теперь мой тезка заводной?..
Обещает верное свиданье
голубая пропасть надо мной.

КРОВЬ И ЧЕРНИЛА

...чернила честнее крови...

И. Бродский

Страна отеческих могил
и первобытной непогоды.
Ты ей, наверно, не простил
дарованной тебе свободы.

И потому не брал в расчет,
когда рука твоя парила,
что в русских жилах не чернила,
а кровь разбойная течет.

Здесь волчий вой и вой пурги,
снега до крыш, до звезд заносы.
Здесь кровью пишутся стихи,
чернилами строчат доносы.

Слова пророков и задир,
оплаченные смертной данью,
живут, исторгнутые в мир
кровоточащую гортанью.

Тот был красивым, этот – злее.
Но, пулей затыкая рты,
всех положили в мавзолеи –
во мрамор вечной мерзлоты...

В удушье гнева и тоски,
когда бесчестье у кормила,
здесь кровью напиши стихи –
по следу бросятся чернила.

ПОЕДИНОК

Развернулись полки для битвы,
у последней стоят межи...
Отложи, Александр, молитвы,
дланью Господу послужи!

Как на подвиг, угодный Богу,
на попрание темных сил,
проводя тебя в дорогу,
сам игумен благословил.

Гнется конь под твоею тяжестью,
как попоною, рясой крыт.
Спас со стяга великокняжьего
прямо в душу тебе глядит.

За поруганных,
обезглавленных,
за пожарища на крови,
за отечество православное
басурманина посрами!..

Пересвет только молвил:
«С Богом!»,
грудь размашисто осеня,
он метнулся, как ясный сокол,
травы бросились под коня!

По обычаю бьются двое:
чей осилит – за тем и верх.
И ореховой скорлупою
на обоих трещит доспех!

Бьет навывлет копьё!
И замертво
оба падают в ковыли.
И на миг показалось: замерло
все –
от облака до земли.

На мгновение – дрожь по коже.
Но сошлись уже впереди...
Если Бог рассудить не может,
поле русское,
рассуди!

* * *

Самой природе вопреки –
куда им деться?
Впадают в детство старики,
впадают в детство.
Над ними шутят дураки,
смеется аспид.
Впадают в детство старики,
как Волга в Каспий.
Я адресую шутникам
одну лишь фразу:
приходит детство к старикам
совсем не сразу...

Как девы юные легки!
Гляжу, волнуясь.
Впадаю в юность, мужики,
впадаю в юность!
Пусть волос крашен в серебро,
рискуй, повеса!
Пусть мир выдумывает про
ребро и беса.
Пусть благодетели твои
глядят с укором.
Мир полон чуда и любви!
И детство скоро!

Александр ЮДАХИН
(1942–2016)

БУДЬ ТЕРПИМЫМ К СТРАСТОТЕРПЦУ, ОТЧЕ...*

* * *

Не проклинай, не суди и не ной
в мире, который по солнцу скучает!
Это не значит, что ты, как немой,
должен молчать: мол, ничто не печалит.
Но и не значит, что ты, как дурак,
должен всегда и всему улыбаться
или кричать бесконечно: «Ура!!!»
В горе и в радости нужно собраться,
нужно такое найти и сказать,
чтоб не смогло мироздание треснуть,
чтобы ты мог, не травмируя мать,
с чистой душой умереть и воскреснуть.

УЧИТЕЛЬ

Мой учитель
Сергей Николаевич Марков
на войне и в тюрьме
был всегда одинаков:
сам себя по суровым законам судил,
в людях совесть будил
и за жизнью следил.
Не следил, горемычный ее очевидец –

* Составил Алексей Смирнов.

терпеливо любил, дополнял,
как провидец,
знал Завет, изучил
для свободы санскрит.
Про него говорили:
«Когда же он спит?»
Он себя не жалел и болел бесконечно,
и хворает, наверно, в обители вечной,
на траве-мураве, к валуну прислонясь,
через лупу читает славянскую вязь.
Мой учитель
Сергей Николаевич Марков
знал не хуже поляков,
чем славится Краков.
В Костроме не объехать его по кривой,
по Сибири с котомкой своей полевой
походил. Назовите поэта другого,
кто не хуже Брокгауза и Соловьева
мог ответить на самый
дотошный вопрос.
А Сергей Николаич смеялся до слез.
Он смеялся до слез, а теперь его нету.
Стосковался Христос
по большому поэту.
Перед ангелом с кружкой
чифия стоит
молодой, синеглазый,
лобастый старик.

ИЗ «СТИХОВ О СЫНЕ»

1

Пока меня с тобою нет,
мой сын болезный,
кем успокоен, обогрет
в долине звездной?
Пока мой жребий не решен,
кто в жизни вечной
тебе накинёт капюшон
в холодный вечер?
Просушит тапочки в ночи?
Кому спросонок
ты скажешь:
«Па, не хлопочи,
я не ребенок!»
Ведь ты боялся быть один
и в доме нашем, –
не то что средь небесных льдин
в пространстве страшном.
Мне голос был: Отец и Мать,
смириться с болью,
не нужно отрока смущать
земной юдолью!
Он ждет Господнего суда
не в Хиросиме –
в саду, где птица и вода,
при серафиме!

2

Мы с тобой поменялись местами, мой добрый сынок,
стал ты старше меня, потому-то и вышел твой срок.
Ты лежишь, успокоясь, забыв про смятение чувств,
ну а я, седовласый, смиренью у сына учусь.
Как бы я ни хотел поменяться с ребенком в гробу –
Бог отдал предпочтенье и милость младому рабу.
Как бы мать ни казнилась, желая в сердцах околоть,
помоги ему, Господи, без приключений взлететь!
Не суди его строго за тяжесть грехов молодых:
в Судный день мой приду, виновато отвечу за них!

3

Прихватили (раз интеллигент –
знать, отец с деньжонкой) –
кадыкастый голодранец «мент»
со стервозной жenkой.
Не сумели силой доказать –
исказили слово...
Как же вы посмели доконать
мальчика больного?!
Наш ребенок не придет домой
ни к отцу, ни к маме:
четко между «стуком» и тюрьмой
выбрал отпеванье.
Он лежал среди России всей,
мученик-мальчишка...
Чтоб ты сгинул, опер Алексей
с кобурой подмышкой!
Пусть земля раздавит, тяжела,
твой костяк посмертный,
пусть твоя подельница-жена
проживет бездетной!
Пусть теперь болеет головой

бесконечно сильно
следственный начальник деловой,
доконавший сына.
Пусть его не пустят даже в ад,
чтобы грызть каменья!
Будь он проклят, Тынчеров Марат,
на седьмом колене!

4

Что со мной наделало мученье?
Усмири характер боевой,
отпусти, Отец, ожесточенье,
злость к убийцам сына моего.
Перепутал сдуру дни и ночи –
на секунду сна перекрести,
будь терпимым к страсотерпцу, Отче,
за проклятья истые прости!
Пусть пока подонков ноги носят:
ты меня, глухого, убеди,
что Господь с убийц ребенка спросит
и возмездье грянет впереди!

5

Как мне жить без тебя, без звонков твоих: «Папа, я дома,
я чуток погулял и, уставший от службы, ложусь...»
Кто на старости лет приютит меня в жизни бредовой
в час, когда я пойму, что уже никуда не гожусь?
Ты хотел помогать, получать за работу немало,
но зачем тебя Бог подобрал на филевском углу?
Кто поправит меня, если я суетливую маму
отчитаю в сердцах, хоть на самом-то деле люблю?
Сколько близких людей неожиданно смерть уносила,
скольких я вырубал бесшабашной рукою стальной,

а ребенка не спас... Нет страшней опознания сына,
что лежит на носилках, накрытый чужой простыней.

12

Наш сын со школьных лет не плакал никогда:
больной, всегда щадить родителей старался.
Мы есть – нас больше нет, не будет никогда.
Он улетел живой и навсегда остался.

II

**«МАГИСТРАЛЬ»
В ДОМЕ ЦВЕТАЕВОЙ**



Наталья АЛЕКСАНДРОВА
(1925–2020)

В РОДНОМ ДОМЕ*

ЭМИЛИЯ КАРЛОВНА

Когда мне исполнилось пять лет, мои родители отдали меня в частную немецкую группу. Ее организовала Эмилия Карловна, которая до революции служила гувернанткой. Она жила по соседству с нами в Большом Ивановском переулке (теперь это улица Забелина).

В новом советском государстве жизнь продолжалась по старым меркам. Дочери нужно было дать хорошее образование и, конечно, первым делом – знание иностранного языка. Эмилия Карловна была немкой, у нее сохранился настоящий берлинский выговор. И вот, обо всем разузнав, мои родители вручили этой даме свое единственное сокровище.

Эмилия Карловна была высокой некрасивой женщиной средних лет. Она носила темные длинные платья с воротничками до самого подбородка, почти никогда не улыбалась и оказалась очень строгой и требовательной.

В группе занималось пятеро детей. Рано утром родители отводили нас в условленное место, и мы поступали в полное распоряжение Эмилии Карловны. С этого момента мы говорили только на немецком языке. Построившись парами, шли гулять в парк бывшего Воспитательного дома, который находился на Солянке (теперь он занят Артиллерийской академией)**.

* Составили Вера Тарасова и Наталья Лапина.

** Воспитательный дом был основан сподвижником Екатерины II И. И. Бецким для сирот и подкидышей (1763).

большой и тянулся вдоль набережной Москвы-реки. От Москворецкой набережной и Китайгородского проезда парк отгораживала высокая красивая железная ограда, сохранившаяся до сегодняшнего дня. На другой стороне проезда возвышалась Китайгородская стена с башнями, позднее ее разобрали.

Однажды, гуляя около этой ограды, я увидела ребят лет семи-восьми. Они были закопченные, в лохмотьях и бежали вдоль стены. Их преследовали взрослые мужчины, они ловили ребят и тащили назад. Мальчишки сопротивлялись и, когда их хватали, падали на землю, сворачиваясь клубком. Тогда мужчины волоком тащили их в башню.

Я сразу поняла, что это и есть те самые беспризорники, о которых в последнее время так много говорили взрослые в нашем доме. Рассказывали, что, как только стемнеет, на улицах Москвы появляются беспризорники. Они плотным кольцом окружают прохожего и требуют деньги. Если прохожий отказывает, то кольцо сужается, и беспризорники начинают трястись, осыпая его вшами, которые живут в их одежде. Они же ходят на ходулях, завернувшись в белую простыню, и в таком виде преследуют прохожих в ночное время. Догнав, спрыгивают на человека, и тот, испугавшись, отдает им все, что имеет. Последних называли «попрыгунчиками». Люди боялись ходить по улицам в вечернее и тем более в ночное время. Часто, засидевшись допоздна, гости оставались ночевать. Все эти рассказы будоражили воображение. И вдруг наяву, да еще среди бела дня появляются настоящие беспризорники! Да ведь это такое событие! Ну, как Эмилия Карловна не может понять? Но Эмилия Карловна твердо знала: нам видеть беспризорников не пристало. Она тут же повела группу прочь от забора. Ну уж нет! Я что было силы вцепилась в железный прут ограды, и сдвинуть меня с места было невозможно. Так я простояла до тех пор, пока последний беспризорник не исчез за Китайгородской стеной. Конечно, Эмилия

Карловна рассердилась на меня, но продолжала относиться ко мне по-прежнему дружелюбно.

Прогулка продолжалась... Эмилия Карловна следила за каждым нашим движением. Она требовала, чтобы мы говорили тихо и только по-немецки. Иногда она напоминала: «Воспитанные мальчики пропускают девочек впереди себя. Воспитанные дети ходят по улице спокойно, не привлекая постороннего внимания». Эти фразы она произносила на русском языке с небольшим, присущим только ей акцентом.

После прогулки мы шли обедать. Была договоренность по очереди обедать в семьях детей, которые входили в группу. Во время обеда Эмилия Карловна учила нас, как держать ложку, вилку и нож. На стульях мы должны были сидеть прямо. Сама она была прямая, как натянутая струна. Эмилия Карловна требовала, чтобы за столом мы вели себя аккуратно. Если на стол или, не дай Бог, на пол падала хоть одна крошка, она доставала дощечку, на которой был нарисован розовый поросенок, и это украшение тут же надевалось на шею провинившегося. Очень хорошо помню, как просидела весь обед с поросенком на шее. Мне было так стыдно, что я почти ничего не ела. Это был урок на всю жизнь. После обеда мы играли в немецкое лото. К концу дня за нами приходили родители, и мы шли домой.

В тот день за мной пришел папа, и я всю дорогу рассказывала ему про беспризорников. Дома мне еще несколько раз пришлось пересказать все с самого начала. Беспризорники интересовали всех наших соседей и, конечно, маму. В эту ночь я видела страшный сон. Мне снилось, что я бегу вниз по нашему Мало-Ивановскому переулку, и меня преследуют беспризорники, а я, как нарочно, бегу медленно и чувствую, что меня догоняют. Когда я проснулась и поняла, что это сон, меня охватила радость.

Мама заметила, что я плохо спала, и объявила папе, что я – очень впечатлительный и нервный ребенок.

Группу я посещала до самого поступления в школу и уже неплохо говорила по-немецки. Папа хотел устроить меня в немецкую школу, но ему отказали. Туда брали только детей иностранцев. Поступив в обычную школу, я перестала заниматься языком и вскоре совсем его забыла. Помню только, что Эмилия Карловна называла меня Швельпхен, что означает ласточка.

В РОДНОМ ДОМЕ

*Посвящается моей любимой бабушке
Масловой Александре Андреевне*

Мое детство прошло на Солянке, в Мало-Ивановском переулке*. Наш Мало-Ивановский переулок очень живописный уголок старой Москвы. Если идти от Подколольного переулка вверх к Ивановской горке**, то по левой стороне тянется древняя монастырская стена, а как раз напротив нашего дома – вход в Ивановский женский монастырь. По другой стороне – особняки с небольшими зелеными двориками. В ту пору мостовая состояла из булыжников, и летом между ними прорастала трава, придавая переулку деревенский вид. Сам переулочек красиво изгибается, поднимаясь в горку. Наверху – церковь князя Владимира с двумя пределами: Кирика и Улиты и Бориса и Глеба. Теперь здесь можно встретить художников с мольбертами.

* Ныне Малый Ивановский переулок. В начале XX века здесь проживали в основном купцы – Челноковы, Кучимины, Климовы, Орловы.

** Один из холмов Москвы, заповедный уголок исторического центра города. Известен местонахождением Иоановского (Предтеченского) женского монастыря, церкви св. Равноапостольного вел. кн. Владимира, палат украинского гетмана Мазепы.

У меня ангина, и я лежу в постели. Моя кровать отгорожена от остальной комнаты шкафами и синей занавеской с золотыми разводами. Мама укутала меня до ушей. На мне теплый свитер, да еще компресс на горле. Это самое противное, что может быть на свете. Мне так жарко, что хочется все сбросить, но мама зорко следит за мной.

Раздаются три коротких звонка. Это к нам! Это мой папа! Я не ошиблась, вот он вошел в комнату, нежно обнимает маму и тихо спрашивает: «Как там Фушенька?» Фушенька – это я. Такое имя дал мне папа, и мне это нравится. Мое сердце замирает, я чувствую, что он снял пальто и вот-вот подойдет ко мне, но мама останавливает его: «Коля, ты холодный, вначале согрейся». Из-за занавески выглянуло его раздумявшееся лицо, и потянуло свежим морозным воздухом. Папочка! Он улыбается мне и посылает воздушный поцелуй. Наша встреча еще впереди. Мама суетится и кормит папу, а он рассказывает ей новости о своем производстве. Я прислушиваюсь к их разговору и жду своего часа. Наконец, папа протискивается между шкафами и садится у меня в ногах. Мы без слов смотрим друг на друга. Папа такой большой, ласковый и улыбающийся. Я люблю его больше всех на свете. Он самый лучший, самый веселый, самый остроумный, а когда садится за пианино, играет то, что напоешь. Это у него от Бога!

А какую сказку он мне рассказывает, когда мы сидим с ним в нашем большом кожаном кресле! Эта сказка не имеет конца. Папа придумывает ее сам и с каждым разом все интереснее. Когда от страха мои глаза округляются, он обрывает рассказ и говорит: «Продолжение завтра». Тут уж никакие уговоры не помогут. Папа непреклонен, и я с нетерпением жду следующего дня.

Мы живем в коммунальной квартире. У нас самая большая комната во всем доме – зал с тремя окнами, выходящими в сад, высокий потолок с лепниной, на полу паркет с красивым рисунком. В комнате не меньше тридцати метров, поэтому шкафами удалось отгородить для меня

маленькую комнатку с одним окном. Здесь стоят ломберный столик красного дерева и стульчик, а у стены – книжный шкаф и моя постель. Вот такой симпатичный закуток. У нас есть своя прихожая, мой папа отгородил ее от общего коридора. Прихожая длинная, и в ней помещается сундук, на котором спит наша домработница Шура. Шура очень красивая, и за ней ухаживает здоровенный парень-полотер. Стоит только родителям уйти в гости или в театр – он тут как тут. И каждый раз говорит мне одно и то же: «Скажи матери, чтобы она сшила штаны этому парню». «Парень» – это обнаженный бронзовый Нарцисс, стоящий на мраморной витой тумбе.

На первом этаже как раз под нашей комнатой живет моя бабушка Александра Андреевна Маслова. Она зовет к себе маму, стуча скалкой в потолок. Этой скалкой она катает белье, наматывая его на валик, чтобы не гладить утюгом. Услышав стук, мама без промедления мчится вниз. Бабушка очень строгая. Она носит темные и длинные, в пол, платья, а когда надевает шляпку с крошечной вуалеткой, это означает, что она собралась ехать в город, то есть в Столешников переулок. Мамин брат Сергей Тимофеевич бежит за извозчиком и, влетая в дом, объявляет: «Мамаша, извозчик Вас ждет». Бабушка неторопливо выходит из дома, по дороге внушая Шуре, что нужно лучше убирать квартиру.

Дом, в котором мы живем, до революции принадлежал бабушкиному брату Федору Андреевичу Васильеву. Еще при жизни он поселил в него всю бабушкину семью и родственников жены. После смерти Федора Андреевича бабушка получила этот дом в наследство, но, слава Богу, не успела оформить все документы, а то бы загнала нас советская власть неведомо куда. После революции дом уплотнили пролетариатом. Бабушку все эти люди уважают и всегда кланяются ей при встрече.

Бабушка глубоко верующая, каждый день ходит в церковь и берет меня с собой. Я люблю причащаться, мне

нравится кагор, который каждый раз дает мне священник. Исповедоваться я не люблю, так как приходится признаваться в том, что без спросу ела конфеты. Каждый раз мне отпускают грехи, но они снова накапливаются. К бабушке домой часто заходят священники из нашего храма, и они подолгу беседуют. Особенно мне нравится отец Виктор. Он молодой и очень красивый. Как-то раз он даже посадил меня к себе на колени, и я боялась шелохнуться. Вскоре наших священников выслали из Москвы, и вместо них появились «красные», как называла их бабушка. Бабушка перестала ходить в церковь и молилась дома.

У меня есть двоюродный брат Коля. Его родители умерли, и он живет с родителями мамы. Они приехали с Урала, говорят на «о» и еще пекут очень противные пироги с рыбой. Почти каждый вечер мы с Колей приходим к бабушке. У нее крохотная комнатка, похожая на келью. В углу – божница с иконами, маленький комод накрыт белой накидкой. Бабушка сама ее связала из белых ниток тоненьким железным крючком. В шкафу с большим зеркалом стоит голубой толстенький графинчик с граненой пробкой. В нем святая вода, которую нам дают по ложечке на ночь. На керосинке на очень маленькой сковородочке бабушка жарит мелко нарезанную вареную картошку с луком и раскладывает ее на блюдечки. Мы садимся на диван, к которому придвигается стол. Потом бабушка поит нас чаем с мелко наколотым сахаром от сахарной головы. Мы едим не спеша, растягивая удовольствие, а бабушка сидит рядом и смотрит на нас. Она даже не подозревает, что Колька под столом все время хватается меня за ноги. Он старше меня на два года и уже здорово испорчен. Мне стыдно, я стараюсь от него отодвинуться, а бабушка из-за этого называет меня «веретено худое».

Бабушка умерла в 1934 году, когда мне было девять лет. Эту весть рано утром принес нам дядя Сережа. Помню, как он ходил по нашей комнате и плакал навзрыд. А я, разбуженная его приходом, не могла понять, что

случилось. Бабушка лежала в гробу, который стоял на ее столе. Зеркало было завешено простыней, кругом горели свечи. И монашка вся в черном читала молитвы, очень быстро, так что слов разобрать было нельзя. Я сидела на бабушкиной постели и учила ботанику. После отпевания в нашей церкви гроб поставили на белый катафалк, запряженный парой лошадей, и повезли через всю Москву на Даниловское кладбище. За гробом шло очень много людей. Катафалк двигался медленно, и шествие было очень торжественным. Прохожие останавливались. Мужчины снимали головные уборы, старушки крестились.

В бабушкину комнату тут же въехала Феня – портниха, которая до этого жила в подвале.

Марина АРХИПОВА
(1958–2012)

СВЕТ – ЭТО БОЛЬ*

* * *

Ты из мук моих вылеплен,
Как зимой снеговик.
Оба взяты мы были в плен
Безрассудством любви.
Вместе к горькому берегу
Устремились с тобой.
А причалив – поверили
В то, что свет – это боль.

* * *

Осенний хор на сотни голосов
Поет тоску, прощая лицедейство.
Но почему в созвездии весов
От пасмурности никуда не деться?
Она в хандру заведомо влечет,
В простуду, в отчуждение и в смуту
И каплями холодными сечет.
Не оттого ль так хочется уюта?

* Составила Алла Шарапова.

* * *

А город снежной крошкой
Засыпан от щедрот.
Простуда черной кошкой
Царапает нутро.
Пугаясь снегопада,
К предвиденью не глух,
Ты ищешь звук разлада,
Свой напрягая слух, –
И снова не находишь...
Посланница ночей,
В подземном переходе
Звучит виолончель.

* * *

Отброшена сигарета,
И чай двадцать раз остыл...
А в доме живут предметы –
Вместилища пустоты.
Мне вспомнилось, что когда-то
Здесь слушал безлюдный двор,
Как кто-то играл сонату
В тональности ночь-минор.

* * *

Молчание скрывается в словах
И в жилах карандашного огрызка,
Который с хрустом надвое сломав,
Ты ощущаешь: вот оно, так близко –
Знакомое предчувствие строки,
Которое как сон, как наважденье,
Закрепощенье и освобождение,
Когда по жилам кровь вдоль всей руки.

* * *

Как в погреб – в холодную комнату,
Где пальцы не греет дыхание.
И вечер становится омутом –
Вдруг лопнет струна ожидания?..
Вернемся в шкатулку бетонную:
А что в ней сегодня отыщется?
Опять от жилища бездонного
Ключей затерявшихся тысяча.

* * *

Ты на поезд не опоздаешь,
Да и в кассу билет не сдашь.
Завтра вечером уезжаешь,
А сегодняшний вечер – наш.
Наплевать бы на все запреты
И рвануться вслед за тобой,
Только знаю, что не уеду,
И с вокзала вернусь домой.
И дышать мне московской пылью,
И раскручивать телефон.
Видно, пути сильнее крыльев...
Кем же выбор мой предрешен?

* * *

Хлопнул дверью и шагнул прочь
Из жилища, где и дома-то нет.
И пульсирует в висках ночь,
И не взмыть, а взвыть на весь белый свет.
И выплевывал на снег брань,
Материл полухмельную метель.
Видно, дело уж совсем дрянь.
Но куда из опостылевших стен?

* * *

Куда тебя влечет?
Постой, ведь ты не глуп.
Пока болит еще,
Не выговоришь вслух.
Но выговаривай,
Вышептывай и пой...
В знобящем вареве
По следу за тобой,
По снежным лезвиям
Иду, не глядя вниз,
И – пусть над бездною! –
Я рядом, оглянись.

* * *

Боль настигла не сразу –
Слишком точен удар.
Все закончилось разом.
Выстрел в цель – это дар.
Что ж, за это спасибо,
Ухожу не кляня.
Знаю: сделаешь выбор.
Но уже без меня.

* * *

Протрезвев, не окончили пира.
Видно, праздников был перебор.
Нет, не будет фальшивого мира
И смешных до нелепости ссор.
Ничего не поделаешь – данность.
Я бегу, спотыкаясь, скользя.
Благодарна за неблагодарность.
Горше дара придумать нельзя.

Владимир БЕКЕТОВ

БЫТЬ РАВНЫМ САМОМУ СЕБЕ...

* * *

Содрать неправых вер коросту,
Не тратить жизнь в чужой борьбе,
Быть равным самому себе
В наш лютый век – ох, как непросто.

МОЕМУ ОТЦУ ИСААКУ МОИСЕЕВИЧУ

Памяти так мало надо,
Чтобы спрохвала
Утра давнего прохлада
Мягко обняла.

Явь и сон перемешались.
И перед окном –
Папиной фигуры абрис
В ливне световом.

Песня мамы за стеною,
Счастью нет конца.
Жаль, отец ко мне спиною –
Не видать лица.

Вот сейчас он повернется,
Ближе подойдет...
Было лето, утро, солнце,
Сорок первый год.

Ни могилы, ни портрета
Не осталось мне.
Только помню ливень света,
Силуэт в окне.

* * *

Хоть немцы драпали уже в те дни,
Законы затемнения были строги.
Довесок можно было съесть в дороге,
Но от буханки чтоб ломать – ни-ни.

Москва дремала в утренней тени.
У булочной в толкучке на пороге
Чуть карточки не сперли в суматохе
Шпаной организованной возни.

Я пролезать к прилавку натерел
И сквозь толпу протискивался шустро.
К открытию магазина я успел,
И будет маме хлеб, когда с дежурства
Она придет усталая, в тревоге.
А я досплю тихонько на уроке.

* * *

Декабрь, колхозный скудный рынок,
Любимый мной молочный ряд.
Там варенец желтеет в крынках,
Творог в кастрюльках дразнит взгляд.

Пред этой роскошью молочной –
Ведь голод мучит невтерпеж –
Я прилипал к асфальту прочно
Резиной латанных подошв.

Мороз лютует спозаранку.
Раз, отведа от губ платок
И молока плеснувши в банку,
Вздыхнула баба: «Пей жидок».

И весь продрогший до озноба
Я банку жадно сжал в руке,
И сладостно ломило небо
От мелких льдинок в молоке.

MAME

1

Гоняться за новым. Благое ли дело?
А старое тихо уходит само.
Вот мама совсем поседела.

А я, шалопутный, спешу суматошно –
Все блазнит надежда на близкий успех.
Но на сердце что-то тревожно.

А мама, как прежде, в заботах о сыне
Поднимется тихо ни свет ни заря –
Ей отдыха нет и в помине.

Ей не прибывает здоровье с годами,
Она словно медленно сходит на нет
За хлопотами и трудами.

Теперь вот и с внуками ей маята.
И только на снимке давнишнем, поблекшем
Она до сих пор молода.

2

Я купал маму,
Когда ей совсем изменили силы.
Крупная, массивная,
Она тяжело наваливалась мне на плечо,
Перелезая через борт ванны.
Я мыл ей голову самым мягким детским шампунем,
Но она все равно жаловалась,
Что ей щиплет глаза.
Ее тонкие волосы,
Намокнув, сбивались в узкие пряди,
И становилась видна бледная кожа темени.
Я проводил губкой по толстым рукам
С едва различимыми тропинками вен,
По шраму на месте правой груди,
По искореженным подагрическими шишками ступням...
Искупав, я старательно вытирал ее махровым полотенцем,
Сажал на кровать, облачал в ночную сорочку,
Взбив подушку, осторожно укладывал
И аккуратно подтыкал одеяло.
Когда мама засыпала,
То, если отступали надоедливые боли,
Лицо ее разглаживалось и молодело,
И я со спокойной душой
Возвращался к заждавшимся меня неотложным делам.

3

Октябрьским астрам так недолго цвести.
Базар цветочный под зарю рыжей
Лениво дремлет к кладбищу поближе.
В конце концов, мы все земная персть.

И для меня святое место здесь,
В Никольском колумбарии под крышей.
Прах мамы упокоился там в нише.
Для моего там тоже место есть.

Отец погиб в сорок втором в боях
Под Сталинградом в жесточайшей бойне.
С землей отеческой солдатский прах
Еврея не разъединить сегодня.
Я ж рядом с русской мамой обрету
Покой, окончив жизни маяту.

Людмила БОГУСЛАВСКАЯ

ДУМАЯ СВОЕ...

* * *

Был холод на земле.
В окне высоко
Скрипела форточка, и танцевал
Сквозняк.
И птица зимняя,
К стеклу прижавшись боком,
Смотрела сквозь меня,
Сквозь комнату,
Сквозь мрак.

Раздельный взгляд ее,
Невольность существа,
Прилет нечаянный во тьме
Меня встревожил,
И был тот миг, помедливший едва,
Моею жизнью
Пережит и прожит.

Когда же свет зажгли,
И говором мой дом
Наполнился и изменил обличье,
Еще мне виделся
В провале
За окном –
Мелькнувшей жизни
Призрак птичий.

В ЗООПАРКЕ

Не слезы это. Так, соринка.
А может, слишком яркий свет.
Допустим, ничего и нет.
Но кто тогда создал фламинго?

И что нас всех объединяет?
И чья душа во мне болит?
Вот сурикат. Как я стоит.
И смотрит. И не понимает.

* * *

Все же встретились мы.
На огромной планете
Среди света и тьмы,
Потерявшись, как дети.

Через пропасти лет
Ни моста, ни парома.
Ничего у нас нет,
Ни дороги, ни дома.

Только ветра глоток
И простор над обрывом,
Только мыслей поток.
Только фразы обрывок.

* * *

Все, что было со мной, уйдет в глубину,
Где на карту нечего будет поставить.
Все, как лед, уйдет и растает –
И гордыня, и боль – все ко дну.

Ничего на стремнине не удержу,
Ни секунды твоей, ни души трепетанье,
Все ко дну – и заветные три желанья,
Три желанья моих, а про что – не скажу.

Здесь останется теснота коридора,
Где когда-то встретились мы руками,
Три фактуры – дерево, небо и камень.
Много неба и камня, и запах моря.

* * *

Долго же пришлось идти,
Чтоб прийти в это лето.
Что успела обрести,
То приходится нести
Без тебя в это лето.

Птичий голос вдалеке
Отзвенел в это лето.
Лунный отблеск на песке,
И душа на волоске –
Без тебя в это лето.

* * *

Друг за другом, незрячие странники,
Мы проходим невидимый круг.
Ты не бойся, мой большой, мой маленький,
Я тебя не выпущу из рук.

Это ничего, что в круге том.
Все быстрее идем и быстрее,
А увидим друг друга потом,
Там, за кругом, когда прозреем.

* * *

Жили и мы когда-то.
Плыли и мы куда-то.
Под зеленью заката,
Едва шевеля веслом.

Озеро глубокое,
Лес вокруг да около,
Небо невысокое
Осокою заросло.

Отблеск воды на лицах,
Дней и лет вереница.
Нам бы остановиться,
А нас несло и несло.

* * *

...И сумеречный свет извне

Д. Лепер

Я в город Тотьму соберусь опять,
Где Сухона течет лишь в центре русла,
По краю запахов и тишины.
Где лилию речную можно взять
И повернуть, с обратной стороны
Разглядывая, как предмет искусства.

Четыре темных чистых лепестка
В ней обрамляют свет.
Так небо обнимает земля на севере.
По млечному пути
Баржа плывет, недвижимая почти,
В слоистом воздухе дрожащая, немая.

А в городе черемухи парят
Над медленными тропами людей.
Железные цветы свисают с водостока,
И пупсики, что между рам стоят,
Мне вслед глядят голубооко
Как дети маленькие маленьких детей.

Пойду в гостиницу и лягу на кровать –
Смотреть в окно, не задремлю покуда,
А, может, и не буду спать.
Пугающий, неведомый покой
Поселится в забывшейся во мне,
И не замечу, как глубоко
Сольются и забрезжат в тишине
Прозрачный сумрак комнаты высокой
И сумеречный свет извне.

* * *

Надозерного неба круг,
Много света белого.
Ни на чем висел паук,
Фортеля выделявал.

Ты еще вернуться хотел,
Потому что забыл нож.
Кто-то ягоды упавшие ел.
Чавкал. Наверное, еж.

Тихо шли. Никуда не спешили.
Заблудились слегка.
Лето было. Мы тоже были.
Не забыто пока.

* * *

Пустая байдарка
Плыла по реке,
И хвощ силуэтом
Стоял на песке.

И дело не в том,
Что тогда у костра
Мы спать не ложились
Почти до утра.

И даже не в том,
Что дышала вода,
И все уходило
От нас навсегда.

И вовсе не в том,
Что туман на реке,
А в том, что байдарка
Плыла налегке.

* * *

То вода темнее неба,
То – светлее.
На закате синий стебель
Красным тлеет.

Плыли утки на рассвете
И проплыли.
То ли есть они на свете,
То ли были.

Слышен ночью шорох каждый
У запруды.
То ли были мы однажды.
То ли будем.

ФЕРАПОНТОВО

Отягощенные собой
И здоровым смыслом,
Вошли мы в храм.
Но голос Дионисия,
Замедленный,
Был недоступен нам.

Печальный, умный лоб экскурсовода
Под взглядом распростертых глаз,
Казалось, изнемог сегодня.
– Потихе, умоляю вас,
Ведь в храме вы... –
И чуть не вслух:
– В Господнем...

И говорила, думая свое,
И молнию на курточке старалась
Поддернуть вверх. Но молния сломалась.
Ее жалея, я не слушала ее.

Крыло архангела найдя и голубя,
Был светел луч,
Сошедший с небосвода.
Смотрела я на цель его прихода
Из глубины и темноты себя.

Котенок серый
Жил в тени,
В преддверии расписанного храма,
И Гусев, реставратор,
Вместо мамы
Склонялся с блюдечком над ним.

Все вместе – белой ночи ожиданье
И Гусева незамутненный лик,
У магазина пьяненький старик –
Все было тишина и состраданье.

А солнце к вечеру
Как будто не спешило,
Все плавало по озеру пустому.
Спокойна я была.
И не страшила
Меня
Дорога к дому.

* * *

Я вышла к берегу умыться.
Небес почти не задевая,
В слоях тумана, пропадая,
Летела птица.

Стояло утро и сияло,
Когда, совсем уже седая,
Непоправимо молодая,
И я стояла.

Сэда ВЕРМИШЕВА
(1932–2020)

И САМОЛЕТ УБРАЛ ШАССИ...*

АРМЕНИЯ

Я – щербатая клинопись,
Непрочтенная,
На скале.
Я – сто тысяч раз погребенная –
Поклонитесь моей земле.

Молчаливое изваяние скорби я –
Камень,
Руины,
Песок,
Прорастающие созиданием...

В свой гарем арканит Восток,
И равнины зовут раствориться.
Только я не могу.
Я – птица.
Скала – мой дом.

* * *

И все, что просила у Бога, –
Сбылось!
И кровь голубая,
И белая кость,

* Составила Алла Шарапова.

И клекот вершины,
И шелест берез,
Сверсталось,
Легло,
Не пошло под откос.
И выстроен дом
На подлунной земле,
И поле – у ног,
И орел – на скале.

* * *

На сизых крышах сизая погода
И горы кое-где в снегу...
Не знаю я:
Какое время года...
Все – мимо –
Я купонов не стригу.
Я и горбом не заработаю,
Я проще...
Авансом ничего я не умею брать.
Пуškai в чужих руках и кнут, и вожжи,
И чернозем...
Мне было б что пахать.

ОЗЕРО ПАРЗ ЛИЧ

Здесь тишина сквозь гвалт
Лягушек.
На всю округу – ни души.
Деревья круглы,
Без макушек,
С изгибом грусти
Камыши...

Всегда сырые здесь тропинки,
Ромашек россыпи легки...

Здесь на воде цветут кувшинки,
В ладони пряча лепестки...

Здесь люди не дымят кострами,
И заросла травой межа...

Здесь сосны думают стихами,
Роняя хвою
Не спеша...

* * *

Я ветер. Я буря.
Я в море лазури
Пятно ягуара
На солнечной шкуре.
Легко и упруго
По камню ступаю
Через горные кряжи –
По краю, по краю...

Звени,
Моя боль!
Звени,
Вековая!

Как колокол вещей,
Сзывая на вече!

А ветер – пронзительней,
Ветер – все резче,
А ветер ломает и горбит мне
Плечи,

И ворон кружит
Над подворьем
Зловеще...

Почем нынче кровь,
почем человечья?

И сердце взмывает
Для битвы
И сечи!...

* * *

Мне надоело кланяться прохожим,
Украшившись смиреньем ложным.
И подставлять себя рогам,
И заикаться по слогам.
Молчать, –
(В который раз по счету?),
Когда на глотку наступили!
И делать всякую работу,
В рукав запихивая крылья...

Но с каждым днем трезвее,
Тверже,
Строже
Я познаю свой долг.
Свой долг!
А не права.
И я смиренно кланяюсь прохожим,
Запихивая крылья в рукава...

* * *

И я превращу себя в плаху,
Чтоб было, где головы
Сечь...
Я в сердце взрастила
Отвагу,
И дверь притворила я
Страху —
А иначе мертвой мне
Лечь...
Мне боль прожигает рубаху,
И кровь проступает
Сквозь речь...

* * *

Мне не выиграть здешних
Сражений,
И на поле моем
Ничего не цвело,
Кроме маков моих
Поражений...

* * *

И что ни день —
Темно и грозно,
И каждый час, как новый день.
И снова холодно,
Морозно,
И жизни новая ступень...
Она ведет все выше,
Выше...
Но ветер лишь
В моей горсти...

Я ничего уже не слышу...
И самолет убрал шасси...

* * *

Живи как хочешь.
Долгими ночами
Не прикоснусь к твоей судьбе.
Холодными и грубыми слезами
В последний раз
Я плачу о тебе.

* * *

На задворках Европы
да по краю Востока...
Ни с того, ни с другого,
ни с какого мы бока.

Лишь в расхристанной удали
топора и ножа
да в раскрашенном Суздале
задержалась душа.

И стоит, не шелохнется
заполошная Русь –
та, которую сизмальства
потерять я страшусь.

* * *

Мне так давно не можется,
Не спится мне давно...
Дом оскудел, корежится,
Не вымыто окно...

А мне о том тревожиться
От века не дано...

Стоит,
Гудит невнятица,
Сумятица в мозгу.
Жизнь к черту, к ляду катится –
Очнуться не могу...
Летит крутыми спусками
На шаткие мостки...
Просторы стали русские
Тесны ль ей и узки?..

Иль слышатся пророчества
В далеких небесах?..

И умереть мне хочется,
Или убить
Свой
Страх...

* * *

Но, если ни направо, ни налево
Ступить нельзя,
То, значит, – ввысь?
То, значит, – в небо?
Или пешочком, краем света,
Туда, где камни
Точит Лета?

Ушло из глаз,
Исчезло лето...
Но на вопрос мой
Нет ответа.

И под ногами
Грязь и слизь...

* * *

И потому я сбросила фигуры
С игральных досок
Напрочь,
Без затей...
Пусть дни стоят и пасмурны,
И хмуры,
И небо низко.

Но не быть ничьей!

Сойдемся в поле,
Проторим дорогу
В сраженья ярость...
Холод жжется рос...
Гнев поднимается...
Змея ползет к порогу...

Горит трава на тыщи,
Тыщи верст...
Но я означила черту,
С которой не сойду...

* * *

Хоть унижена Муза,
И унижено Сердце,
И бредут, как слепые,
В слезах и в снегу,
Но от Музыка века
Никуда им не деться,

Не пропасть им иголкой
В стогу.

И звучит эта Музыка.
И волнуется детство.
И прекрасная юность танцует,
Вскинув руки,
На темном лугу...

Так люби меня, Музыка!
Не покинь
И не брось!
Протяни мне своих забудок,
Темно-пепельных,
Гроздь.
Напиши свои знаки
На облаке Лета
И продлись,
И продли,
И рассыпь меня в искры
Летящего
Света!..

* * *

Два города.
Две вечных правоты.
В моей душе
Две огненные вспышки.
Монументальность,
Разворот,
Домишки –
Мой Ереван.
Стихии мощь –
Москва...

Два притяженья...

И душа меж ними
Кружит,
Как мотылек,
Боясь присесть...

Два города,
Два имени,
Над ними –
Я.
Чтоб сказать:
«Я есть!»

Который глотает монеты,
Когда во спасенье звонят!

ПЧЕЛИНАЯ ШКОЛА

Такая тишина, как будто городов
На свете не бывало!
Неспешен круг высоких облаков –
Эпическое покрывало.
В полях стога торжественно стоят,
Как древнее невымершее стадо.
А перелески марево таят –
В них сырость и прохлада.
Волниста даль – то нивы, то луга,
И на холме спокойная церквушка.
И понимаешь здесь: идут века,
И все ж цветет заветная опушка!
Привычно телеграфные столбы,
Постанывая, тянутся за рощу.
И есть в их гуле музыка судьбы,
И есть у горизонта птичий росчерк.
Прислушайся!
Но всюду тишина.
И птицы замолчали – только пчелы
Поют в цветах нежней веретена
И учат нас, и нет прекрасней школы!

ПАМЯТНИК

Привычно Николай Васильич,
Склонясь головой – сидит, молчит,
Он смертью хочет пересилить
России грузный монолит.

Сожжен и устремился к небу
Его фантазий том второй.
Сожжен и устремился к свету
Его утопий тайный строй.

В Кольце, что, Землю опоясав,
Все наши помыслы несет,
Кружится гоголевский ястреб, –
Сто лет прошло,
Пройдут пятьсот...

А здесь, во дворике музейном,
Сидит в окладе тишины,
Склонясь под сеевом осенним,
Пророк немислимой страны.

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Поговорили. Накурили.
Словами кухню накалили.
Слова напрасны – вот печаль.
Теперь молчим.
Пьем красный чай.
Две пачки рядом:
Мой «Пегас»
С его квадратным «Беломором».
Как василек, немым укором
Цветет в горелке синий газ.
Поговорили. Пыл погас.
А спор, ей-Богу, не был вздором.
И разошелся мой «Пегас»
С его помятым «Беломором».

* * *

Эти поздние дружбы подобны скольженью по льду
без коньков,
Эти поздние дружбы похожи на карточный домик.
Мне не верится в близость узнавших друг друга
больных стариков –
Первый, скажем, хорунжий Краснова, второй –
красный конник.

Но не в этом и дело, не в том, что политика – яд:
Сколько веток попадало с дерева дружб многолетних!
И бывшие друзья, укоризненно глядя, молчат
За глухую стеной, ну а ты – их невольный наследник.

Что бы ни было в жизни и сколько б ни грянуло бед –
Эти поздние дружбы надежду несут на бывшее...
И когда-нибудь сбудется: станешь ты сгорблен и сед
И молвою зарыт, как до Генриха Шлимана – Троя.

СОБОРОВАНИЕ

...Он подоткнул за пояс полы рясы
И запахнул цивильное пальто.
Взял черный чемоданчик...
Вдоль всей трассы
Молчал, чуть съезжась в уголке авто.
Приехали.
Больная умирала.
Сознание оставило ее.
...В передней облачился он, и стало
В квартире словно в храме.
Забывье
Рабы Натальи гостя не смутило.
Он свечку перед образком зажег.
И задымило вдруг паникадило.

Нам показалось: рядом с нами – Бог.
Священник начал мерную молитву,
А мы, столпясь, стояли в стороне.
Мы понимали: он вступает в битву
За душу нашей бабушки.

Во сне

Ее лицо как будто просветлело,
Черты страданья сгладились.

Она

Замкнулась в ровном сне, порозовела
Торжественно в блаженстве сна...

...А он – ушел.

И знаменьем трехперстным

Он осенил наш дом, ее и нас.

В прохожего оделся, но небесным

Молебном душу от мучений спас...

И в доме ангел смерти поселился...

Назавтра пополудни в час ноль шесть

Забрал ее...

И долго-долго лился

Свет запредельный, как благая весть.

Наталия МАРТИНЕЦ

ДОМИК В КОЛЬЦАХ ДОЖДЯ

ОСЕННЕЕ БЕЗДОРОЖЬЕ

Под утро льнет лениво солнца свет
К пригоркам неприметным и оврагам,
Конца маршрутам переметным нет,
И лишнего мне ничего не надо.
Пусть холода немножко подождут,
Осенний день, обычный день, с восходом
Хвалу ему, быть может, воздадут
Улыбкой, словом теплым, мимоходом...
Как будто заново написанный октябрь:
Вот стайка рыжиков под елью приютилась,
Здесь ствол упал – нечаянна печаль,
Синица вдруг по-детски встрепенулась.
И засвистал стаккато острый клюв...
Ты спой еще, веселый птичий отрок,
Чтоб человек на бревнышке вздохнул,
Подмяв кулак под скулы, подбородок.
Дождь пошептал, утих, и не впервой
Ему бежать в леса – ветрам в подарок,
Природе рано спячку затевать –
Каемкой влаги утром лист так ярок!
Скакнул ли заяц, в выцветших лугах
Березки крона золотом так блещет!
Трав не увидишь роскошь впопыхах,
Не ощутишь восторг, и сердце как трепещет...

* * *

Ресниц взмах, –
Паришь над Большой Дмитровкой,
Если спросят: «К кому?»,
Эхом шагов
Хлопочешь весело.
Не сможешь помочь,
Если опустошенность глаз.
Над сквериком,
Стежками па смелыми,
Дива танцующая,
Кому улыбаешься?
Легким кружением
Соединяешь нить времени –
Распутываешь дождевки,
Весь мир
Может танцевать,
Примиришь противоречия:
На пуантах легкая песенка,
Ладони к небу,
Выгнуты запястья,
Счастливчики чествуют ветер.

* * *

Он подшучивал
Над ее пугливой осторожностью,
Ласково смотрел подолгу в глаза.
Минуты и часы плавилась
Медовыми струями,
Вишневые полосы комнаты
Растворялись в бархате летних дождей.
Тела спеленала неведомая сила,
Дыхание замедлялось,
Растворялось на губах...

Стрелка приближалась к пяти.
Он заботливо укрывал ее одеялом,
«Полтора часа сна», – соглашалась она.

ЧЕРТОПОЛОХ

Корявенький многолеток,
Кочующий хранитель
Сумеречных бугорков,
Ты мне нравишься больше
Ухоженных, изнеженных
Декоративно ликующих лепестков,
Выглядывающих простуженно
В мир узких дворов.
Пена иголок в пестроте дорог,
Репей, уцепившийся за полог
Жилета, на штанинах
Пересекаешь пространство.
Тебя ругают, тебя отдирают,
Кидают, но ты – солнечный ежик,
Ехидная улыбка природы,
Скороговорка лесов,
Выше многих цветов.

ОСТРОВ ВЕРА

Прощай, причал, когда команда в сборе,
Схлестнулись волны в схватке о борты,
Любые песни о любви в фаворе,
В путь, гор отчетливо прочерчены хребты!

Погожий день, попутный ветер южный
Лишь добавляет в шутки остроты,

К лачугам штиль, но нрав течений грозный,
Не верь спокойствию суровой красоты.

Нам повезло – прозрачная водица
Качает птиц и лижет острова.
Плывем на Веру, чтоб водой омыться, –
Был зов пещер, нам слышимый едва.

ОЙ, ЕЙ

Гуси травку обминают.
Маня гусок окликает,
У хозяйки ладный вид.
Гуси хлопают крылами –
Скрип ботинок их гневит!
Лишний шаг, дадут отпор,
На дорогу, за забор
Чинно шествуют, шипят,
Уноси-ка ноги, брат!

ИЛЬЯ

Пироги с капустой он не пробует,
И плевать ему, который час,
Он напористой, ловчей, порой смекалистей,
И басист, как новый контрабас.
Приоткрыта дверь в другую комнату,
Там тиски, стамески, разный хлам,
Книги пожелтевшие – на полочке,
Нет нужды в них знатным мастерам.
Строит он ладью – в уме все контуры,
Чертежи, макеты – все в уме,
Пилорамой тискает край палубы,
Днище лодки вымостит к зиме.

Пахнет в мастерской клеями, стружкой,
Мастер гнет детали для кормы –
Доски крепко напитались влагою.
Медных клепок шляпки чуть видны.
Час обеда, но работа спорится,
А опилки горы – все пышней.
Шьет ладью – не иглами, и молится,
Чтоб весной сошла со стапелей!

КАЗАЦКИЙ КРАЙ

Мелеют заводи Дона,
Ребристой плотью – станицы,
Степная гладь монотонна –
Желтеют странствий страницы.

Поля – медовая сказка –
В кровавом рубище драмы,
Привычны взгляды с опаской,
Молчат о прошлом курганы.

* * *

Диковинки собираю –
Щедра на богатства земля,
В букеты пшеницу вкрапляю,
Чуть проса, стеблей ячменя.

Танцует в полях кукуруза,
Вкус яблок медовых люблю!
Напутствует шорох колосьев,
Бег времени не тороплю.

Долин закипающий воздух,
Снопов богатырская рать,
Июльскую прозу России
Ветрам разрешаю листать.

* * *

Зашевелились тучи, распозлились,
Сурово, медленно, в тень отступает осень,
Лебяжьей вышивкой к земле лучи сошлись,
В густых туманах зреет прелый воздух.
В глуши длиннее версты, час за два,
В прозрачных паутинах сосны плачут.
Здесь тускло произносятся слова,
Сторонних взглядов холодок приятен.

НАТАЛЬЕ ФИЛАТОВОЙ

Желтые нивы
За тихой рекою,
Лодочка мчится –
Стрекочет мотор.
Спутались травы,
Омылись дождями,
Вырвался лес
На широкий простор.
Лучик полуденный
Тронул окошко,
Рябью чернильной
Скользнул к бережкам.
Доченька-дочка,
Как белый цветочек.
Замерли стрелки
На старых часах.
Жгутики цветики

Сохнут на ниточках.
Штопаешь ветошь
Под дождика стон,
Часики с боем –
Подарок отцовый,
Стаял под крышей
Серебряный звон.

ДОМИК В КОЛЬЦАХ ДОЖДЯ

В круглое оконце
Смотрит усталый лучик.
Я хотела твой голос услышать,
Слабый, трепещущий, вопрошающий голос,
Еще дыхания каплю,
Улыбки ответ –
Малою толикой внимания щедрого,
Материнского трепета.
Ну что же так мало сказано,
Алло! Алло!
Нет, наскоро склеенный разговор
Не получится,
Не залатать молчанием паузы.
Тончайшие простыни,
Иголки стеклянный ответ –
Неуверенность в завтрашнем дне тревожит,
Ты просто ждешь моего приезда,
Скучаешь. И любишь.
По-своему. Сурово, немногословно
И мелодично.
Билеты в кармане.
Еду, мама!

Вера НИКОЛАЕВА
(1928–2014)

В КОЛЬЦЕ ОХРАННЫХ РУК*

НА ВЫСТАВКЕ

Автопортрет Эль Греко. Он? Вопрос.
На вытянутом лице, как живые,
Мерцающие скорбные глаза.
Они в меня из тьмы веков глядят,
Глядят пытливо, сумеречно, жадно,
И никуда меня не отпускают.
И даже, если головы чужие
На долгий миг разъединяют нас,
Чуть-чуть просвет – и я опять во власти
Внимательного, медленного взгляда.
Мне показалось даже, что с холста
(Как будто поменялись мы ролями),
Он на меня завороженно смотрит,
Постичь желая, что такое я.

Над пропастью эпох, над грузом лет,
Глаза в глаза – два разных человека,
Друг друга вопрошающие жадно:
– Ну, как тебе в далеком далеке?

О сколько нас прошло под этим взглядом!
Не оттого ль такая в нем печаль?

* Составила Лидия Киселева.

ПСАЛОМ I

Блажен тот муж, который не идет
В собрание нечестивых и развратных.
В душе его один закон живет –
То Воля Господа – источник дум отрадных.
Он словно древо при живом потоке вод,
Дарующее в срок цветение и плод,
И лист его от времени не тлеет,
И дело всякое вершится в свой черед.
Не так неправедные. Их, как прах,
Вихрь налетевший без следа развеет.
Им не сокрыть в собрание судном прах –
Пред ликом строгим глаз поднять не смеют.
Их путь греховен – их погибель ждет.

Лишь праведных Господь к бессмертию ведет.

ВОРОНА

На самый верх березки молодой,
Снег осыпая, плюхнулась ворона,
И ветка вдруг от тяжести такой,
Согнувшись, закачалась напряженно.

Вороне – что? Сидеть привыкла так.
Крылами пошевеливает еле.
Посмотришь издали – зловещий знак.
А ей, как видно, нравятся качели.

* * *

Смолкли юности вешние трели,
Все иначе печалит и радует:
Раньше годы звенели капелью,
А теперь шелестят листопадами.

Мне казалось: век буду мечтательной, –
Жизнь внесла коррективы дельные:
Раньше верила только в касательные,
А теперь признаю параллельные...

Мир устроен и просто, и сложно.
Краткий путь – не всегда прямая.
Раньше думалось: «Разве можно?»
А теперь: «Ничего, бывает...»

Что же это? Душа устала?
Отступилась, признав поражение?
Это раньше я так бы сказала,
А теперь говорю: «Прозрение...»

* * *

Вчера всю ночь шуршал по листьям дождь.
Он щедрым был и всех равно одаривал:
С деревьями негромко разговаривал
И травам что-то лепетал всю ночь.

И лес, избитый ветром, задремал.
А на заре, поблескивая листьями,
стоял такой спокойный и таинственный,
Как будто за ночь вдруг мудрее стал.

АЛЛЕ ЗУСМАН

Бросает август взор через плечо,
Еще под этим взглядом горячо,
И яблоки антоновские зреют,
И носятся стрекозы над ручьем...
Притихший лес еще от зноя млеет,
Задумавшись, не ведая о чем.

Еще листва, как от весны привет,
Хранит ревниво молодости цвет,
Соцветьем салютует гладиолус, –
Не скрыться от докучливых примет.
«Ведь скоро осень...» – слышен сердца голос.
Но усмехнулась женщина в ответ.

* * *

Умейте домолчаться до стихов...

Мария Петровых

Молчала, медлила.
Ждала высоких строчек,
Вальяжно, расточительно ждала.
Не раз, не два слова-бродяжки ночью
Бросали путеводный мне клубочек –
Нагнуться было лень. Не подняла.

Просились образы,
Да как-то все некстати:
То в сердце был порой такой дурдом,
Что думалось, не описать пером;
То под рукою не было тетради;
То мысли были вовсе о другом.

Винить мне некого.
Себе не докучая,
Жила со свертком крыльев за плечами
И, вопреки и сердцу и уму,
Сумела домолчаться... до молчанья,
До равнодушья смертного к нему...

Людмила ОРАГВЕЛИДЗЕ

СКВОЗЬ ПРОШЛЫЕ И ЭТИ ВРЕМЕНА...

НОЧНОЙ ДОЖДЬ

То зачастит ямбической строкою
По крыше и по жести водостока,
То зашуршит горящею фольгою,
Вздыхая и стихая понемногу.

Он просит слез, томительных и нежных,
Он верует – достойны сожаленья
Все в прошлом обманувшие надежды,
Все в нынешнем сгоревшие стремленья.

А я плечами пожимаю: «Так ли?..»
Бросая в ночь упрямые вопросы...
Не зря снята я с давнего спектакля –
Мне никогда не удавались слезы.

ПИСЬМО ИЗ ДЕТСТВА

Он просто шутил и навел пистолет на собаку.
Оскалился пьяный товарищ: «А сможешь? Давай, уж...»
– Собака, беги! Здесь четыре прыжка до оврага. –
А вслух повторяю: – Ну что же ты... лаешь и лаешь.

...К восьми соберется семья и зайдет тетя Маня,
Всучит леденцы, балагурия и роясь в авоське...
Я крепко запомнила: если не падать на камни,
То взрослым не видно твое сотрясение мозга.

Они умиляются странно начертанным знакам
И первой тоске, извлеченной из новеньких клавиш...
А ночью опять с облаков прилетает собака,
И я говорю ей: – Ну что же ты... лаешь и лаешь.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Ну что же вы, песочные часы,
Лежите поперек, и всем на свете
Хитро смеетесь в пышные усы,
Когда в утробе вашей два столетья?

О, ваш песок, стареющий в мечте
О миражах таинственных барханов...
О, ваш песок, забывший о дожде
И звонком побережье океана...

Он своего проклятия печать
Сорвет однажды, пробузив вам темя.
Вставайте же, он хочет исчерпать
Любое время!

А ПТИЦЫ ТЯНУТ К МОРЮ...

А птицы тянут к морю не спеша,
Мерца в небе, словно конфетти...
– Какая глубина, – вздохнет вожак
И отвернется, вспомнив о пути.

А там, на дне, озябшая страна,
В ее озерах черная вода,
В ней ненадолго кончилась война
И глухо зреет новая вражда.

А в той стране есть город – как бутон
горами собран.
Из его глазниц –
готических окон –
Я – как с икон,
Смотрю, молясь, на небеса и птиц.

Блаженны мирно ждущие лозы,
Те, чье чело не тронула печать...
Блажен, кто может выкрикнуть призыв,
И тот, кто может вышептать печаль.

А мне таить с рожденья и поднесь
Сумбур предчувствий и огонь вины...
И всех, кто взглянет на меня с небес,
Пугать глазами древней глубины.

БЕЛЫЕ ЛОДКИ

В его общежитии пили и ночью и денно,
А лестницы, двери и стены – как дни – были серы.
На входе вязала носки Пелагея Андревна,
Бросалась шутливым вопросом: «В какую квартиру?»

Его не любили за взгляд и нелепость походки,
И многим казалось достойным презренья и вздорным,
Что он на листках вырисовывал белые лодки,
Затем кропотливо вокруг заштриховывал черным.

Заглянет, бывало, к нему Пелагея Андревна,
Не так, чтобы вся, а держа приоткрытыми двери;
Глядит на него и на стол, на него и на стены:
– Все лодки, да лодки... Людей пририсуй, или берег...»

А он улыбается ей, возражает несмело,
Что это – не дурь, и что много причин есть на свете,
Чтоб черному небу быть черным, а лодке быть белой,
Что лодкам, конечно, нужны берега, но – не этим...

...А вскоре страну понесло, затрясло, закачало...
О нем говорили: наверно, вернулся в деревню.
Еще говорили: пропал... И ревела ночами
О нем, о себе, о других Пелагея Андревна.

Из тех же забот неизменный уклад ее соткан.
Ничто для нее не яснее, чем было сначала.
Но вставлены в рамки спокойные белые лодки,
И снова глядит Пелагея Андревна на лодки,
Пытаясь понять, чем ей дороги белые лодки,
Которым не нужно ветрил, берегов и причалов.

ТРЕТИЙ

Этот красный трамвай был с зеленой заплатой...
(Все трамваи имеют свой нрав и приметы).
Он смеялся звонком и гордился покатою
И блестящей залысиной с именем «Третий».

Разгоняясь, летел он с высот Авлабара*,
Несусветно болтаясь и резво трезвоня.
А под спуском, таясь в глубине тротуара,
На пустой остановке стояла тихоня.

Осторожная девочка с нотною папкой
Постоянно жила в ожидании чуда,
Потому что на улице сыро и зябко,
Потому что забыла концовку эту да...

* Авлабар – старый район Тбилиси.

Все прошло. И за партами – новые дети,
Поменялись в окне корпуса и районы.
И однажды взлетел разогнавшийся Третий,
Покачав на прощанье заплатой зеленой.

И пошло; улетали трамвай за трамваем,
Уходило свое, приходило чужое...
Этот город другой, и хожу я другая,
Ни людей, ни домов не касаясь душою.

Я по памяти выйду к местам моих бедствий:
Вот ларек и пекарня, и девочка возле...
Мне не нужно ее непосильного детства.
Ей не нужно в мою незнакомую взрослость.

У сквозного двора обернется неловко,
Бросит в сторону смятый трамвайный билетик,
И пройдет мимо старой моей остановки
На другую... куда приземляется Третий.

ВОЖАК

Ты не заметил, озирая стаю,
Что все твои друзья уже вполне
В друзьях врага.
И потому не знают
На чьей сегодня будут стороне.

Гаси паденьем тленья оперенья,
Лежи плашмя и память береги,
Пока друзья толкуют в отдаленье,
Решая – подойти-не подойти.

Теперь и ты в когорте уходящих –
Твой враг безумен и готов к войне.

Прости же всех смятенных и стоящих
Лицом – то к той, то – к этой стороне.

БЕСПАМЯТСТВО

Касаясь листвы и склоняясь к воде,
Обходят цветущий сад
Точеная дева Шарлотта Корде
И спутник ее – Марат.

За ними стирается россыпь следов,
Смыкается глубь аллей;
В лучистом пространстве нет дела им до
Тяжелых земных страстей.

Шарлотта смеется – под локоть ее
Ведет дорогой Жан-Поль...
В беспамятном будущем месть не живет
Равно как прошлая боль.

Но стелется дьявольский дым на пути,
Из бурой земли ползет;
Вскипает огонь у Марата в груди.
В глазах у Шарлотты – лед!

Не зная причины внезапной вражды,
Стоят они, замерев, –
Уже узнавая друг друга сквозь дым,
Уже познавая гнев...

Еще полстолетья зловеще стоять,
Забыв о садах и снах, –
Пока вспоминаются где-то опять
Их страсти и имена.

Пока – на плаву, и по черной воде
Несутся на всех парах
Французский корабль «Шарлотта Корде»
И русский линкор – «Марат».

СИРЕНЕВЫЙ ОСЛИК

Старушка с клюкой и сиреневый ослик
Спускаются к рынку тропинкой отлогой.
И думает ослик про слякоть и дождик...
Дождь вправду идет, –
никаких апологов!

С рассвета они из ближайшей деревни
Идут: обижаясь, упрямясь и споря...
Сиреневый ослик нагружен сиренью,
За цветом его –
никаких аллегорий.

СТАРЫЙ ДВОР

Проходя, заглянуть напрасно
В этот старый тифлисский двор,
Где с три короба врал вихрастый,
Семилетний мой ухажер.

Может, скрипнут тугие ставни,
Гулко прыгнет знакомый кот,
Может быть, сумасброд Евстафий
Вновь колдует среди реторт...

Все как прежде: балкон, посуда
И провисшие провода.

Только голуби – не оттуда,
Только лестница – не туда...

САРГАССОВЫЙ СУМБУР

У кого-то есть небо. В багряном и синем просторе
эти птицы летят по веками излетанным трассам.
У кого-то есть тайные тропы на склонах предгорий.
У кого-то есть только дорога в Саргасово море
и вся жизнь – возвращенье магических
стеблей саргассов.

Эти угри вернутся туда же, откуда был начат
атлантический путь, пробуривший стекло океана, –
к забытому дому, который когда-то утрачен,
потому что их память уверена в том, что иначе
умирается в стеблях, причастных
к орбитам и тайнам.

Для того ли несли на себе океанские ночи,
и спасались от пасти какой-нибудь злой барракуды,
чтоб вернувшись домой умереть, не желая отсрочек?..
Эта древняя память, похоже, их просто морочит.
(Неужели мы также пристегнуты
корнем к чему-то?!)

Может, знают саргассы, что каждое в мире рожденье
есть земное рождение Бога – таинственный праздник.
Значит, каждая смерть неизбежно – Его погребенье...

А в саду моем машут и машут саргассовы тени...
ТЬфу, тьфу, тьфу! Померещилось.
Надо постричь виноградник.

СОНЕТ О ПАЛАЧЕ

Я слышала, что палачи особо
Любезны, восходя на эшафот;
И к ним – ни лицезреющий народ,
Ни жертвы не испытывают злобы.

«Мария*, я – ваш друг. Мне очень жаль...
Поправьте локон, милая Шарлотта...**»
У палача такая же работа,
Как у писца, портного и пажа.

...Ты, кто взхлеб рассказывал о счастье,
Упреками расстреливал в упор,
И ревновал, и сеял смуту ссор,
И наслаждался, упиваясь властью;

Скажи мне, почему ты так участлив,
И так любезен с некоторых пор?..

ВСЕ ДАЛЬШЕ...

И где привитая тута
Моя хашурская,
Что на три четверти – желта,
Как рожь июльская?

На четверть дерева – черна
С отливом лаковым,
Вся, словно горсть моя, полна
Медовым запахом.

* Мария Стюарт – казненная королева Шотландии.

** Шарлотта Корде казнена за убийство Марата.

Все дальше лица из окна
Вагона быстрого,
И отнимают имена
Туманы мгlistые.

Иных не вспомнить... Но грубы
Крупинки опыта –
Истоки нрава и судьбы.
Все – перемолото.

А жизнь течет, как и текла –
Огнеопасная.
Но на три четверти – светла,
На четверть – разная.

Галина ОСИНИНА
(1927–2012)

ПОЛЮШКО ВАСИЛЬКОВОЕ*

* * *

Душа раскалена,
И нету ей остуды.
Могу не пить, не есть,
Смирять аскезой плоть.
Но как мне возлюбить
Ягоду иль Иуду?
Нет кротости во мне.
Прости меня, Господь.
Победа над собой –
Сладчайшая победа.
Обиды все презреть,
Соблазны – побороть...
Но как могу простить
Тех, кто убили деда?
Кто оболгал отца?
Прости меня, Господь.
Мне имя – тишина.
Я нравом не воитель.
Тоскуют по любви
Моя душа и плоть.
Но злоба всей земли
Трясет мою обитель
И я – частица зла.
Прости меня, Господь.

* Составил Александр Зорин.

* * *

И.М.

Иззябла, а ты подарил тепло мне.
К распухшим пальцам лицом приник.
Я все забуду, но это вспомню
В свой самый-самый последний миг.

Как глицерином сводил мне цыпки,
Сушил носки мои у огня.
Я столько лет не знала улыбки –
Ты улыбаться учил меня.

И не было слов про любовь и верность.
И не дарил в целлофане роз.
Ты знал, что в легком моем каверна.
И молоко, как младенцу, нес.

Была каморка чуть больше гроба.
«Буржуйка», примус, в углу дрова.
И было счастье: любовь, учеба,
И за окошком – в огнях Москва.

* * *

Я женщиной пришла на землю эту.
Прекрасный мир передо мной предстал.
Петрарка мне дарил свои сонеты.
Шекспир меня возвел на пьедестал.

Как много гимнов в честь меня звучало
И за здоровье выпито вина!
Из-за меня (о чем скорблю немало)
Произошла Троянская война.

Я вдохновила Винчи и Беллини
Воспеть красу нетленную мою...
Я сверху вниз гляжу в глаза мужчине,
Когда в метро с авоськами стою.

ДАР

Когда с трибун дежурный лжец
Морил народ словесным дустом,
Меня благословил Творец
Наисчастливейшим искусством.

Лишь только враль откроет рот,
Как мой невидимый предстатель
Мне веки ласково сомкнет,
Как нажимают выключатель.

И тотчас в дымчатый провал
Летят стремглав и вверх тормашкой
От духоты сдуревший зал,
И бюст вождя, и Вий с бумажкой.

Меня же в прочие миры
От маяты зевотных бдений
Несут воздушные шары
Цветных бездумных сновидений.

Потом толкнет соседка в бок:
– Очнись, истек сеанс гипноза.
Ты словно выкрала часок.
Ишь, разрумянилась, как роза!

...Ночь на исходе. Спит семья.
А я ворочаюсь без толку.

В трухлявом стоге бытия
Тщусь смысла отыскать иголку.

* * *

Для меня, под созвездием Рыбы рожденной,
Нет роднее стихии, чем вольность морская.
...Я плыву, убаюкана морем, обласкана солнцем.
Я кричу: «Я свободна! Свободна! Свобо...»
Вдруг моторная лодка мне путь преградила.
В ней сидел человек с автоматом и в форме.
Вы задержаны. Это запретная зона.
Он втащил меня в лодку, спросил документы.
Ну зачем документы владычице моря?!
...Шли мы (странная парочка!) в комендатуру,
И стекали с меня, угасая,
Последние капли свободы.

МОЛИТВА СТАРООБРЯДКИ БОБКОВОЙ

Александр Зорину

Всех потеряла я, Господи!
Знаю, настал мой черед.
Только молю Тебя, Господи!
Дочку возьми наперед.
Как ее брошу, сердешную,
В этом безбожном краю.
Отроковицу безгрешную,
Дочку, кровинку мою?
Ироды, душерастлители.
Не человеки – зверье.
Нету на свете обители,
Где бы упрятать ее.
Только земля наша матушка

Даст ей надежный приют.
Слышишь ли, доченька Аннушка,
Как херувимы поют?

ПОЛЕ

Все-то помято, вспорото.
Шрамами иссеченное
Полюшко возле города –
Стало быть, обреченное.
Дело обыкновенное.
Что же реву, бестолковая?
Полюшко незабвенное,
Полюшко васильковое.

НА СЕЛЕ

Не картошкой, не грибами –
Запасаются гробами.
И в фамильных сундуках
Прячут саван в узелках.

А село-то все пустеет,
Год от году сиротеет,
И за сотню верст окрест
Не добыть ни гроб, ни крест.

Слава Богу, жив Никита.
Сробит гроб мастеровито.
Все к Никите на поклон,
Ташат харч и самогон.

А старик на ладан дышит.
Еле ходит, туго слышит.
– Ты, Никита, погоди!
Нас сначала снаряди.

Вот и все. И слава Богу.
Можно в дальнюю дорогу.
...Из пустынного села
К небу тропочка светла.

ВДОВИЙ ХРАМ (Хрущевская оттепель)

Не пахать не косить,
Не дорогу мостить
В ту деревню нагрянул отряд –
Храм сносить!
Бабы – выть-голосить:
– Пусть и нас вместе с ним порешат! –
По-бойцовски стояли в горячей пыли,
Босоноги, черны, без платков.
– Сыновья и мужья за Россию легли.
Чем мы хуже своих мужиков?!
– По домам!
Раз-зайдись!
Ща взорвем!
– Воля ваша, – вдовицы твердят.
Их стращали судом.
Их стегали кнутом.
...И ушел восвосяси отряд.

По России босой
Хам прошелся с косой.
Против силы, поди, не попрешь.

Врешь! Попрешь,
Коли в сердце несешь

Божью правду,
Как эти бабы.

ВДОВЬИ ПОСИДЕЛКИ

Мы – кременные бабы-скифки.
Кто-то
Мудрый порядок ввел:
Никакой поблажки и скидки
На прекрасный наш слабый пол!
Нас до косточек голод грыз.
Всю-то жизнь надрывали жилы.
И ведь надо ж – судьбы каприз:
Мы мужей своих пережили.
...Собрались мы не веселиться,
А поплакать и помолиться.
За беседой разведрить грусть.
И сидит среди нас вдовица
В черный плат укрытая Русь.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Человек сидит на сучке.
У него топорик в руке.
Он топориком тук да тук –
Под собой подрубает сук.

Сук упрям. Да упрям мужик.
Слаб топор – он пилою: вжик!
Есть такой на земле закон:
Человек побеждать рожден!

Это ж знает каждый дурак!
Сук погнулся – поддался – кряк!
Человек летит в пустоту.
Ухмыляется на лету.

МИЛОСЕРДНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Ночью выла собака,
Так жутко, по-волчьи,
Ясновидящим сердцем почуяв беду.
Я на улицу вышла.
Мне глянули в очи
Милосердные звезды в небесном саду.

Шла по тропке росую омытого щебня.
Вся душа измочалена муками дня.

И сошла на меня
Тишина всепрощенья.
Благодать очищенья коснулась меня.

Что мне сор бытия пред величием ночи!
Здравствуй, завтрашний день,
Что б ты мне ни принес!
Милосердные звезды
Глядели мне в очи.
И к ногам моим льнул
Неприкаянный пес.

Александр ПЕЛЕВИН

АЛХИМИЯ СТИХОВ

ВРЕМЯ – КОРАБЛЬ

По сгнившим доскам ступает Харон,
О, мой корабль! Скребет килем песок!
Ты был для моря рожден,
Но время вышло, закончился срок.

Истлела пенька, и ветхая ткань
Повисла на разломанных реях,
Вечность берет свою дань –
По секундам, векам, скарабеем.

Гляди, полон трюм ненужных монет,
Камений, жемчужин черных, белых,
Оставь в столетиях след,
Время – корабль, оно выбирает смелых.

Гляди, растет виноградная кисть,
Сочная плоть нам дарует вино,
Спеш и любить, и жить,
Парус поставить нам предрешено.

СВЕТ СОЛНЦА

Свет солнца, он там, на краю Ойкумены,
Где дети моржей и китов снаряжают каяки,
Где ягель под снежными шапками ищут олени,
Где нарты по белой пустыне тянут собаки.

Я снова буду смотреть на великую тайну восхода,
В надежде, что солнце согреет замерзшие земли,
Что ультрамарином взорвется овал небосклона,
И выйдут из нор и берлог усталые звери.

НЕ ПЛАЧЬ, НЕ НАДО

Дарил я лепестки стихов
Вам на прощанье,
Цветы, цветы из нежных слов –
Мои желанья.

По перламутровым щекам
Катились слезы,
К уже написанным стихам
Смерть туберозы.

Там за распахнутым окном
Цветенье сада,
Забудь, забудем о былом,
Не плачь, не надо!

КОТЫ ЭРМИТАЖА

Обходят старые мосты,
На мордах сажа,
Интеллигентные коты
Из Эрмитажа.

Усталый город мирно спит,
Дворцы и тени,
Точеный мрамор и гранит
Для сновидений.

Над вереницей крепостей,
Заводов, фабрик,
Среди блистающих путей
Идет кораблик.

Обходят старые мосты,
Ночные стражи –
Интеллигентные коты
Из Эрмитажа.

ВЕДЬМА

Эх, гитара – дочь печали,
Семиструнная,
Звезды вспыхнули свечами,
Голова чугунная.

Пляшет месяц над Окою,
Да в присядочку!
Я забыл тебя весной,
Мою ненаглядочку.

Я забыл и не жалею,
Глазки черные,
Грусть-тоску свою развею
Да лихой чечеточкой.

Закушу я черствым хлебом,
Выпью водочки,
И пойду под звездным небом,
Я на белой лодочке.

Птица черная взлетела,
Утро светится,

Голова, что поседела?
Завтра перемелется.

* * *

Сырный месяц, мышь за печкой,
Да лежит густой туман,
Это ведьма, там за речкой,
Варит огненный дурман.

Лес еловый частоколом,
Иль землянка, иль изба,
Ночь траву метет подолом,
С ветки ухает сова.

Шепчет ведьма ночью лунной,
В дело – травы и цветки,
Обернется девой юной,
И в деревню, напрямки.

* * *

Звезды блещут – неба очи,
На верстовые столбы,
Ведьма вылетела ночью
Из трубы.

Колдовала, ворожила
На кореньях и золе,
Прокатиться вот решила
На метле.

На Оке Сашок рыбачит,
Эта ведьма да к нему,
Подошла, девицей плачет,
Ну и ну!

Да костер-то еле тлеет,
Головешки да угли,
Ведьма юная смекает,
Обними!

Вдруг костер угасший вспыхнул!
Да девица из гнилья!
Черный глаз наружу выпал,
Вот змея!

Да на небе заалело,
Потянулся свет к земле,
Ведьма, свистнув, улетела,
На метле.

ИЗ НАШЕГО ДВОРА

Осень у нас на дворе,
Спят до весны качели,
Я напишу тебе...
Листья столбом взлетели.

Ветер те листья метет,
Дует настырно в окна,
Дождь на дворе идет,
Наша скамья промокла.

Осень у нас на дворе,
Клен и рябины кисти,
Я напишу тебе...
Долго читаешь письма.

Елена ПОХВИСНЕВА
(1924–2016)

МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ СОЛНЦУ...*

* * *

Расплавил солнце последний туман.
Сегодня с утра не штормит океан.
Лишь рябь разбежалась широким кольцом,
Где солнце дробится на тысячу солнц.
И, в солнце купая блестящие спины,
У нас за кормою резвятся дельфины.
За нами плывут и несутся по кругу,
И прыгают вверх, догоняя друг друга.
И снова, и снова мелькает над синью,
Лучась дружелюбием, улыбка дельфинья.
И в воздухе слышно: «Крепись, не робей!
Плыви напрямую – все будет о'кей!
При всякой погоде держись молодцом –
И счастье еще повернется лицом!»
И мы одолеем в зыбучем тумане
Свинцовые волны земных испытаний,
И в реве прибоя, в бунтующей пене
Мы ступим на берег надежд и свершений.
Да знать бы нам только, что где-нибудь тут
В кильватере нашем дельфины плывут.

* Составила Наталия Мартинец.

МАРТ

Двадцатый ли век на исходе,
Вчера ли Земля родилась –
Равна в неизменной природе
Весны первозданная власть.
Так пусть синева воссияет
Над морем грехов и обид,
И пусть нашу древнюю память
Наш нынешний разум простит.
Простит мне, что все принимая,
Не зная столетних преград,
Стою я такая земная,
Как тысячу весен назад.
Что будто далекий охотник,
Неслышно минуя века,
Ты снова приходишь сегодня
К огню моего очага.
Приходишь для грешной и грубой
Языческой нашей любви,
Где властвуют жесткие губы
И сильные руки твои.
Прости, что в потоке свершений,
От века нацеленных ввысь,
Мы счастливы верою древней
В единожды данную жизнь.
Что память начал остается
Доныне дороже всего,
Что мы поклоняемся Солнцу
И верим в его торжество.

ЛЕДЯНОЙ САД

Светает.

Ладони разжаты.

Обидны и горьки слова.

А в синем оконном квадрате

Блестит ледяная листва.

В такой безупречности линий,

С такой колдовской белизной,

Что можно последним усилием

Уйти в этот сад ледяной.

И в строгом его совершенстве,

Холодном, как самая смерть,

Без боли, без злобы, без сердца

Ледышками смеха звенеть.

И только тоскующий голос

Без умолку бьется в крови:

– Оставь мне обиды и слезы,

И теплые пальцы твои.

– Оставь мне дыханье живое,

И соль поцелуя во рту.

Я в сад ледяной за тобою,

Как Герда за Каем пойду.

ПРЕДУТРЕННИЕ ЗВЕЗДЫ

Ночные тени движутся украдкой,

Холодный мир в дремоту погружен,

Но за открытым пологом палатки

Уже горит на небе Орион.

И рвется ветер в воздухе морозном,

И новый день торопит и зовет,

Когда горят предутренние звезды,

В весеннем небе празднуя восход.

...Длинна тропа.

И силы на исходе.

И голова склоняется на грудь.
Ступает конь, не чувствуя поводьев,
И не спеша ощущивает путь.
Но над Землей легко и незаметно
Уже повернут звездный небосвод –
И долгожданным вестником рассвета
Над горизонтом Сириус встает.
И будет день.

И снова будет лето.

И наши тропы встретятся у гор.
А я сегодня встану до рассвета
И разожгу под звездами костер.

КОСАРИ

Г.Л.

Здесь склоны ровнее и шире,
И росные травы щедрей,
И солнце, поднявшись к вершине,
Лежит на плечах косарей.
И носятся тени косые
За дружными взмахами рук,
Как будто бы где-то в России
Выходишь на утренний луг.
Как будто вовеки неведом
В Тянь-Шане суровый закон,
Когда по обычаям дедов
Косьбу почитали грехом.
Когда под негреющим солнцем,
Заснеженный склон перерыв,
Искали коровы и овцы
Промерзшие стебли травы.

В размахах широких и жестких
Старинная удаль жива.
Под звонко отбитые косы
Со свистом ложится трава.
Блестят узкоглазые лица
Да плещутся пряди волос,
И светлой дорогой струится
Широкий, как речка, прокос.
И пахнет степным изобильем
Сквозь утренней свежести хмель,
Как будто бы где-то в России,
За тридевять дальних земель.

ЗЕМНАЯ ОБИТЕЛЬ

От пут суеты я могу отрешиться,
Лесную приму тишину,
И стану свободной, как эта синица,
Что славит на ветке весну.
Сорву паутину желаний ненужных,
Зажгу путевую свечу –
И груз бытия, оттянувший мне душу,
Тихонько к ногам опущу.
Все выше и выше по солнечным нитям
Уйду от бессмысленных дней.
И что мне сегодня Земная обитель? –
Я просто забуду о ней.
Но сердце стучит все больней и больнее,
И ноги скользят на ходу,
Затем, что предательски сладко забвенью,
Как сон в Гефсиманском саду.
Затем, что земные мне видятся лица
В земной беспросветности дня,
И страшное что-то там может случиться,
Когда там не будет меня.

Затем, что в сомненьях своих безответных,
В тревогах, в страданиях, во зле,
Я только должница несчастного века –
А он меня ждет на Земле.

* * *

Третьи сутки норд-ост жестокий
Над заливом гудит бесменно,
И по морю дрожащие строки
Прочертили узоры пены.
Третью ночь в темноте бессонной,
Под прибой глухие звуки
Над палаткой деревья стонут
И ломают зеленые руки.
Понемногу уходит лето,
И туман над горами виснет.
Третий месяц я жду ответа
На мои безнадежные письма...

* * *

Над нашим остывшим весельем,
Над медленным кругом пиал,
Пробившись прозрачной капелью,
Тихонько комуз зазвучал.
И, утренней свежести полон,
Ворвавшись в застольный предел,
Старинную песню влюбленных
Мальчишеский голос запел.
А мы не спеша вспоминали,
В какой незапамятный год
Спокойно любовь разменяли
На мелочь случайных забот.
И слушали долго и грустно
Сквозь горькие мысли свои,

Нина САНИЦКАЯ

СКВОЗЬ ВСЕ ПРОСТРАНСТВО МЧАЛИСЬ ПОЕЗДА...

* * *

Перрон. Вагоны. Время истекло.
Средь грохота вокзального и гама –
в платочке – сквозь туманное стекло
глядит в глаза мне старенькая мама.

И продолжает что-то говорить.
И я в ответ ей головой киваю.
И между нами горестная нить
невидимо пульсирует – живая.

Напоминает: снова жить нам врозь
и утешать друг друга редкой вестью...
И мне не задержать уже колес,
рванувших поезд в час урочный с места.

Их скорости стальной не превозмочь.
Над рельсами то охатъ им, то окать.
И я гляжу, как убегает в ночь
светящаяся прорезь окон.

Но вот и поезд мглой заволокло.
Огни его померкли меж полями.
И лишь одно все светится окно –
во всей Вселенной для меня одно.
И в нем глаза – из-под платочка – мамы.

* * *

И впереди не жду спокойных дней.
И с силой мне не справиться подспудной.
Она подступит прежнего сильней,
поκληчет в край, далекий и безлюдный.

Старушка там совсем одна
у печки с чугуном хлопочет
и на меня как бы со дна
жителейского поднимет очи.

А в них – мольба седых полей.
И между нами – дождик, дождик.
И станет мне еще больней
и все-таки чуть-чуть надежней.

О чем она беззубым ртом
свое, бессонное лепечет?
Не слышу. Дай же Бог потом
слова губам ее –
при встрече.

* * *

Я все о том же, все о том же –
тебя никем не заменить.
Но с каждым новым утром тоньше
между тобой и мною нить.

Она уже, как паутинка,
что зацепилась за ветлу,
вдоль нашей, полной тайн, тропинки
дрожит на бешеном ветру.

Вот-вот под свист осенний дрогнет
и разлетится пополам.
И будут два обрывка долго
носиться рядом по полям.

ГОРОШИНА

Наташе Смирновой

– Скажи мне что-нибудь хорошее...
Услышу.
Призадумаясь:
– А что?
И вспомню, просьбой огорошена:
– В столе нашла одну горошину,
посеяла – и стало сто!

ОДНАЖДЫ

Однажды
сбудется такое:
сверкнут глаза и вздрогнут плечи.
Однажды
озарюсь строкою,
как молнией внезапной вечер.

Сбегу с крыльца, рукой раздвину
дождя поющие колосья.
Рога ревниво к звездам вскинув,
уступят мне дорогу лоси.

Пройду, ветвей не задевая.
Пройду, промытая грозюю.
Сорвется капля дождевая
с ресниц счастливою слезюю.

* * *

Над лугом, над полем, над лесом
нависла, созрела гроза.
И ни шалаша, ни навеса.
Одни только наши глаза.

То грянут грома над округой,
то молний вселенский размах.
И селезня к серой подруге
прижал возле берега страх.

И веки сомкнулись у лилий.
И замер в канаве осот...
Отвесной лавиною ливень
на плечи нам хлынул с высот.

Два сердца в гудящей Вселенной
слились, как единая гроздь,
меж миром монеты разменной
и вечною россыпью звезд.

А сила стихийная крутит
громады ревущей воды.
И не зацепиться за пруттик,
и в край не вцепиться звезды.

* * *

Добра людского и людского зла,
схлестнувшись, тени падали на полночь.
Душа моя горела и звала,
сама не ведая кого, на помощь.

Сквозь все пространства мчались поезда
и возносили в небо позывные.
И голубая вздрогнула звезда,
откликнувшись на горести земные.

Звезда, которая тем только и в долгу,
что так недосягаемо светила,
меня услышала и вольтову дугу
меж небом и землею прочертила.

И посреди полночной немоты
душа моя и тело ликовали...
И проступило вновь из темноты
спокойное сияние овала.

Так проступали в детстве образа,
когда пред ними гасла вдруг лампада...
О неужели эти синие глаза –
не вымысел,
а подлинная правда?!

* * *

Безбрежного безмолвья миражи...
Молчание, подобное бездарной краже...
Родилось слово о любви – скажи.
Спешి сказать. Потом уже не скажешь.

Пока душа, и разум твой, и плоть,
судьбе подвластные, в согласье,
не торопись всплеск чувства побороть.
Оно и так когда-нибудь погаснет.

И слово отзвенит, словно ручьи,
весне несущие свой гимн по весям...
Родилось слово о любви – вручи
так алчущему слова –
старцу иль повесе.

* * *

Взять лодку и надежное весло,
чтоб в зыбкой бесконечности разведать,
где прячется добро, откуда лезет зло,
и дым противоречия развеять.

Взять лодку и в неведомое плыть
мимо трибун, витрин и кабинетов,
откуда так и брызжет прыть
заранее придуманных ответов.

Взять лодку – древний символ рек –
и плыть не по – против теченья,
чтоб броситься – в тиши библиотек –
в объятья знаний, а не поученья,

листая фолианты, словари,
тома таинственных умосплетений,
где бродят между строк поводыри –
бессмертных гениев седые тени.

Взять лодку и – подальше от грехов –
уйти в себя, оставив хаос внешний...
Не вымолить прощенья у богов,
не выпестовать праведных стихов,
не становясь честнее и безгрешней.

* * *

Упали на самое светлое
тени.
И где они – дали?
И где они – выси?
Клянусь:
даже словом тебя не задену.
Клянусь:
не притронусь к тебе даже мыслью.

Уйду.
В твоих солнечных стенах оставлю,
что я так берегла, дорожила чем, –
веру.
Только ты за спиной
не захлопывай ставни.
Только ты за спиной
не захлопывай двери.

Если можешь,
постой у распахнутых окон
иль рукою взмахни невзначай
у порога.
И пойми, что туда,
где мне так одиноко,
и трудней, чем к тебе,
и длиннее дорога.

* * *

Опора. Как нужна опора –
сколь ни живи, сколь ни иди.
Ее, как маковку собора,
глаза искали впереди.

Не ради выгоды, а – дела,
среди взглядов, в коих ложь на дне,
как я надежности хотела,
уверенности в каждом дне.

Когда ж бронеподобны лица
и легче, чем спасти, проклясть,
хотя б за стебель ухватиться,
чтобы не согнуться, не пропасть

бесследно. Вновь тянуться к людям,
какой бы не нахлынул мрак...
В час очищенья Бог рассудит.
В час очищенья даже руды
кипят, отбрасывая шлак.

Алексей СМИРНОВ

ДВЕСТИ СТРОК

СОЛНЕЧНЫЙ КОНВЕРТ

Маме

Когда не с почтальоном, а само
Из синевы, назначенной высотам,
Мне спустится бумажное письмо,
Чьи клеточки подобны частым сотам;
Когда, сближая нынче и вчера
В послании своем высокогорном.
Его унижет почерком узорным
Не пасечник, а певчая пчела,
Я восприму тот солнечный конверт
Как сотворенный Флорою подарок,
Как ею адресованный привет
В листочках клейких вместо пестрых марок.

ЧАРЛИ ЧАПЛИН

А попрошайка, вышедший пройтись без всяких дел,
Цветок от грусти высохший себе в петлицу вдел.

Хоть дружит с подворотнею давно его кино,
Осанку благородную унизить не дано.

Приклеенные усики и черный котелок.
Смущаясь, глазки-бусинки глядят куда-то вбок.

Штаны на недоросточка, хлобыщут башмаки.
Но! Щегольская тросточка кружит вокруг руки.

Не радость ли подарена на удивленье всем?
Приглашена окраина на раут в Букинге.

Уроки элегантности беспечно, как пустяк,
Дает мужам галантности бродяжка и босяк.

Метнет валета по столу, расслабится и вдруг,
Курнув, сигарку толстую погасит о каблук.

Пока крутилась тросточка и за собой вела,
В его петличке розочка сухая – расцвела!

БОСФОР

Никогда я не был на Босфоре.

С. Есенин

Никогда не пел я в общем хоре.
Хоть бы в анти... Каюсь. Виноват.
А взамен воззваний на заборе –
Мне чертил эпюры сопромат.
И пока в лесах сырых и прелых
Собирают бардов, как опят,
У меня на пламени горелок
Колбы Эрленмейера кипят.

Верю я «де фактам», не «де юрам».
И меня под топот трепака
Не швыряли в трюм московских тюрем
На манер крутого Маяка.
Фронда Фронд – седые диссидентши
Не зазвали под опавший клен;

Как ерша, в участке засидевшись,
Не ловил по заводам мильтон.

Бросив караульщикovu келью,
Сунув в рот, как соску, свой свисток,
Слух не оскорблял визгливой трелью
От натуги лопавшихся щек.
Что – мильтон? Артроз его тревожит.
Человек семейный. Много лет.
Скоро бегать он совсем не сможет.
Разве по квартире. В туалет.

Нет, не он за долгой тенью гнался,
Как столяр, с подметкой на клею.
Это я за *Мильтоном* гонялся
В том давно потерянном раю,
Где осталась у меня в фаворе
Пара фот, оправленных в овал.
Вот и все, что есть... А на Босфоре
Я, признаться, тоже не бывал.

ЛЕМНОС

Эта женщина – игрушка;
Как инфанта, хороша.
С ней и весело, и грустно
Раскрывается душа.
По руке и рукавица.
Пясть горячая нежна.
Кто она? Отроковица
Или верная жена?

Но не зря мечтою мучат
Сокровенные черты,
Обольстительны, как участь

Обреченной чистоты.
То опустится несмело,
То закружится, шутя.
В путь! К святилищу – на Лемнос
За собой зовет дитя.

Купол звезд мерцает кругло.
Ворох кукол на руках,
И сама она, как кукла,
В твердых, с пряжкой, башмачках.
Припадают к ней олени,
С ней волне не клокотать.
Как теплы ее колени,
Тонки токи в локотках!

У святилища Гефеста
На пустынном берегу
Я ее своей невестой
До рассвета нареку.
Длинно вспыхнет алый факел
И погасит след слезы.
И прижмется к сердцу ангел,
Пьющий хмель ночной лозы.

БРИТАНИЯ

Где ветер от прежних штормов не досох,
Как веером брызнув сквозь сито,
Из палого луба, приблудных досок
Исправная палуба сшита.
Гуляя, на шканцах плясала волна,
К тунцам посылая британца,
Как вывертам Вита училась она
Извивам и вывихам танца.

Как будто бы ей подмешал спорыньи
Нечистый, скользнувши по доскам,
А море вертело воронки свои
На плоскостях, драеных воском.
Недолгие сроки Господь отмерял
Команде девятого вала,
Но мертвою хваткой сжимал адмирал
Кривую корягу штурвала.

Ладони в нагретое древо вдави,
Пусть пытку последнюю примут,
Пока ни забрезжит по курсу вдали
Проверенный бурями Плимут.
Не так ли поднялись, – как встарь паруса, –
«Спитфайеры»* в огненной свалке,
И жизнью закрыли врагу небеса
Наследники этой закалки?!

* * *

Из волнистых, извилистых створок,
Уснавивших морские луга,
Море выберет капелек сорок,
Не спеша расточать жемчуга.

Пусть другие до времени зреют
В глубине недоступной для глаз,
А над ними за парусом реют
Сорок чаек, меняющих галс.

В ком от юности дар обнаружен,
Кто в ночных волхованьях окреп,
Те молочным свеченьем жемчужин
Узнаются на склоне судеб.

* Английские истребители времен Второй мировой войны.

ПРАГА

Наташе Смирновой

Львиный коготь, царственная лапа.
Смутной амальгамы зеркала.
Я не соглашусь, что Прага – злата.
Нет, она из плюмбума-стекла.
Тот, кто этот дивный город выдул,
воздух набирал полтыщи лет,
А потом единым духом выдал
без внесенья постепенных лепт.
И не просто выдул из расплава,
из кипящей гущи хрусталя –
О, искусства славная расправа
над богатством, что хранит земля!
В закоулках путайтесь, потомки.
Здесь клубятся в глубине углов
Маленькие, теплые потемки с воркотней
сердечных стариков.
Блики окон, кровли, шпили, кромки,
отблески на лицах кружевниц
И трамвай с крутой бегущий горки
вдоль мансард и красных черепиц.
Здесь зимой придет пора каминам;
тут с мечтою древний труд постичь
Из трубы, окуриваясь дымом,
вылезет чумазый трубочист.
Отчий дом ему – родная крыша.
Самый вид окрест его целит.
Только он да Бальзаминов Миша
так умеют приподнять цилиндр.
Город пахнет прогоревшим углем,
как «титаны» дальних поездов,
Тех, что облакам его округлым
посвящают свой прощальный зов.

«Дайте лишь приказ. Надвинем каски.
Твердо ляжет на курок рука,
И враждебный мир хрустальной сказки
захрустит под камнем каблука.
Разнесем кирзою и прикладом, в сердце
с кровью всасывая зло.
Из брони ударим по фасадам. Да и что там бить?
Одно стекло...»
Время их могилы раскопало, нет захоронений костяней.
На колени, тени тех капралов! На колени, тени их теней!
Вы чужой не разумели боли, за собой оставив битый лед,
Осудив на двадцать лет неволи призванный
свободою народ.
И лелея вóйны, как искусство, не чинили над собой суда.
Вас не жгло мучительное чувство горького
державного стыда.
Я наследство ваше не приемлю,
весь пиратских навыков запас.
Я за вас оплакал эту землю, повинился перед ней за вас.
Как остры и щедры ваши яства, как любим
ваш доблестный патруль
Мне расскажут камни Ново Место в выщербах
трассирующих пуль.
И взойдет над Прагой в год девятый –
над булыжной плахою из плах
Добровольным пламенем объятый брат мой Палах,
обращаясь в прах.
Черный ворон на откосе каркал.
Невозбранны скверные дела.
А по склонам Стромовского парка розовая сакура цвела.
Мостики, фонарики, цепочки... Помню
в предрассветной тишине
Тихий шорох голубиной почты, доносившей
весточки ко мне.
На Москве трубит капралам слава.
Ноша покаянья нелегка.

ПЕРЕВОДЫ

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

(фрагмент)

С древнерусского

...На Дунае
Слышен голос Ярославны,
Кукушкой неведомой
Кличет ранехонько,
Плачет:
«Полечу зегзицею по Дунаю,
Омочу рукав бобровый
Каяле-реке,
Утру князю кровавые раны
На груди богатырской».

Плачет Ярославна ранехонько
В Путивле на гребне стены, причитаючи:
«О, ветер, ветрило!
Зачем, господине, навстречу веешь?
Зачем на крыльицах легких
Мчишь хинские стрелки
На воинов лада моего?
Или мало тебе было под облаками веять,
Корабли в синем море лелеючи?
Зачем, господине, веселье мое развеял по ковылю?»

Плачет Ярославна ранехонько
В Путивле на гребне стены, причитаючи:
«О, Днепр Словутич!
Ты пробил каменные горы
Сквозь землю Половецкую.
Ты лелеял на себе Святославовы ладьи
До стана Кобякова.

Прилелей, господине, ко мне ладу моего,
Чтоб не слала о заре слез ему
На́ море».

Плачет Ярославна ранехонько
В Путивле на гребне стены, причитаючи:
«Светлое и тресветлое солнце!
Для всех ты и тепло и прекрасно:
Зачем же, господине, простерло ты горячие лучи
СВОИ

На воинов лада моего?
Во поле безводном
Жаждою им луки изогнуло,
Заточило печалью
Колчаны?»

Александр ПУШКИН

С французского

МОЙ ПОРТРЕТ

Портрет вы попросили мой,
Чтоб верен был натуре.
Примите ж, друг мой дорогой,
Его в миниатюре.

Я здесь повеса и школяр,
Фривольный забияка,
Но только не глупец-фигляр,
Жеманик и кривляка.

Нет, не родился тот крикун,
Тот говорун Сорбоны,
Что был бы более болтун,
Чем ваш слуга покорный.

Я в долговязые не рвусь,
Мне это не по праву.
Зато я свеж, зато я рус,
Зато курчав на славу.

Всегда толпе шумливой рад,
Я не терплю разлуки.
Мне препирательства претят.
Отчасти и науки.

Но балы!.. Вот что я пою.
И если ближе к цели,
Сказал бы, что еще люблю,
Когда б... не был в Лицее.

Предоставляю вам предлог
Узнать меня повсюду.
Каким создал меня мой Бог,
таким я и пребуду.

В озорничаньях сущий бес,
В ужимках обезьяна.
И ветрен, ветрен – вот, как есть,
Весь Пушкин без изъяна.

Ситаншу Яшачандра
МЕХТА

С гуджарати

ЗАСУХА

Индологу
Людмиле Васильевне Савельевой
от переводчика

Уже целый месяц, если не больше, высыхает колодец.
И с месяц, как на его стене показалась старая черепаха,
похожая на адамово яблоко, вырезанное из камня.
Уступы окрестных гор напоминают сверкающие
под солнцем
язычки воды. Они переливаются и слоятся.
Настежь распахнуты
пасти дверей. Словно слюна, капают оттуда
последние капли
плавающей смолы.

Мать правильно предупреждала: после черепахи
на стенке колодца появится высеченная из камня рыба.
Посвети на нее электрическим фонариком, разгляди ее
повнимательней. Нельзя допустить, чтобы колодец высох.
Но кто же, страдая от жажды, мог ожидать,
что стены колодца настолько обнажатся!
Вслед за рыбой испуганной глаз фонаря, наверное,
выхватит из темноты измученного зноем крокодила.
Потом – дышащую тушу бегемота. А следом –
этого не могла представить себе даже Мать –
возникнут парящие морские коньки.
И вот – они действительно показались здесь,
морские коньки, скрывавшиеся веками под толщей воды!
Итак, в это страшное пекло, когда вода
опускалась все ниже и ниже, а колодец

пересыхал все сильнее и сильнее, вдруг
послышалось ржанье коньков, живших в проломах стен.
И ведра наполнялись уже не водой, а их сумасшедшим
ржанием, плескавшимся через край.

А потом появились пантеры...

Теперь я боюсь, что если попробую связать куски веревки
крепким узлом первой брачной ночи, как в сказке,
то никто мой узел уже не развяжет.

И тогда туго натянутся веревки, чтобы из этого глубокого
неведомого вытащить ведро, переполненное слепыми
летучими мышами, и крылья их будут биться

и вздрагивать;

сухо шуршать друг о друга.

Во время засухи в пустынный полдень раскаленное небо
тайком сходит по склонам гор на землю и незаметно
опускается в колодец. Осторожней!

Сейчас может проснуться
рыба и особенно пантеры – гибкие черные кошки,
спящие на стенах колодца!

Небо пересохло от жара. Зной, как петля, перехватил горло.
Но смелости недостает, чтобы снова погрузить

в колодец ведро.

А когда железные крючья уже готовы поднять его,
опущенное на самое дно, вертлявые пантеры затевают
бесстыжую возню, и совестно включать фонарик.

И все-таки должны мы или нет вытягивать

железные крючья,

чтобы поднять несчастное ведро?!

Во время такой засухи всегда есть опасность, что крючья
могут оставить на стенах странные следы, напоминающие
золотых младенцев в заброшенных пещерах –
в случайных пещерах видений.

Пласты глины, которой обмазаны пол и стены дома,
растрескались; в комнатах много щелей. Из них ползут

и ползут всевозможные твари. Стыдно, но что поделаешь?
Водопроводный кран чуть-чуть подтекает.

Однако – кривой и горячий – он перестает течь совсем
каждый раз, как только подставишь под него ведро.

И уже начинаешь думать: а зачем обмазывать глиною пол,
если завтра же он весь растрескается снова?

О, жажда! Вырванная ночью из горла, она
возвращается утром, полыхнув, как брошенная в лицо,
объятая пламенем простыня! Ты пытаешься увернуться,
прячешь лицо в ладони – никуда от нее не деться.

Жажда! Язвящими огненными струйками

прокрадывается она

между пальцами к запекшимся губам, втекает в ноздри,
иссушает глаза. Она проникает в горло, уходит

внутри тебя,

поражает каждую клетку.

Наш домашний колодец, наверно, совсем пересох.

Мать говорила: после черепахи появится рыба, а потом –
голубые киты. Что за вздор? Но я помню,

и это не суеверье,

как Мать предостерегала – я точно помню: если колодец
высохнет, говорила она, – нет, нет, это не сказки про
черных пантер и морских коньков, но если, в самом деле,
колодец высохнет весь – до дна – в эту страшную засуху,
то через месяц или немного позже из него – по стенкам,
по крючьям, по обвисшим веревкам –

выползет множество

муравьев. Они заполнят его до самого верха, до края.

Муравьи ползут из-под фундамента нашего дома.

Несметные полчища.

А потом во всех комнатах, на крыше, на слоистых
склонах гор, сверкающих под солнцем, как язычки воды, –
езде, – вы слышите? – везде будут муравьи, одни муравьи,
только муравьи, муравьи, муравьи, муравьи, муравьи...

Лилия СОКОЛОВА

НАСТАЛО ТАКОЕ ВРЕМЯ

НАСТАЛО ТАКОЕ ВРЕМЯ

Настало такое время:
Уже не нужно растить детей,
Но еще можно сажать деревья –
Хотелось бы – кедры,
Чтобы лет через сто
Здесь звенела кедровая роща.

Уже не нужно думать о будущем –
Оно для всех неизбежно.
Но еще можно радоваться
Апрельскому солнышку
И ноябрьской слякоти –
Невозможно одно без другого.

Уже не нужно лгать себе,
Что «свобода – это осознанная
необходимость»,

А просто свободной быть.
И писать стихи ночью весенней:
Если поют соловьи,
Все равно не уснешь.

Вот такое время настало.

НОЯБРЬСКОЕ. БЕЛЫЙ И ВОЛЬНЫЙ СТИХ

Ноябрь неприкаянно мечется:
Еще не зима, но уже не осень.
Сыплет дождем колючим,
Несерьезным первым снежком,
Грезит ночами длинными
О бабьем лете,
Что мелькнуло за горизонтом
Миражом золотым и синим,
Журавлиными стаями.

И безвозвратно исчезло.

Но ты не печалься,
Мой милый Августин!
Раскрывай поскорее свой зонтик зеленый.
Мы-то с тобой дождемся
В апреле подснежников белых...

ИЮНЬСКОЕ

Одуванчики на лугу
В свете заката
Как тысяча маленьких лун.
Но лишь налетит ветерок,
Завершат свой жизненный цикл,
Чтобы тысячью маленьких солнышек
Украсить майский денек.

РАЗГОВОР

Он: Скажи, что со мною ты сделала?
Сам я все это понять не могу,
А у меня уже взрослые дети
И много дорог позади.

Но, как мальчишка глупый
Каждый день тороплю минуты,
Чтобы настал поскорее вечер,
Когда я снова увижу тебя.

Жду твоего звонка, как счастья,
Ношу с собой телефон.
И каждый раз замирает сердце, когда он звонит,
Но это снова – не ты.

Имя твое – самое нежное женское имя,
С ним засыпаю и просыпаюсь.
А когда особенно одиноко и грустно,
Повторяю его как молитву, как заклинанье,
И становится легче.

Скажи, что со мною ты сделала?
Сам я все это понять не могу.

Она: Мой ненаглядный! Я ничего не делала.
Я просто очень сильно тебя люблю.

ПОЦЕЛУЙ

Когда ты меня целуешь –
Прекрасные нежные розы
Раскрывают свои бутоны
Навстречу солнцу.

Все пиротехники в мире
Разом
Взрывают свои петарды –
Глобальный Вселенский салют.

И какие райские кущи

Могут близко сравниться
С этим земным блаженством –
Когда ты целуешь меня.

УЛЕТАЮТ ЖУРАВЛИ

Черный клин журавлей
В синем небе бабьего лета,
Как стрелка компаса –
Строго на юг.

Их прощальная песня
Мне и тебе –
Многие не вернутся.

Зачарованно смотрим
Вслед улетающим птицам,
Пока последние точки
В синеве не растают.

Так и мы уходим
В назначенный срок.

Почему никогда не видим
Их возвращения,
Чтобы смеяться,
Хлопать в ладоши,
Кричать «ура».

НАСТУПИТ АПРЕЛЬСКИЙ ВЕЧЕР

Наступит апрельский вечер,
Когда ты откроешь калитку
Моего сада.

И для меня исчезнут
Небо,
Весна,
Деревья.
Останутся только
Глаза твои.

И голова привычно закружится.
И ты тихо скажешь мне –
«Здравствуй».

ВЕСНА В ГОРОДЕ

Сугробы еще как айсберги
И спорят кто круче,
Но их вершины уже черны от воды.

А рядом на буром пригорке
Три крошечных солнышка –
Цветы мать и мачехи.

Уходит зима.

Людмила СОКОЛОВА

ТЫ ВСЕ-ТАКИ В НАШУ ПОРОДУ

*До сих пор продолжаю слышать вопросы —
где — до самых колен — твои русые косы?
Отвечаю с отчаянием в очах —
остались у молодости на плечах.*

Нина Саницкая

Дарья, когда думала о родном отце, никак не могла вытянуть из памяти его образ. Всплывали перед глазами: крепкие мужские руки, которые подняли ее с пола совсем маленькую и усадили на высокие колени; большие ладони, на которых умещалась пара крохотных детских ботиночек коричневого цвета, связанных между собой узлом шелковых шнурков. Припоминала длинные пальцы с крупными плоскими ногтями. Ловким движением эти пальцы надели ботиночки на Дашины ножки, медленно зашнуровали их, завязали бантики. Когда он ушел, на вопрос внучки: «Кто это?», — бабушка коротко ответила: «Дядя. Чужой дядя. Чу-жой!» Больше она его никогда не видела.

Иногда ей казалось, что эту картинку из глубокого детства нарисовала себе сама из разговоров взрослых, когда речь заходила о том чужом дяде.

Дашину маму — Прасковью — рано выдали замуж. Рассуждая, по-крестьянски, просто и мудро — одним ртом в семье меньше. И она ушла жить к мужу в далекую деревню, в другую семью. А через год вернулась в родное село с огромным округлым животом.

В те времена мужики искали лучшей доли и косяками уходили из деревень на заработки в шахты Донбасса. Без мужа некому было взять под защиту молодую жену.

Свекровь, которой невестка не нравилась, изводила ее. Прасковья защищалась, как могла: «Не я Вам нужна, а приданое мое!» Она ушла обратно к матери и больше не возвратилась.

Шли годы. Дарья уже училась в медицинском училище в районном городишке местного значения и на летние каникулы отправилась к маме в отчий дом. Открыв дверь хаты, пройдя сени, услышала впереди голоса. В зале за столом сидели мама и незнакомая статная женщина с копной темно-русых волос на голове, собранных в сложный пучок. На плечах у нее лежал нарядный, цветастый платок.

«Познакомься, Даша – это тетя Настя, родная сестра твоего кровного отца. Зовет тебя в гости проведать бабушку по отцовской линии», – жестко произнесла мама. Дашино сердце готово было вырваться из груди. Кровь ударила в лицо и она, откинув длинные, тяжелые косы через плечо, как-то робко двинулась вперед в распахнутые для объятия руки новообразовавшейся тети, испытывая тревогу, робость и смутение. «Давай поживешь у нас с недельку. Бабушка очень хочет тебя увидеть. А потом догуливай каникулы здесь у себя», – грудным голосом произнесла тетя. Воспитание было строгое, родительскому слову не перечили, и Дарья исполнила материнский наказ.

В дальнюю деревню с тетей отправились пешком. По пути посадил их в телегу старый однорукий почтарь, то и дело подгоняя тощую кобылу, причмокивая: «Но-о-о-о! Давай, давай! Пошла-а-а-а!»

Слева и справа от дороги растекались розовые поля цветущей гречихи, над которыми жужжали пчелы, собирая ценный нектар. Зеленые посадки пирамидальных тополей отделяли одно колхозное угодье от другого. Дальше по дороге голубыми волнами колыхалось от ветра льняное поле. Высоко в небе зависал и звенел жаворонок.

А там за бугром уже виднелась деревня, куда направлялись попутчицы. Юная девушка, от стеснения, голову боялась повернуть в сторону новой родственницы, чтобы лучше ее разглядеть и запомнить.

Во дворе на длинных ногах со шпорами квохтал пестрый петух в окружении разноцветных курочек. Лаял пес на цепи, исполняя служебный долг перед хозяйкой.

В богато убранной хате, около окна, в кровати лежала исхудалая бледная старуха в белом платочке в мелкий горошек, повязанном острым домиком над прямым пробором седых волос. Ее жилистые руки были вытянуты вдоль туловища поверх кипенно-белого пододеяльника с многорядной мерезжкой по центру.

«Вот я – твоя еще одна бабка! Не держи обиды, что впервые повидались. Все мы ходим под Богом и только перед ним будем держать ответ за свои деяния. Подойди поближе. Хочу рассмотреть родную кровиночку. Какая рослая и пригожая!.. Я для тебя приготовила портрет твоего отца», – таким же грудным голосом, как у тети Насти, с хрипотцой произнесла старуха. Она вытащила из-под подушки завернутый в чистую тряпицу сверток и вручила внучке. Дарья развернула сверток. Там находилась портретная фотография отца, которого она прежде не видела. Серьезное худое лицо с усами и пронзительным взглядом.

Вон он какой, оказывается, мой кровный отец! Красивый!.. – рассуждала про себя Дарья. Вернусь домой и попрошу близкого по духу другого, кого величала отцом, сделать для портрета деревянную рамочку со стеклом, повесить в хате на стену около той фотографии необыкновенной красоты женщины, сидящей в старинном кресле с распущенными длинными до колен, вьющимися волосами. Отец привез эту фотографию из Петербурга, где служил в царском полку. Имел три Георгиевских креста, которыми маленькая Даша в детстве играла и дорожила этаким драгоценностью. После

революции отец оказался в глухом, далеком селе, где учительствовал.

Она еще не знала, что примчится с поля домой мама, увидит фото первого своего мужа, сорвет со стены рамку, поднимет над головой и с силой бросит об пол, будет топтать ее ногами. Трясущимися руками поднимет фотографию, порвет в мелкие клочья так, что невозможно будет собрать ее.

...Еще, вспоминала Дарья: отец учительствовал и занимался ликбезом на селе – ликвидацией безграмотности среди крестьян. В их избу поздно вечером, когда закончены колхозные работы и хозяйственные дела по двору, приходили крестьяне со своим табуретом. Рассаживались. У каждого при себе должна быть дощечка в размер тетрадки, чтобы легче писать чернильным карандашом. Так наставлял их отец. Сам смастерил школьную доску, покрасил в черный цвет. Мела было предостаточно в глубоком овраге около овчарни, бери – не хочу. Мама, уже имея трех детишек, сидела со всеми вместе и познавала сложности азбуки и арифметики. А когда прочитала по слогам первую книжку «Барышня-крестьянка», усадила дочку на лавку и возбужденно пересказывала содержание и очень гордилась собой.

Совсем маленькая Даша лежала на печке на животе и со взрослыми внимательно слушала своего первого учителя, запоминала все чему отец учил крестьян.

Дарья всегда удивлялась, как за короткое мгновение бывает, что в голове промелькнет аж целая жизнь.

Она и медучилище выбрала не случайно. Мечтала стать доктором, чтобы в дальнейшем изучать сложную работу головного мозга.

До нее не сразу дошло, что любимый отец вовсе не отец, а отчим. Когда она двухлетняя звала: «Папа!», старший брат Степан с силой до боли прижимал ее к стене и сквозь стиснутые зубы хрипел: «Это мой папа, мой – а не твой». Дарья с полной уверенностью считала, что она

Шестопалова, как все в семье и до слез не могла уразуметь, почему в первом классе учительница вызывала ее: «Даша Гайваронская – иди к доске!»

Отца она безумно любила. В нем нравилось буквально все, начиная с имени Георгий, которым она обязательно наречет своего первого сына. Отец отвечал ей тем же.

«Папа, сделай мне лыжи. Я буду с ребятами с горы кататься», – просила Даша. И он выстрогал для нее маленькие широкие лыжи для валенок. Вся сельская детвора завидовала ей. В другой раз: «Папа, сделай мне коньки, я буду с мальчишками по льду кататься». И он для нее смастерил конечки с закругленными концами, которые когда-то видел в Петербурге на задорных барышнях, смело скользивших по катку на Неве. По застывшей рудке* с пацанами счастливая Даша расстегнет пальтишко, развернет по ветру полы и летит, как легкий листик с деревца, по льду прямо до своей калиточки. Однажды так быстро катила по льду, что угодила в прорубь. На крики ребят примчался отец и спас ее. Мама всегда ворчала на мужа: «Балуешь ты ее! Девочке за прялкой сидеть надо, а не на коньках баловаться!..»

Темными зимними вечерами маленькая Даша, бывало, встанет перед окном и будет рассматривать сложный таинственный рисунок на заиндевавшем стекле, вытянет маленькие губки, дыхнет теплым воздухом на фантастические белые леса, горы и пальчиком будет вырисовывать кружок в синюю сказку, быль и небыль. «Папа! Посмотри, какая огромная собака глядит на меня!» И потом услышит уже с улицы: «Васи-и-и-лий! Хватай вилы-ы-ы! Волки-и-и! Гони-и-и их!»

Под Рождество отец нарядит пятилетнюю Дашу в новенькое длинное в пол платьице, на вырост. Укутает тепло, посадит в саночки и повезет на школьное выступление. Там поднимет на высокий табурет, вставив ее коротенькие

* Рудка – ржавое болото, грязный пруд.

ножки в свои блестящие военные сапоги, и она, задрав голову, громко и выразительно станет читать: «Откуда дровишки? – «Из лесу, вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу...», – не замечая, что голенища хромовых сапог больно врезаются в паховые складочки. После выступления ее наградили ценным подарком – большой красивой книгой Александра Сергеевича Пушкина.

...Дарья в смятении искала предлог, чтобы поскорее вернуться домой. Сказала тете, что надо помочь маме, – с тем, чтобы они отпустили ее.

Тетя взялась показать более короткий путь домой. По дороге что-то рассказывала, объясняла. Дарья почти не слышала, пребывала в задумчивости. Когда поднялись на взгорье, открылся красивый вид на просторы и необъятное небо с быстро плывущими крупными белыми облаками.

Из забытья ее вывел голос тети: «Вон там, видишь твое село. Я немного постою и посмотрю за тобой. Когда пройдешь густые посадки, там тебе страшно уже не будет. А сейчас давай, распустим наши волосы, как на Благовещение, когда *«птица гнезда не вьет, девица косы не плетет»* и нехай вольный ветер поиграет с ними».

Она помогла расплести русые косы племянницы. Пальцами, как гребнем, расчесала и распрямила их. Затем стала медленно вынимать из своего пучка шпильки. Вынула последнюю – и волосы тяжело каскадом упали сначала на плечи, затем на спину и рухнули ниже талии. Пятернями двух ладоней она потрепала их, потрясла головой, дала свободу.

Они стояли на возвышенности рядом: взрослая женщина, повидавшая разное в жизни, и юное создание, перед которым это разное только разворачивалось. Задрав головы и вытянув шеи, развели руки в стороны, как крылья у птицы навстречу ветру и долго молчали, молчали, молчали...

«А ты все-таки в нашу породу, Да-а-арьюшка-а-а!» – прокричала тетя Настя, чтобы услышала племянница, когда

та побежала с горы в сторону посадок. Ветер шумел в ушах, сильно колотилось сердце, неведомое волнение сжимало грудь, и комок горечи стоял в горле.

Дарья неслась вниз и помыслить не могла, что мчится она совсем в другую жизнь, что через несколько дней начнется война, ломая и корежа страну, судьбы людей, отменяя встречи и свидания, унося молодость и любовь.

И в той войне не станет ее ангела-хранителя – любимого и надежного отчима...

Виталий СПИДЧЕНКО

ЖЕЛАНИЕ ПУТИ

* * *

Неведомо откуда прилетела под вечер
стая черных птиц и села на уже вспаханную землю.
И повела на ней ночь,
молча и почти без движения.
А наутро она снялась и улетела.
Земля осталась землей.
Только после этого она семь лет не рожала,
а по ночам вздыхала так,
что скрипели избы в соседних деревнях
да крестились старухи.

* * *

Соедини нас, случай, хоть на миг,
Той незаметной нитью паутины.
Пока еще друг друга нелюбимых,
Соединяя все от нас возьми.

На перекрестьи одиноких душ
Прекрасное, не стань напрасным.
Соединись прекрасное с прекрасным,
И таинство живого не нарушь.

И обручи в прохладе и тени,
Скрывая от завистливого взгляда.
Соедини хоть сном, хоть снегопадом,
Хоть звездной нитью нас соедини.

* * *

Когда безвременье бессилья,
Когда на душу воронье,
Одна мне помощь в этом мире –
Существование твое.

Когда в беспамятстве задремлю,
На шаг вступлю в небытие,
Одно меня вернет на Землю –
Существование твое.

Звени струной волшебной лиры,
Свети как Солнце на жнивье,
Одна мне радость в этом мире –
Существование твое.

* * *

Желание пути –
Сильнее всех желаний.
И то, что впереди,
Желаннее, чем жизнь.

Я слышу, как глухой,
Орган зарниц бескрайних.
Я помню, как слепой,
Все тропы во степи.

И все, что мне во след
Петь и шептаться будет,
Я унесу с собой,
Чтоб выжить в той стране.

Желание пути.
Там молнии мне судьи,

Там можно поиграть
Рукою на огне.

* * *

Апрельский лес, февральская пурга,
Примите же мое прикосновение.
И первый лист, и вьюжные снега
Как беспокойные желанные виденья,

Я в Вас живу, а Вы живите мной.
Дышите, чуть заметно, что согласны.
Впустите в незнакомый мир немой
И в клейкой юности, и в снежности прекрасной.

Раскинув руки, обниму метель.
Она в ответ, целуя, жжет и тает.
Бунтарь февраль, свирелевый апрель
Во мне, соприкоснувшись, прорастают.

* * *

Живет среди улиц и гуляк
Тот полужелтый полумрак.
В нем все неверно, все не так,
В нем все живет с собой, не с нами.

И разбиваются миры
О желтый свет ночной поры.
И кто-то вышел из игры,
А кто-то вновь вошел с тузами.

Жизнь схоронилась в небытье
С седым архангелом на шпиле.
И в этой безучастной были
Живет присутствие мое.

* * *

Люблю течение всяких рек,
Плеск поцелуя с берегами.
И все живущее, как пламя,
И все летящее, как снег.

И трав задумчивый рассказ,
И пение ночного мира.
И пляски пьяного сатира,
С вином вселившегося в нас.

Люблю молчания ладонь,
И память, что сильнее горя.
И тонкий берег между морем
И сушей, красной как огонь.

* * *

Воли мои воли, снега, мои снега...
Горизонт под свинцовым небом,
Степная гладь со счастливой некошенной травой,
И еще, как будто бы ниоткуда,
голос человеческий,
говорящий мне невнятно, но волнующе.
А потом вновь молчание
и Человека, и Неба, и Земли.
Воли мои воли, снега мои снега...

* * *

Я снимаю свой стрекозиный плащ
и укутываю все прошедшее и будущее.
Мне нравится укутывать время
в прозрачную переливчатую ткань.
Жизнь живет по сиюминутным и

справедливым законам.
Сегодня она гениальна от подгулявшего
кузнечика до белотелой Мадам Луны,
ждушей случайной тучки, как веера.
Ночь нашептывает теплую, воздушную
сказку.
Даже дорожная пыль ласкает себя, устав
от дневного безумства.
Время дышит под моим плащом
спокойно и ровно.
Я глажу его и ухожу.

* * *

Бессонные дороги моего сердца,
тупики памяти,
сны ярче жизни...
Какая рыба приплывала ко мне,
когда я жил нерожденным?
Ослепительный блеск умирающей зимы
на Больших бульварах...
Слон, подметающий хоботом
свою судьбу в зоопарке,
вино как счастье, текущее по венам...
Станцуйте мне что-нибудь, звезды!

* * *

Я цепляюсь за все.
За жизнь цветка и дерева,
за тонкие ноги фламинго,
за вздохи Земли,
за свечение всего, что светится.
Я цепляюсь за все.
За взгляды, чей-то шепот
и даже за слезы.

Я цепляюсь за все, за что можно
еще уцепиться.
Лишь бы плыть, плыть, плыть...

* * *

Бредет ночью недотрогой,
Что в дне вчерашнем не сгорело,
И к шестизвездной синагоге,
И к храмам златобелотелым.

И храмы, отворивши двери,
Поют земными голосами.
И судьбы прожитых столетий
Стоят на страже под часами.

Красотка с порванной афиши
Всем улыбается вдогонку.
И свет течет по старым крышам,
Как сон уставшего ребенка.

И стонут бронзовые люди
От холода своих бессмертий.
Лишь шепчут: «Все когда-то будет.
Вы только прошлому не верьте».

И рыщут в улицах недлинных
В тряпье вчерашние тревоги.
И день втекает в свод старинный,
Все пожирая по дороге.

Яков ТВЕРСКОЙ

ДЕТИ СОРОК ШЕСТОГО...

* * *

Г. М. Левину

Дети сорок шестого,
Послевоенные первенцы,
Нами отцы суровые
Отогревали сердце.
Дети сорок шестого,
С надеждой нашей и силой
Мир – полузабытое слово –
Уверенно в мир входило.

* * *

Домой, подальше от пустыни,
К глазам задумчивым твоим,
К пожару красному рябины,
Покрытой инеем седым.
А дома снятся горлиц говор
И лай безудержных собак,
Песков тоскливые просторы,
Самум – привычной жизни враг...
Люблю леса в осенней стыни,
И шепот рек, и свой очаг,
Но небо знойное пустыни
Мне часто снится по ночам.

* * *

*Что мы написать не успели —
Пожалуйста, напишите!*

Нина Саницкая*

Чашу горькую бабью
Вы испили до дна.
Ваши плечики слабые
Обнимала война.

Ваши мальчики нежные
Погибали в боях,
Поцелуи поспешные
Унося на губах.

С ними свадьбы играли
Только в призрачном сне,
Наяву погибали
Вместе с ними в огне.

Частью горя народного
С этих пор навсегда
В вашем доме холодном
Поселилась беда.

Опаленные светом
Той огромной беды,
С каждым новым рассветом
Тают ваши ряды.

Чтобы не было больно
Видеть ваши глаза,
Вашу волю исполним:
Долюбить, досказать...

* Дарственная надпись автору стихов на книге Нины Саницкой «Сокровенное».

БЕРЕЗОВЫЙ СОК

Памяти отца

Березовый – ему он вреден!
– Еще, еще, – просил отец.
Не знал: лишь день ему отведен,
И жизни близится конец.

Отец причмокивал губами:
– Как вкусно, пью ведь в первый раз!
А я лицо закрыл руками,
Чтоб он моих не видел глаз.

Почти теряя сам сознание,
Я наливал проклятый сок –
Отца последнее желание
Я, сын, не выполнить не мог.

И, наклоняясь ниже, ниже,
Совсем касаясь ухом губ,
Последнее, что я услышал,
Слова отца:
– А где мой внук?

Наталья ФИЛАТОВА

ЗВЕЗДНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК

ОТЕЦ

Щемящее «Прощание славянки»
Врывается в торжественный концерт...
Прикрыв глаза, я вижу – от землянки
Внезапно отделился силуэт;
Идет к костру пружинящей походкой,
Туда, где пламя выедает ночь.
Чтоб рассмотреть подробнее на фото
Меня – его родившуюся дочь.
Он вглядывался долго, отрешенно,
И вспоминал впоследствии не раз,
Как в стену, от которой отошел он,
Спустя минуту врезался фугас.

Отец, пройдя по пеплу и обломкам,
Ты верен в дружбе, яростен в бою;
О доблести и подвигах негромких
Из фронтовой газеты узнаю.
И если б знал ты, как тобой горжусь я!
И как сильна я тем, что ты мне дан!
Что славный род веду из Белой Руси,
Откуда родом Марья и Иван.

* * *

Жаворонок милый,
Скоро улетишь,
Станет серой, стылой
Золотая тишь.
Кто потом расскажет
Про колосья ржи?
Ветер тучи вяжет,
Сыплет на межи.
Ночью росы жалят
Поздние цветы.
Небо все печальней да редей кусты.

ДЖИБУТИ

И здесь прошел
Лазурных дней черед,
И мир оделся
Тучами с громами.
В седых барашках
Море предстает,
В зовущих где-то
Пристань кораблями.
Мир сузился
От пелены дождей,
Все смутно, зыбко
На отливе.
Лишь пара
Редких черных журавлей
Перекликается
В заливе...

Ты пожалела мой
 Единый вечер.
Ты думала,
 Что жить мне до утра,
И выпустила в ночь,
 Навстречу,
Навстречу звездам
 И ветрам.
Я потерял твое окно,
 Ведь мир огромен.
Теперь моя душа
 Грустит при свете звезд.
Она скользит
 В крылатом сонме
И ищет то окно,
 Как к жизни переход.

* * *

Как в юности на первое свиданье
Зовет меня Борисоглебский шесть.
Марины здесь бессмертное дыханье,
Ее беззвучный плач, незримый жест.
Под зонтик «Магистрали», к корифеям
Спешу послушницей в знакомый класс,
Где зазвучит, тревожа и довлея,
Стихов и слов ее таинственная вязь.
Я чувствую, расту и изменяюсь,
Здесь пятый пережив февраль.
Я каждый день достойной стать стараюсь
Отметки под названием «Магистраль».

* * *

Еще ходил трамвай по Пресне
В июль, по рельсам разметая пух,
Еще на улице Звенигородской «колорийки» песня
Лилась,

И «ситников» из печки
Доносился дух!

Еще Чернобыль был безвестен,
Ваганов рынок снедью одурял,
В армянской пели Азнавура песни
Тот мир был проще – радостью сиял.
Куда спешим, зачем все усложняем,
Летящей жизни торопливый шаг?
Теперь все чаще «улетантов» провожаем
И время нам не друг, а тихий враг.

* * *

Здесь ливень ширился и длился,
Студил дорожки и лесок.
С настегом налетал и злился,
Гром молнии вонзал в песок.
Бубнил, буянил, хулиганил,
Прошел по клавишам крыльца.
Сухого места не оставил,
Все вымочил он до конца.
Гроза ушла, вся изворчалась,
С собою тучу увела.
И долго даль перекликалась
И блеском молнии цвела.
Уплыли пуховые горы,
И тихо стало без дождя.
Земля дышала во все поры,
И сон нахлынул, погода.

* * *

Пока еще не гаснут фонари
И крылья утра не трепещут,
Пока еще не тает серп луны
И звезды притаившиеся блещут,
Пока еще туман не выплыл из реки
И росы холодом отяжелели,
Пока над лампочкой танцуют мотыльки
И над деревней петухи не пели –
Ночь. Колдовская ночь, сирень.
Чуть вздрагивает месяц очумелый.
Пьянчужка май, он в шапке набекрень,
Без просыпу буянит две недели.
А ты не спи, гляди во все глаза,
Окно души открой пошире.
За дальним лесом слышится гроза,
Ее ворчанье не узнаешь ты в квартире.
В такие ночи и в такие дни
Душа, как радуга, начнет светиться
И телу брэнному на целый год,
Воскресшая, поможет зарядиться.

Ольга ФЛЯРКОВСКАЯ

ЖИВЕМ, ЖУРАВЛИ, ЖИВЕМ!..

ВЕСЕННЕЕ

Завивается стружкой береста на просвет,
Кличет голубь подружку, ищет шмель первоцвет.

Нераспознанной манной тает снега щепоть,
Прошлогодние раны уврачует Господь.

Разлилось бездорожье, день увязнул в меже,
Все творения божьи встрепенулись уже!

В голубом и бескрайнем утопают глаза,
Есть в усилиях тайных одоленья азарт!

Череда превращений у природы в крови –
Отрицаясь отмщеньем, да пребудем в любви,

Звукам речи, и ветру, и ручьям дождевым
Отзываясь навстречу смертным сердцем живым.

ЖУРАВЛИНАЯ РОДИНА*

Они поднялись вожжой**,
до здешних полей охочи,
над первой седой межой,
над Вьюлкой, Сестрой и Хотчей.
Растягом в широкий клин,
смешались с огромной стаей –
аминь, журавли, аминь!
Навеки ли мы расстались?..
В холодный поток ветров
вплетая тела и клетот,
летят вожак на зов
египетских рощ далеких.
Летят... и разлуки грусть
оскоминой сводит сердце...
Родные, счастливый путь!
Глядеть бы, не наглядеться...

Зато как прольется рань
лучом по низине топкой,
как выпустит цвет герань
в горшке на оконной полке –
как – вздохом одним! – весна
попятит снега к оврагам –
чу, звуков дрожит волна,
чу, в небе гонцов ватага!
Живем, журавли, живем
и что-то на свете можем!
Пусть горло слезами жжет
и бродит озноб по коже –

* В Талдомском районе находится заказник «Журавлиная Родина» – единственное место в центре Европейской России, где на осеннем перелете собираются серые журавли, редчайшие птицы Подмосковья. Это имя дал краю М. М. Пришвин.

** Лететь вожжой (о журавлях) – лететь цепочкой.

такая сквозь душу синь
капелью стекает в вечер...
Аминь, журавли, аминь!
И – талой воды – за встречу!

НИКАНДРОВА ПУСТЫНЬ

Вьюнок, кукушкин лен, ползучий белый клевер –
Венка родной земли неяркие цветы.
Влечет меня к себе прохладный Русский Север
Великой простотой разбросанных святынь.
Люпины, резеда, гвоздика полевая,
Черничные кусты в овражине лесной –
Пути к самой себе вернее я не знаю,
Здесь даже чудеса случаются со мной.
Никандровой тропы уложенные бревна,
Радоновый родник – бессонный синий глаз!
Пусть ноги устают, но я рождаюсь словно,
В студеную купель ныряя в первый раз.
Малина на подол украдкой брызнет соком,
Докучливый комар нацелит копьцо,
Тень утки промелькнет в разросшейся осоке
И двери отворит высокое крыльцо!
Обитель тишины, умерь мои тревоги,
Оставь мои грехи и слезы осуши!
Я обретаю здесь, у храма на пороге,
Лесной недолгий рай, пристанище души...

АВГУСТ...

Тянет нивяник зеленые шейки,
Взгляд колокольчика свеж, как и прежде.
Дождь-непоседа из старенькой лейки
Вымочил луга цветные одежды.

Ягодник август, напевник, рассказчик!
Трудно мне будет с тобою расстаться!
Сыростью тянет из порховской чащи,
Ранит осока неловкие пальцы,

Ноет комар-пустозвон, не смолкая...
Спросите: что тебе дорого в этом?
Может быть, это причуда такая,
Может быть, это такая примета —

Кровью черники окрасив ладони,
Тихо смотреть, как у самой дороги
Аисты ходят, что белые кони,
Пряча в траве голенастые ноги?

Август – скитов потаенных смотритель,
Инок Никандровой пустыни дальней...
Тянутся дней паутинные нити,
Полнит вода ключевая купальни...

ИЗБОРСК

И быстрые, и медленные воды,
на городище – ветер и простор,
и ясные прощальные погоды,
и августа рябиновый убор,

и робкое дыхание Успенья...
Три Спаса, отзвонившие зарю.
Пусть будет все по Твоему хотенью,
я медленно и тихо говорю.

Купель охватит обжигом студеным!
Сгорят грехи, и, в дар от этих мест,

Блеснет на солнце алый листик клена –
Родной земли живой нательный крест.

РИО-РИТА

Зацветает заячья капуста,
Спорит с ветром белый первоцвет.
Сил у здешних бабушек негусто,
А дедов давно на свете нет.

Нынче за раздатчицу – Танюша,
Завтра в смену – Клава-каланча.
Нынче не спеши, спокойно кушай,
Не ругнут в столовой сгоряча.

Здесь добавки – редко кто попросит,
Но мечтать над кашей здоровы
Марь Иванна, Капа, тетя Зося –
Три пансионерки, три вдовы.

Русская, хохлушка и еврейка –
Три соседки, словно до-ре-ми,
Три листа иссохших, серых шейки,
Боль войны хлебнувшие детьми.

У одной отец пропал под Клином.
У другой – закрыл бойца в обстрел.
Третий – в синем небе над Берлином
Черной свечкой, падая, сгорел.

В День Победы – торт, кино, тюльпаны.
На ночь – корвалол и капотен.
Слезы хохотушки Марь Ивановны...
Три кровати с тумбами у стен.

Каждый день – один огромный праздник.
Разговоры близкими полны...
– Правнук тети Зоси – вот проказник!
– Только б им не выпало войны...

На троих у корпуса скамейка.
– Надо жить, девчата, хоть умри!
Русская, хохлушка и еврейка.
Звуки довоенной «Рио-Ри...»

ТВОЯ КОМНАТА

Я ныряю в комнату твою,
Словно утка с лету – в полынью,
В мир вещей, живущих в тишине.
Образ этой комнаты – во мне.

Твой домашний войлочный пиджак
На привычном месте – добрый знак.
А из белой рамы на меня
Смотрит мама в отблесках огня.

Мама на Монмартре (месяц, год)...
Тот художник был моделью горд...
Твой рояль... он губы сжав, молчит.
Дождь в окно мелодию стучит.

Стол рабочий ждет знакомых рук,
Над бумагой нотной – лампы круг,
И глядят задумчиво со стен
Пушкин, Шостакович и Шопен.

Я вхожу со шлейфом суеты...
Заливаю каждый раз цветы...
Я хочу понять: а где же ты,

папочка?

БЫВАЕТ, СТРОЧКА В МИР ЗАПРОСИТСЯ...

Бывает, строчка в мир запросится,
В скорлупку сердца постучит –
А ты наморщишь переносицу:
– Не время, дурочка, молчи!

А после – ждешь ее, упрямую,
Ночами стелешь белый лист...
Но не тревожат телеграммами –
Тебя забыл телеграфист.

Одна лишь строчка, слов свечение,
И вот поди ж ты: немота!
Как от младенца отречение,
Как отвержение креста.

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Тенью над вечерней мостовой,
Ласточкой, мгновением распятой,
Ты скользишь... Дрожит над головой
Синий луч звезды твоей – Утраты.
Пленница и беженка Москвы –
Златовласка у золотоглавой...
Не поглотит дымный шлейф молвы
Чистого огня посмертной славы.
Мясорубки адовой жерло
И семью, и жизнь твою втянуло...
Ты глядишь пронзительно светло
На Борисоглебский переулочок:
Лебедь с лебеденком, гулкий звон,
Окончанье праздничной обедни...
Долгих странствий тянется перрон,

И тревожит душу странный сон,
И крюки мерещатся в передней...

Но дана немислимая власть –
Смерть попать певучим русским словом
Той, что не в бессилье духом пасть –
В небо улететь всегда готова.
Той, что всем надгробьям вопреки,
По себе оставила – рябину,
Той, чьи непокорные стихи,
Как рябина поздняя, сладки
И неодолимы... как лавины.

НЕСМЕЯНА

Дмитрию Кедрину

В платьице из сизого тумана
Здесьнего озерного шитья
Краше всех царевна Несмеяна,
Северная родина моя...

Взор открытый с тайною грустиной
Мог бы много высказать тому,
Кто готов почувствовать Россию,
Видеть в ней хозяйку в доме.

Через годы смуты и тревоги,
Войнами сожженные леса
Ты прошла, царевна-недотрога,
Чистая нетленная краса...

За тобой холмы в крестах железных,
Пред тобой поклонные кресты...

Жребий твой – всегда парить над бездной,
Не боясь ни тьмы, ни высоты.

Зацветают слива и шиповник,
Бьют из скал Словенские ключи...
Чтобы нам не сгинуть в тьме духовной,
Говори, царевна, не молчи!

На пирах, едва пригубив чашу,
Ты была полна огня и сил...
Как бы ни был горек день вчерашний,
Новый – свет надежды приносил.

Что же ныне в зарослях бурьяна
Холостые русские поля?..
Ты глядишь растерянно и странно,
Родина печальная моя.

Но пока в тебя мы живы верой,
Судный петел твой не закричит.
И бегут из мхов на камень серый
Звонкие изборские ключи...

КОЛЕЧКО

Не осенним махаоном,
не скворцом,
не люпином, наклоненным
над крыльцом, –
я к тебе приду, дружочек,
просто так,
синей августовской ночи
сняв колпак.

Свет потемки распугает,
настежь – дверь...
В то, что я теперь другая,
ты не верь!
Это время нас морочит,
всех подряд...
Только вижу я: не очень
ты мне рад!

Смотришь долго, удивленно:
– Вы к кому?
– Я... к оставленному клену
моему.
Ветви трогают за плечи,
за лицо...
Положу твое колечко
На крыльцо.

ГЛАДИТЬ ВЕТКИ ТОНКОКОЖИЕ...

Гладить ветки тонкокожие,
Ветер в губы целовать...
Что калики перехожие,
На пути не унывать.

Птиц кормить подсохшим хлебушком...
Снегу петь «за упокой»...
Все глядеть... глядеть на небушко
Над разбуженной рекой,

Где березы хороводятся –
Чуть воспрянули от сна.
Где цвести в Господней горнице
Приготовилась весна!

Мариам ЧАЙЛАХЯН

ПРЯЖА ДНЕЙ

НА СКОРБЯХ ПОСТРОЕННАЯ...

Известный историк искусств Петр Гнедич писал, что «вкуса и изящества в армянской архитектуре, пожалуй больше, чем в византийской, хотя в ней нет той грандиозности, которая поражает нас в иных памятниках зодчества Византии. Армения действовала на нас: многогранный купол, не чуждый нашему стилю, несомненно занесен оттуда». Вот так. Родство душ, родство стилей. Поэтому, вероятно, я всегда спокойно заходила и в русскую церковь. Раньше там много было злобных, а иногда и не очень злобных, старушек. От страха и притеснения они все время были настороже. Скорбь и радость особенно непосредственно ощущается, живет в маленьких соборах, которые умещаются в одном взгляде. Покрова на Нерли. Хочется перецеловать ее всю. Церковь названа мистическим телом Христа, в своей всеобщности названа, а тут она имеет такое прекрасное воплощение. Построена на скорбях и радости. Кажется, Андрей Боголюбский поставил ее в знак победы над татарами и в память о погибшем сыне. Она смотрит в Нерль и радуется, и не узнает себя иногда в минуты праздничного сияния, настолько хороша. Неужели настолько? Да, и даже лучше...

ОБ АРМЕНИИ – ВЕСЕЛО...
(из дневниковых записей, 2004 год)

Встречал Акоп, ласково, терпеливо. Усталое лицо. Как всегда, вез торжественно через центр: «Вот какой он, мой Ереван». Дома сестра Саануш. Прибежала Арманчик, 14 лет не виделись. Одиссей возвратился домой. Араик в родном доме. Наш молодой медовый месяц 30 лет назад. Да-а-а-а...

Попили кофе, повспоминали. Вздремнули немного. Пошли гулять.

Тепло, другие люди ходят по городу. Знакомых, как раньше бывало, нет. Не успевали пройти и двух шагов, как нас засекали. «Вы что, инкогнито в Ереване?» – спросил нас тогда Карен. Немного пыльно, и воздух тяжелый от машин. Кафе-ресторан «Карузо». По просьбе Натальи Краснушкиной фотографировали памятники: Туманяна, Спендиарова, Кара-Дервиша (поэт, который дарил цветы девушкам весенней поры), площадь с фонтанами. Купили мне солнечные очки, красивые, модные. По совету женщины. Капала в глаза левомицетиновые капли, у меня что-то вроде конъюнктивита началось прямо перед приездом в Армению. Тут подходит тетя и говорит: «Как же Вы на таком солнце с больными глазами». А солнце яркое, жаркое, слепит глаза и никуда не денешься. Так и купили в киоске у площади очки, в которых я ходила во все ереванские теплые деньки.

Вечером пошли к Карену и провели совершенно московский вечер со спорами, выпивкой, досиделись до того времени, когда, доброй памяти, наивный Белинский в кругу друзей литераторов, уже собиравшихся расходиться по причине позднего времени, отчаянно восклицал: «Постойте, а мы же еще не решили, есть Бог или нет?». Мы же в это время обсуждали вопрос следующего этапа (прогресс налицо): «В Кого веришь?»

А год спустя мы уже в Москве снова обсуждали тот же вопрос и с той же горячностью, только уже без обаяния

ереванской теплой осени, без радости внутренней, что вот мы в путешествии и в ожидании встреч, интересных поездок и все с той особой трепетностью и обострением всех чувств, когда попадаешь в новые места, а еще более в те, в которых ты когда-то был счастлив.

Есть фотографии с того памятного вечера – мы все улыбаемся в квартире Карена-Риты, мы под памятником Сахарову на площади Азизбекова (она раньше так называлась).

На следующий день в среду с утра были на выставке современного искусства. Старое хорошо, а новое – в Москве сейчас не хуже, а, пожалуй, и лучше делают и смелее, но это трудно назвать живописным искусством, это что-то другое. Мобиле концептуале. Так вот.

А потом Карен нас повез в Эчмиадзин. Сам сидел за рулем. Погода чудная, сад – маленький рай. Офис. Пили кофе и беседовали на богословские темы с монахом, тот курил, залажа ногу на ногу, или не курил? Интересно это все было, весьма...

Спелые, багрово-алые гранаты на деревьях, сквозь желтизну листьев виднелось чистое, голубое небо, храм природы удивителен, тих и благолепен.

В четверг рано утром уехала Саануш в Западную Армению: Карс, Ани, Ван. Мы ее отпустили с легким сердцем – что не спутали ее планы, а сами остались полноправными хозяевами квартиры на Амиряна. Через два дня сломали душ, и мылись, согревая воду в электрическом чайнике.

И весь день лил дождь, и сразу похолодало, мы решили – конец теплу осени, но слава Богу, назавтра все вернулось опять: и тепло, и солнце, и прочее.

Поехали в Сурб-Саркис, церковь, где мы вместе с детьми крестились в 80-м. И сразу попали под перекрест сияющих прожекторов слепительного двухглавого Арарата. И с каменного парапета глянули вниз на быстробегущую Зангу. Все, точно, отметились. Потом прошли по Прошяна к музею Параджанова. Этот дом был построен в последние

годы его жизни (кажется, он там прожил всего год). Фантастический музей, очень в моем духе. Мне тоже часто хочется превратить нашу обыденную жизнь в театр, и записочки, с виду будничные, чуточку принарядив, пустить в жизнь, как некое произведение искусства, своего рода театр-док. Так Параджанов берет записку, небольшое письмецо Тонино Гуэрры, обрисовывает вензелями и вешает на стену, как произведение искусства. Так и папино письмо-поздравление с пожеланиями «Тох Араике мишт сири ир Машенкайин» («Пусть Араик всегда любит свою Машеньку») просто само просится на стенку. Шучу.

А какие коллажи из осколков фарфоровых чашек, потрясающие шляпки, и подарок художнику: туфля грузинской женщины; мощная такая туфля. А туфелька армянской женщины – это золотые сабо из Италии. На одной из наших фотографий видна эта туфелька, она спадает с моей правой ноги, когда я сижу в кафе у памятника Исаакяну.

P. S. Давно это было, но когда мы приехали в Ереван спустя двенадцать лет, в 2016 году, алгоритм нашей жизни был все тот же: прогулки по знакомым улочкам мимо домов из туфа, в которых мы могли прожить всю жизнь, и чувство некоей потери от несостоявшейся жизни в теплом Ереване; чашечки настоящего ароматного кофе во всех кафе, что встречались нам по пути; выставки; рай монастырского пространства: на этот раз это был Агарцин с быстробегущей рекой Агстев и, главное, непременные посещения друзей и родных. Мы словно стремились все увидеть, ко всему прикоснуться, всех перецеловать и ощутить легкое головокружение от избытка чувств и, конечно, от высоты. Все-таки как-никак полторы тысячи над уровнем моря! Моя горная страна, мой Ереван...

КРУГ ИЗ ДЕТСТВА

Лица неясно проступают сквозь пелену времени, зато очень отчетливо слышатся голоса. Причем непонятно, о ком говорят, кого поминают. Это как игра в ответ на предыдущий вопрос.

Маленький человечек с добрым лицом, это – смерть, так, кажется, описывал ее Сароян в пьесе «Голодные», ходит по кругу и задувает свечи, которые они держат. Девять человек. Я за пределом этого круга и человечек говорит: «В последний раз Вы видите их, Ваше последнее слово».

Мы все уже однажды, хотя бы единожды умирали, наши близкие там, не страшно перейти черту, оттуда льется свет, но мы не знаем, что там... Хорошо ли здесь было, когда как, но за все из души льется благодарность. Самое страшное – отречение от себя, предательство души своей. Вот откуда шла на меня напасть, от ближних. Слово «Дуб», сказанное в молодости про меня, не отравило ли оно всю мою последующую жизнь. В таком отрицании я кривилась, изгибалась под любящими и дрессирующими взглядами. И я сейчас могу, и в этом и состоит задор моей жизни, и должна сказать, как Толстой в 14 лет: я поняла, что умнее всех, и с этим надо будет жить. Должно все состояться, чтобы не предать Дар Божий, того, что Господь во мне заложил.

На каждое мгновение можно смотреть и чистыми невинными глазами младенца и очами, сознающими в печали свою конечность.

В знак того, что каждый отмечен рождением и смертью, рядом со мной помещена большая свеча, в рост человеческий. А в руках у тех девяти, что в кругу, маленькие огарки, и каждый раз, когда человечек хочет колпачком накрыть их и затушить огоньки, я незаметно зажигаю лучину и передаю огонь от своей свечи. И огарки только разгораются все ярче. Уходя, вы дали мне такой аванс, что хватит до конца.

Слово к седому человеку, с красивыми глазами и белыми усами, доброму наставнику моей юности, блестящему оратору, близкому другу семьи, которого я в детстве называла Гришич:

– Ты сказал, когда я еще не написала ни слова: «Марочка, ты настоящий, прекрасный поэт». И ведь какой провидец, орфическое истолкование земли – вот что главное теперь в моей жизни.

Слово к другому человеку, с острым сверкающим взглядом и седыми в разлет бровями, из близкого нашей семье рода, художнику и фантазеру, дяде Гене:

– А ты сказал перед смертью жене: «Не забудь дать Маре воспоминания о Бунине». У нас была общая любовь к нему, как на одном дыхании. Найти в 20 лет единомышленника 70 лет – это не всякому дано.

Слово к даме с очень благородными чертами лица, к строгой и гордой тете Майе. Она стойчески проживала свою скромную долю и хранила тайны семейные, как дорогие реликвии:

– А ты, благородная старая дама, благословила моего мужа и нашу жизнь: «Красивый мальчик», – так сказала ты на смертном ложе, кинув почти невидящий взгляд в его сторону.

Слово к двум людям, вокруг которых стоит облако, белое в своем сиянии, к тем удивительным существам, что ввели меня в мир живущих:

– Вы, давшие мне жизнь, опустела без вас душа моя, но Господь надоумил, и я не упускаю минуты общения, когда вы благосклонно опускаете взгляд на землю, словно говоря: «Береги детей, дочь наша», – и еще – «тебе надо обрести себя». Какое чистое и светлое благословение нисходит на мою горестную земную жизнь при этом совпадении мгновения и вечности.

Слово к прекрасной молодой женщине, с теплыми, яркими глазами. Ее уход долго переживался, как потеря

всеобщая, как утрата таланта и красоты. Да, ее так все и называли – наша прекрасная Эллина:

– А ты, я молюсь за тебя, ты была так прекрасна, и как бы слышу в ответ наставление: «Храни красоту, храни любовь, остальное приложится».

Слово к мужчине со светлым лицом, нашему другу Вениамину, что так щедро тратил свою душу и легко тасовал пороки и добродетели и, будто стряхивая жемчужные брызги Можайского моря с «брабантских манжет», вел всех в спасительную гавань всеобщей дружбы и любви:

– А ты, за которого я так молилась, не удержали мы ангела на этом свете, пьющего, гуляющего, растратившего себя зазря. Твои наставления не явны, но как помнится все.

Слово к маленькому старому человеку, с простым лицом и острым взглядом, критику и наставнику моей юности, рожденному быть тенью Сократа – дяде Авдею:

– А ты, страдалец, дочь твоя оболгала меня, но разве не ты просил помощи, не ты ли говорил: «Мы перевернем с тобой мир». Вполне возможно, только моя точка опоры – здесь, а твоя – там.

Слово к еще одной старой даме, наивной и любящей как дитя, к доброму гению своих близких – тете Лине:

– Пусть тепло тебе будет там, как в прежнем, родном Ереване.

Надо обрывать мгновения. И научимся понимать, что каждому изначально дана свобода самому стать творцом своей жизни. Каждое мгновение неотторжимо от вечности.

Люди в кругу держат все более и более разгорающиеся свечи, словно утверждающие их жизнь в вечности, а свеча рядом нисколько не поубавилась в размере.

* * *

Сократ спрашивал учеников, видели ли они слова, начертанные перед храмом Аполлона: «Человек, познай самого

себя». Он указывал при этом на главный предмет познания, незаметно убирая при этом его уничижительный оттенок: «Познай, что ты всего лишь человек». Убирал, потому что в его душе жил голос неведомого ему Бога. И он, босоногий, в драной тоге и с вечными вопросами на устах, ощущал искру Божественного присутствия в себе. А как же мы?

Алла ШАРАПОВА

ТАМ ДРУГОЕ МОРЕ, НО ВЕДЬ МОРЕ...

ВЕК

Все было наперед известно веку:
И то, какую низостью людской
Украсит он Каину и Джудекку,
И скольких светлых в Рай введет с тоской.
И что подарит миру две войны,
И жизнь сознания сделает войною,
И души ношей отягчит двойною –
Богооставленности и вины.
И долетит до утренней звезды,
И в каждое окно прицелит бомбы,
И проволокой обнесет сады,
И воскресит костры и гекатомбы, –
Он, уходя, захочет подмигнуть
Функционерам, игрокам, торговцам.
Но руку даст в конце Господним овцам,
Так полагая всякой правды путь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В черных телеграфных проводах
Запевают звездные хоралы
Что-то о веселых поездах,
Малость не домчавших до вокзала.

Только крест приблизится к кресту
И кресту прошепчет: «Вы тут крайний?»

И считаю за верстой версту
Вдоль от Магадана до Украины.

И пока, свиваясь, темнота
У твоих ресниц не закружится,
Спят на электрических крестах
Белые фарфоровые птицы.

И, урвав какой-то сладкий миг
От забот ночного перелета,
Ястребы бросаются на них,
Как на хаты бомбы с самолета.

И летят, голодные, назад,
Лишь побьются клювы по фарфору,
Да глядят бездонные глаза
В филиново око светофора...

«Я к тебе, единственный мой друг!
Видишь, я прозяб до подноготной,
Кровь больная просится на юг
От клопов, от пагубы цинготной.

Я давно хотел. Но кровь раба
Не пускает в дальнюю дорогу.
Вроде бы осел, моя судьба,
Стал попрививаться понемногу.

Там ведь тоже город – Магадан.
Там другое море – но ведь море...»
(Видится ему упругий стан,
Силуэт на вылинявшей шторе,

И как золотого светлячка,
Чуть не захлебнувшегося в рюмке,

Вынимала тонкая рука,
Как потом он гладил эти руки.

Тридцать лет как нет ее руки, –
И еще найдешь такую где же?
А в лесу на юге – светлячки,
И всегда они одни и те же!).

«Равновесья не сулил тот год,
Все тряслось, шарахалось, металось...
Девочка моя, послушай вот,
Понимаешь, что мне намечталось?»

Чтобы Рай, Чистилище и Ад
Взять на землю из мечты поэта...
Почему твои глаза горят?
Я ведь просто так. Прости мне это.

Слушай! Размотал я двадцать лет,
Двое нас осело в Магадане:
Я да мой сокамерник-сосед,
Мы с ним воевали у Тамани.

Пучеглазый этот крокодил,
Денщиком служил он у комдива –
Как на бал, расстреливать ходил,
Падают по одному, красиво,

Это, молвит, надо понимать,
И глаза у самого смеются.
Как хотелось руки мне размять,
По стене трухлявой размахнуться,

Чтоб ни этой рожи, ни стены...
Но одними русскими попами

И одной мы верой крещены
И одними кусаны клопами —

Спинами же спим к одной стене...
Одного лишь не могу постичь я:
Почему ты улыбулась мне
Из твоих туманов, Беатриче?

Ты меня простила? Как летят
Верстовые! Разве в силах спать я...
С каждой высоты они глядят,
Эти птицы, с каждого распятья!..»

Он к утру забудет обо всем,
И столбы и думы канут в бездну.
Лишь вагон последним колесом
Медленно гремит по переезду.

ФЛЮГЕР ПЕРЕД СТАРЫМ КЛАДБИЩЕМ

Ты недвижимый стоишь
На базальтовом черном столбе.
Только в мертвую тишь,
Только мертвый ты верен себе.

Лишь мычанье коров с хуторов
Да немислимый зной.
На разбойницу розу ветров
Ты глядишь как больной.

Ты скончался давно,
Твои кости истлели в земле.
Не виси надо мной,
Не вертись на чугунной стреле.

Не точи свой заржавленный нож,
Не оstri карандаш.
Ты уже никого не убьешь,
Никого не предашь.

У кладбищенских стен,
Где пустырь от сирени махров,
На могилах измен
Распускаются розы ветров.

Ты недвижимый стоишь
На базальтовом черном столбе.
Только в мертвую тишь,
Только мертвый ты верен себе.

ПАМЯТИ ЕСЕНИНА

Ветер выпьет белое пламя,
Пеклеванным дымом закусит
И завоюет под куполами
У земли, что звалась Русью.
Старики лишь прильнут к могиле,
Никому же не чуждой в мире...
Он из тех был, что много пили,
Забывались в грубом кумире.
В городах обитала слава,
С отчим краем звала расстаться,
И ушел светлоглазый дьявол
По обманной стезе скитаться.
Не встречайся с Черным ночами,
Если из дому вышел в белом –
Больно будет сойтись очами
С отражением почернелым.
И журнальное захолюстье,
Словно тот пулемет в «особом»,

По крестьянской трещало грусти
На потребу хлыщам и снобам.
Дьявол канул в святые строфы,
Над костром шелестит осинник,
И шатается над Голгофой
Ветер средних широт России.

ПЕР ГЮНТ

Савве Бродскому

Под звездным небом, в море снега
Подобен кораблю твой дом.
Давай мы про того норвега
Еще беседу заведем,

Как силы у него хватило
Не сделать в жизни ни черта,
Как отомстила и простила
Ему любовь и красота,

Как он отвергнул разум узкий,
Не оценил значенья книг,
Как по-норвежски и по-русски
Два слова схожи – мед и крик.

Как он принцессе и цыганке,
Души в них не увидя, врал,
Как первый лицедей Таганки
У нас его чуть не сыграл...

Но философствовать с разбега
Я не научена почти –
Легенду про того норвега
Я лишь смогла перевести.

Он ближних обманул жестоко,
С нечистыми повел свойство,
И девичье вперилось око
В неизгладимый след его.

ХЕРУВИМСКАЯ ПОЗДНЕЙ ВЕСНЫ

Херувимская поздней весны –
Где я слышала эти слова?
Чем вы, дни мои, были полны?
Неужели была я жива?

Даже сердце смерзлось как лед,
Бой часов проникал даже в сны..
Так за что же Всевышний мне шлет
Херувимскую поздней весны?

Но позволь Ты мне радость, позволь!
Не верти больше жизни вверх дном,
Замени четверговую соль
Образованной тайны вином...

Вот уже побеждается мгла,
Каждый камень поет у стены,
И вселенную всю обняла
Херувимская поздней весны.

ПЕРЕВОДЫ

Дерек УОЛКОТ

С английского

ФРАГМЕНТ ПОЭМЫ «ОМЕРОС»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Что такое базар? Историческая эклектика.
Полумесяцы магометанских дынь,
гроздь бананов, как фараонья каскетка,

мячик этрусского льва – золотой мандарин,
северные сияния ледяной макрели,
африканские кудри капустных голов,

чтоб кровожадные цезари, видя, млели,
потрошенные туши – распятъя мятежных рабов
под карнизами вилл, на развилках лавров,

сердечки перцев, ягоды нежных сосков
для ублаженья конквистадоров и мавров...
Здесь уместилась история островов

и рядом – история мира и Рима.
На прилавке качаются чаши весов,
но равновесие вряд ли установимо,

ибо не может капля чугунной тяжести
уравновесить старое слово и новое слово:
тождество таковым лишь кажется.

Они уходили с базара. Корзина была тяжела.
Ахилл ее отдал Елене: «Вот, на-ка,
сама волоки, я не раб, которого ты наняла!

Довыставлялась на публике!» – в гневе выкрикнул он.
Ему ответил самодовольный звон
Еленина хохота... Чем же он стал? Собакой,

способной лишь нюхать воздух ее следов!
Он завопил, как безумец: «Позор! Проклятье!»
На вопль обернулись. Тем часом желтое платье,

тараня плечом толпу, волокло по земле
тяжеленную тяжесть. Несносное существо!
Своим упрямством Елена бесила его.

Догнал, рванул корзину – она не давала:
«Ты же не раб, которого я нанимала!» –
«Отдай, мы оба устали!..» Он плелся за ней по пятам

туда, где машины, гордые, как колесницы
богов и полубогов, мычали моторами
и ослепляли блистанием. Там

она обернулась, вспыхнув жестоким взором:
«Мальчишка, уйди!» – на миг он застыл у фургона,
испугавшись пантеры... Ее коготки

царапнули ему щеку. Они не спускали друг другу.
Она впилась ему в палец, он изорвал ей платье –
но Гектор выпрыгнул из машины и подал ей руку.

Он тянул ее в свой фургон, как пантеру в клеть.
Ахилл ощущал, как гордость его по капле
уходит из жил. Он больше не мог смотреть

в ту сторону. Крупные слезы падали
из глаз его. В дверцах мелькнул ее локоток.
Фургон отошел. Ахилл поднял плод, упавший в песок.

II

Она не пришла ночевать. Он поверил в ее измену
и проклинал этот день. А день стоял каких мало.
Он молчал, не ставя в известность Елену,

что денег у них в обрез. Был как раз не сезон
ловить омаров, а за кораллами
нырять запретили. Раковины? Слишком любил их он,

чтоб туристам сбывать по дешевке. Он занимался их ловом,
подныривая под низкий редут
старинного форта на острове Львиноголовом.

Сняв с якоря ялик, он постепенно сносил туда
и сваливал в кучу с лиловыми небами раковины;
иногда попадался каменный лист – морская звезда.

Однажды, склонясь к воде, локтем заслоняя лаковые
буквы названья лодки, он увидел желтое платье,
бьющееся, как парус при перемене ветра.

С ней кто-то был. Он стукнулся головой
о железную планку, узнав в нем Гектора.
Когда он ушел под воду, киль колотил его в темя.

Он за подветренный борт спустя какое-то время
заплыл, превратив в пару весел руки;
он боялся щелканья раковин, ибо звуки

над спокойной водой проходят целые мили.
Он потянул канат и перетащил за борт.
Стук раковин слился со стуком его зубов.

Взяв в в зубы другой, носовой, канат, он пошел
как лягушка вниз.
«В Бога мы вер-вуем», – смог он прочесть
отраженный в воде девиз.
Над головой был венок из пенных цветов.

«Вот же и *вервуй* в Бога! – произнесла его тень, –
ты теперь как рогатый остров. Ахилл – рогатый!»
У раковин были рога и красный оскал, как у раков,

взятых из кипятка. Исчадья любви и ада!
Душа его стала голенью Филоктета.
Он тысячу раз был прав, подозревая Гектора!

Но надо теперь сберечь невредимым груз.
На днях турбюро обещало прислать инспектора,
чтоб навел мало-мальский порядок тут.

Лицензию отберут, стоит только на них наткнуться.
Он, наконец, почувствовал, что редут
совсем далеко и можно на двух руках подтянуться.

Взойдя на ялик, он взвешивал раковины на руке,
сяясь страдания их глубину оценить на вес;
неба их выгибались, как розовые восходы,

они были нежнее вульв, когда их лепестки раскрыты.
Если их топят, на это невыносимо смотреть:
они уходят в песок без единого крика.

Лишь пузырьки изо ртов. Они, как Елена,
никогда не мои: их родина – мрак морской.
Мысль благодная. С нею несовместим покой.

III

Товарищ по плаванию, что-то уже тогда
подгрызало основы, как пирс искусан приливом,
хоть волны любви заверяли, что никогда

еще в жизни я не был таким счастливым.
Вон там, за рядами проволоки, раздалось слово,
среди миндалей, их теней и шепота,

как будто бы не миндали, а ее голову
ветер качал в соленом свете аэропорта.
И было еще три бухты – помимо той.

Мы с нею жили в какой-то из метаморфоз,
где от идеи нельзя отказать идею:
бегали на возведенный еще невольниками волнорез,

откуда виден барьерный риф – барьер для белых коней,
а зебры теней на стеганом одеяле
сливались скользко, как туши морских свиной.

И хлебное дерево мягко царапало виллу,
и город вокруг шумел, и крабий фальцет
раковин нас будил. Ее чело глянцеволо

от безмятежного сна невесты Адама в Эдеме,
когда Адам еще не был ранен, как Филоктет,
и слизняки не ползли из песка с новорожденными глазами.

И вот я проснулся, рассеянный, сам не свой
от мелевого сна, где гроза расчищает тропу заре,
в непреложном знании, что другой —

товарищ мой, ты – наблюдаешь паденье и взлет
дыханьем полного льна, и ялик твой у причала
вторит кивкам зыбей, и с каната лодки

морской срывается стриж и летит к островам, щебеча.
А наше каноэ вместе с любовью пошло ко дну:
ты наклоняешься, тайный контур чертя,

словно незримый канат. Она открывает полглаза,
стучит друг о друга костяшками пальцев тонких,
а ты уходишь стоять на утренних досках террасы

и между широкими листьями видишь коробки домов
знакомых,
лайнер, ржавые крыши бараков на Морне,
машины, ползущие с гор наподобие насекомых.

Петр ШЛЫГИН

НАШ МИР НЕ ТЕСЕН

ДА

Пришла весна, капелями стуча, –
пора стихов, пора любви и песен;
и хватит одного всего луча,
чтобы понять: наш мир совсем не тесен.

Чтоб в солнце растворился хмурый день,
чтобы труба сменила в сердце скрипку,
достаточно, идя в толпе людей,
перехватить всего одну улыбку.

И слова лишь довольно одного,
чтоб изменить ход жизни навсегда, –
короткого, чуть слышного, всего
движенья губ, в ответ шепнувших: «Да!»

РОЖДЕНИЕ ЗВУКА

Органье трубы сосновых стволов
застыли в преддверье рождения звука,
закованы комлями в мрамор снегов,
рождественской тайною кроны окутав.

Натянута каждая ветвь, как струна,
и ждет, не дыша, дирижерского взмаха
сошедшая наземь с небес тишина,
чтоб вдруг разразиться прелюдией Баха.

Вот первым аккордом в софитах окон
увидишь, как падают снежные звуки,
в мелодию свиты, и дальше – вдогон –
сквозь сосен вверху распростертые руки,

пронзая сознание, хоралом с небес
несутся снежинки, число умножая,
а кажется, право, навстречу им лес
меж хлопьев летит, к небесам приближая

моста отражение в застывшей воде,
сугробы домов, переулки с дворами –
всю грешную Землю схвативши корнями,
сквозь тучи несет к воссиявшей Звезде!

* * *

Чем дольше за полночь, тем дальше слышно звуки...
Бессонное окно раскрыло створки в сад
и слушает в плюще журчание цикад,
на лавочке – сердец влюбленных перестуки,

гармошку – за селом, гудок – с речной излуки,
который пароход издал на грустный лад,
кому-то прокричав, что он не виноват
в том, что на свете есть утраты и разлуки,

в том, что людская жизнь – вместилище тревог.
Растаял между звезд пронзительный гудок,
связав на краткий миг два мира меж собою;

и слышало окно, лишь только вопль затих,
неясный шепот звезд над спящею волною:
«Пускай он будет прав, но нам-то что до них!»

БАШНЯ

I

Не зная покоя, колеса стучали;
разбрызгивал искры над поездом провод;
вагоны качались, в них люди стояли,
набившись вплотную. «Не повод, не повод —

усталость, болезни. Вам не уклониться,
вас требует Город!» – им пели колеса,
и поезд летел над мостами, как птица,
и тень его птицей срывалась с откоса.

А рядом и дальше, со всех направлений,
несчетной лавиной сквозь утренний морок
по насыпям, аркам, сквозь сито туннелей
составы такие же двигались в город.

– Я город, какого не знала планета:
огромен, незыблем, надежен и прочен.
Не ведаю зим – только теплое лето,
как, впрочем, не ведаю сумерек ночи.

Я в землю вгрызаюсь на тысячи метров.
На грани возможного, разума грани,
ловлю ветряками движения ветров
и молнии острыми шпильями зданий.

Я выстроил людям удобные соты
из пластика, стали, стекла и бетона,
чтоб лучше плодились. Ждет много работы
их с первого плача до смертного стога.

Все заняты, сыты, обуты, одеты,
и нет среди них ни рабов, ни тиранов.

Но вдруг перестали рождаться поэты,
а следом не стало совсем капитанов.

И некому стало поднять звездолеты,
и некому стало спускаться в пучины,
а люди взрывать свои начали соты,
и рушить меня безо всякой причины.

Что делать? Как справиться с этой напастью?
Какого рожна кроме зрелищ и хлеба
добавить к людскому нехитрому счастью,
чтоб вновь потянуло их в море и небо?

В научных трудах и трудах богословов
искал, но не смог обнаружить ответа,
пока на «мечта» не наткнулся я слово,
ушедшего в Лету последним поэта.

Безумный, хулил он мои небоскребы,
искусственных солнц золотые браслеты,
твердил без конца, что они как микробы,
убили все звезды на небе планеты.

Твердил:

«...не нашел я звезды, что светила, –
и более пульс не стучит в ритме scherzo.
Светил рукотворных беспомощна сила, –
почившей мечты не вернут в мое сердце.

Нет звезд, так куда же душою стремиться? –
и дети растут, духом не вырастая.
Без звездного неба мечте не родиться.
Без светлой мечты люди сходятся в стаи.

И в ярости стаи, хрипя, как собаки,
сорвутся и схватятся, кровью пьянея.

И рушась тогда в этой бешеной драке,
ты вспомнишь того, кого счел за пигмея.

о, каменный город...».

И словно поэта
в его правоте предо мной утверждая,
вновь помощи скорой ночная карета,
по дальним кварталам промчалась, рыдая.

Неужто ль все верно в пророчествах оных?
Неужто пигмей, тот, что без вести канул,
мудрей оказался маститых ученых
и вовсе не карликом был – великаном.

С тех пор каждой ночью оглядывал небо,
закрытое глазу светящейся мглою,
и думал, что скоро я сделаю небыль –
я башню до звезд высотой построю.

И всякий с нее, если только захочет,
будь он бедняком, иль будь он богатым,
увидит созвездья на куполе ночи,
увидит рассветы, увидит закаты.

И строки поэтов положат на ноты,
и вновь звездолеты взрвут, улетаю,
и множиться будут домов моих соты.
Я буду расти, и не будет мне края!

II

Не зная покоя, колеса стучали;
разбрызгивал искры над поездом провод;
вагоны качались, в них люди стояли,
набившись вплотную. «Не повод, не повод —

усталость, болезни. Вам не уклониться,
вас требует Город! Вас требует Башня!» –
им пели колеса, и поезд, как птица,
летел над мостами на скорости страшной

к громаде, поправшей небесные тверди.

А рядом и дальше сквозь утренний морок
со всех направлений в огней круговерти
составы такие же двигались в город.

– Я Башня. Я чудо. Я верх совершенства.
Мой купол раскинется за облаками.
И Города я не признаю главенства –
к земле он, как гнетом, придавлен веками.

Придавлен своею бредовой затеей –
показывать всем, кому хочется, звезды...
Чтоб я согласилась с такою идеей? –
спохватится он, да уже будет поздно.

Фундамент мой выше, чем шпили высоток,
а купол накроет все черною тенью.
Пусть слабым покажется это жестоко,
но в планах моих места нет сожаленью.

И каждый, будь бедный он или богатый,
коль солнце увидеть отныне захочет,
несет пусть дублоны, динары, дукаты.
А нет – так сгниет пусть в объятиях ночи! –

И Башня простерла чудовищный купол,
как ядерный гриб, заслонивший все небо,
и тень от него заползла в каждый угол,
а солнечный луч больше в Городе не был.

Зато наверху ему было свободно
быть в банках, растущих на новых клиентах,
в кафе, в магазинах, в обставленных модно
сомнительных личностей апартаментах,

глядеть, как неспешно ползут автоматы,
стекла океан очищая от пыли.

В оконную крепость не смотрят закаты,
ее герметично навеки закрыли

от снега и ветра, тумана и града.

На этих заоблачных страшных высотах
в окно не повеет прохладой из сада
в ночи, растворенной в прожекторных сотах.

Известно – у алчности нету границы,
как нету души у фарфоровых кукол.
И даже когда стала Башня крениться,
то все продолжала наращивать купол

и рухнула разом, как глиняный идол,
весь Город собой уничтожив до дома,
и те, кто случайно падение видел,
лишались рассудка от стопа и грома.

Три месяца пыль вместе с хлопьями пепла
висела, от глаза скрывая руины,
с дождями осела... И солнце ослепло
от вида под ним распростертой картины...

Где жизнь – там надежда. Так мир этот создан.
Из выживших каждого сердце забилося,
когда над руинами к блещущим звездам
в одну из ночей чаша неба открылась.

Ночной холодок пробирался за ворот
мальчишке, вперед на всю жизнь отрыдавшем,
шептавшем: «Я заново выстрою город!»
А кто-то прикидывал: «Выстрою башни».

Когда это было? Пучины столетий
давно поглотили героев событий.
И где, на какой позабытой планете
история эта случилась, скажите.

Ответьте. Но точного нету ответа.
Когда-то одним человеческим клоном
как будто «Землей» называлась планета –
в балладах другого звалась «Вавилоном».

Кто знает, была ли она, в самом деле,
иль это лишь вымысел чей-то досужий,
родившийся в долго скитавшимся теле,
навеванный долгой космической стужей?



ДРУЗЬЯ СТУДИИ



Наталья ВАНХАНЕН

ГОД СТАЛЬНОЙ МЫШИ

ГОД СТАЛЬНОЙ МЫШИ

Ямышь, но оденусь в доспехи
И сделаюсьмышью стальной,
И кошкам не будет потехи
Иужинов вкусных со мной.
Они при свечах бы хотели
Сожрать меня ради Христа,
Пускай я бедна и не в теле,
А все же не слишком проста!
Мой нрав от природы неистов,
Обманчив испуганный вид.
Меня опасался епископ
И целый церковный синклит*.
Им радости было немного,
И знали: мольбы не спасут,
Когда я от имени Бога
Вершила свой праведный суд.
Вы думали, ваша потреба
Превыше мышиных могил?
Ямышь, но воздвигнусь до неба,
Как архистратиг Михаил!
Ямышца десницы Господней,
Мозолистой воли пята,
Хотя и живу в преисподней
И редко бываю сыта.

* Имеется в виду баллада В. А. Жуковского «Суд божий над епископом» (из Роберта Соути).

Приветик, котяры, приветик!
Я с вами управляюсь сама.
Ваш белый сиротский скелетик
В объятия примет зима.

И хрящик от косточки вдовой
Отточат дожди и ветра
За то, что у сони садовой
Мышонка убили вчера.

КРЕСТЫ

Законы эпохи строги,
Глаза палачей пусты.
Вдоль Аппиевой дороги
Идут и идут кресты.
О с сизым отливом мухи,
В разгаре у вас страда!
Кресты неподвижны, сухи,
А будто идут куда.
Без страха и без оттяжки,
Забыв о друге, враге,
Шагают на деревяшке,
Идут на одной ноге.
Как будто случилось чудо,
И свет в зрачке не погас...
А нам все видно отсюда –
Они ведь дошли до нас!

* * *

Совесть моль повыела,
Обратила в пыль:
У хромого Сильвера
Выбили костыль.
Ох, друзья-товарищи,
Дьявол вам не брат,
Только я пока еще
Старый, но пират!
Пятницей, субботой
Небо умоля,
Я вас уработаю
И без костыля.
Думали, не выживу?
Откачусь к дровам?
Я простым булыжником
Меж лопаток вам!
Шансы мы повыровним,
Не назвав имен,
Ибо Сильвер – Сильвером
До конца времен.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕЧАТЬ

Все в меня впечатано навеки –
Можно жизнь хоть заново начать.
Скажет Бог, когда осилю реки:
– Ты – моя последняя печать!
Я взломаю твой сургуч янтарный,
И под теплым оттиском найду
Весь мой мир, растительный и тварный,
И двоих в стареющем саду.

НОТР ДАМ 16 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

Плачет умник и глупая девка:
Был собор, был таков, был таков...
Человек – мотылек-однодневка,
Человечество – рой мотыльков.
Даже пчелам, построившим соты,
Вечность важная не вручена,
А уж ты-то – ну, кто ты, ну, кто ты,
Чтоб тебе отдавалась она?!
Бьется крылышко в прахе Адама:
День зачатья людей – не далек.
Золотая зола Нотр Дама
Бьется в сердце твое, мотылек.
В этом смертном негаданном часе,
Как на памятной фреске одной,
Стон веков в раскаленном каркасе –
В изувеченной клетке грудной.
Мотылек в огневой круговерти...
Будто вечность и славу свою
Он еще отвоюет у смерти,
Он, конечно, еще отвоюю...
И Высокий, затерянный в нетях,
Созерцает, растерян и тих,
Легкомыслие бабочек этих,
Золотое бесстрашие их!

МОТИВ ВЕРМЕЕРА

Из раскрытого окна –
С золотистым боком слива.
Эта девушка грустна,
Эта девушка красива.
Вдруг ресничный быстрый взмах,
Распахнувшиеся вежды:
– Едет, едет! – и в глазах
Нестерпимый блеск надежды.
– Едет, едет!.. Дорогой,
Что так скоро из столицы?..
Едет... едет... но с другой.
И захлопнулись ресницы.

ГОВОРЯЩАЯ ПТИЦА

Все мертво за оконным пределом,
Но когда умирают слова,
Птица крестиком вышьет на белом:
«Я жива. Я жива. Я жива.»
Невидимка с разбегом проворным
Шьет-пошьет в снегопадном дыму,
Как монашка, по белому – черным,
Погребальную ризу Ему.
Озирает в последнем полете
Погруженные в сон города:
«Он не умер и вы – не умрете,
Этот крест на снегу – навсегда».
Бело небо и поле, а между
Все стежки: «Погоди, птицелов,
Я последняя ваша надежда –
Говорящая птица без слов!»

МУЗЫКА В МЕТРО

Человек играет на пиле.
Он такой от музыки Пеле:
Как в ворота икроножный хук,
В душу точно попадает звук,
Тонкий, как зуденье комара.
Ангел в небе думает: «Пора!»
И пилу уносит на горбе...
Человек играет на трубе...

* * *

Ребенок на саночках катит
Синь сумерек пробуя ртом,
И жизни ребенку не хватит,
Чтоб это забылось потом,
Чтоб вспомнилось что-то иное,
Где явственней с жизнью родство,
Синей снегового покоя,
Светлей и прекрасней его.

* * *

Ввысь, высоту набирая,
Вниз, упустив высоту,
Ласточка, гостья из рая,
Льнет к золотому кресту.

Верткая нежная шейка,
Безбытовое житье,
Черная кость, белошвейка,
Вышей мне счастье мое!

Узел связи на одежке,
Чтобы другим невдомек,
И на серебряной ложке
Сделай двойной вензелек.

Ласточка с неба смеется:
– Просьбы твоей не пойму:
Счастье тому и дается,
Кто равнодушен к нему!

* * *

Мы пишем так и эдак –
На случай, напоследок,
Назло, на спор и просто –
Для внутреннего роста.
И наших писем груду
Вверху читают где-то,
И пишут нам оттуда,
Откуда нет ответа,
То грифелем, то мелом,
То, над зеленым дерном,
На черном камне – белым,
На белом камне – черным.

БОГ АТЕИСТОВ

В небесной пустоши незримой
Земной не избалован мздой,
Бог атеистов несломимый
Стоит под красною звездой.

К нему вне скрежета чистилищ,
Вне дыма райских деревень,
Приходят из земных узилищ
За тенью тень, за тенью тень:

– Я жизнь одним рассудком мерил...
– Я знал, что смерть – всему конец...
– Я никогда в тебя не верил...
И Бог кивает: «Молодец!»

* * *

В век недавний – не век чистогана –
Без голодных и хищных менял,
Люди рано сбывались и рано
Уходили, куда не гонял,
Презирая покой и достаток –
Тоже светел и тоже не стар –
Ни телят, ни овец, ни козляток
Пресловутый какой-то Макар.

ПЕРЕВОДЫ

КАЛЬДЕРОН де ла БАРКА

С испанского

МОНОЛОГ СЕГИЗМУНДО ИЗ ДРАМЫ «ЖИЗНЬ ЕСТЬ СОН»

А и вправду, впредь не мучась,
Как на сон, на жизнь гляди.
Затуши огонь в груди.
Видеть сны – людская участь,
Пробужденье впереди!
Спит король и видит сон,
Что каприз его – закон,
Что сильна его держава,
А вокруг льстецов орава,
Фимиам со всех сторон.
Время – пепел, без следа
Разлетится в никуда,
Только смерть вовек пребудет,
Короля она пробудит
Разом – раз и навсегда.
Спит богач, во сне влеком
Полным денег сундуком,
И того не понимает,
Что во сне доход имеет,
А проснется – бедняком.
Спит бедняк в своем дому.
Нищета – его подруга.
Как во сне придется туго
Горемычному ему!
А жилец иного круга
Видит сон, что он – в верхах,
Нить судьбы в его руках...

Все за чистую монету
Принимают сказку эту –
Все надежды терпят крах...
Сплю и сам я наконец –
В кандалах живой мертвец –
И во сне моем не новы
Ни решетки, ни оковы,
А ведь снился мне дворец!
Что такое жизнь? Темны
Тени призрачной страны,
Странных знаков вереница –
Жизнь лишь сон, который снится,
Но и сны – всего лишь сны.

Густаво Адольфо БЕККЕР

С испанского

* * *

Тебя я видел мельком, но навеки
Запомнил взгляд, не знаю почему –
на солнце глянешь, опалая веки,
а разглядишь сияющую тьму!

С тех пор, куда ни гляну, мне повсюду
лишь глаз твоих мерещатся огни.
Я все забыл и вспоминать не буду –
твои глаза сияют мне одни!

И знать не зная, что тому виною,
под этим взглядом пристальным живу,

твои глаза горят передо мною –
я вижу их во сне и наяву.

Есть огоньки, блуждающие в поле,
они сбивают путника с пути –
идти за ними, сгинуть поневоле
и что, Бог весть, в итоге обрести?!

* * *

«Я смуглолица и черноброва.
Я воплощенье твоей мечты.
Я упоенье дарить готова.
Я та, что ищешь?» – «О, нет, не ты!»

«Я светлый ангел с небесным взглядом.
Я мир и кротость дарю, любя.
Ты будешь счастлив со мною рядом.
Меня ты ищешь?» – «Нет, не тебя!»

«Я дух бесплотный, мираж, виденье,
нездешний холод в моей груди.
Мне чужды страсти и наслажденье.
Оставь надежду!» – «Приди, приди!»

* * *

Словно в кокон, в красоту одета,
молча, шла одна.
В глубине души, в сиянье света
угадал: «Она!»

Утро. Вечер. Неостановимо
льется мгла.
Было... было... Проходила мимо.
И... прошла.

* * *

Разлюбила? Разве это диво?
Диво, что любила – это да!
Ведь о том, чем это сердце живо,
ты и знать не знала никогда.

* * *

Струящиеся ризы
и крылья за плечами –
на золоте карниза
два ангела с мечами.

За бронзовой решеткой,
в приделе помертвелом
бесплотный и нечеткий
мелькает призрак в белом.

Проходит смутной тенью,
минует без возврата,
как зыбкое виденье,
последний луч заката...

И сердце бьется чаще,
волнуясь без причины,
и тайна уходящей
влечет, как тьма пучины.

Но ангелов молчанье
предупреждает строго:
«Грань этого порога
не для тебя – для Бога!»

* * *

Возвратятся ласточки весною
хлопотать у старого гнезда,
взмоют над тобой и надо мною –
ласточкам не кануть без следа;
постучат с балкона на рассвете
сизыми крылами, как всегда.
Возвратятся ласточки, но эти...
Эти – никогда!

Возвратится жимолость густая
только лишь отступят холода,
стены и ограды оплетая
так же, как в минувшие года.
И роса, как будто слезы света –
на цветках дрожащая вода –
возвратится снова, но не эта...
Эта – никогда!

Возвратятся пламенные речи –
как ты ни надменна, ни горда,
позовут, помянут к новой встрече
и растопят сердце изо льда.
Но любви, которую в секрете
нес, как божеству, тебе тайком,
ты не сыщешь вновь на белом свете –
никогда, ни в ком!..

* * *

Я не спал и знал, что мне не снится
край, где суть вещей искажена,
где проходит зыбкая граница
бдения и сна.

Молчаливо двигаясь по кругу,
продолжали мысли хоровод,
но бесшумно, не спеша друг к другу,
замедляли ход.

Вечерело и, пока смеркалось,
тепился на веках свет зари,
но уже сознание озарялось
светом изнутри.

Смутным эхом, слабым отголоском
вдруг меня окликнули вдали,
и пахнуло ладаном и воском,
сыростью земли.

И едва-едва коснулся слуха
гул, бродящий в храме меж святынь
в миг, когда молящиеся, глухо,
говорят: «Аминь».

.....
Я забылся в снах неуловимых,
потонул... а вынырнув на свет,
прошептал: «Кого-то из любимых
в мире больше нет!..»

* * *

Как ветерок над полем после боя,
волной душистой омывая раны,
пройдет неслышно, одарив собою
и тех, кто жив, и тех, что бездыханны, –

так, повинуюсь сумрачным рассказам
британской музыки, светлой тенью рая
Офелия, утратившая разум,
проходит с пенем, травы собирая.

Габриэла МИСТРАЛЬ

С испанского

ВСЕ МЫ БУДЕМ КОРОЛЕВЫ

«Будем мы ходить в короне, –
детский слышался напев, –
будем мы сидеть на троне
для прекрасных королев».

Счастья каждая просила
у высоких горных гряд:
Эфигения, Лусила,
Росалия, Соледад.

Нам – по семь... Подружки, где вы?
Неужели пелось зря:
«Все мы будем королевы,
будут нашими моря»?

Славно по двору носиться!
Дрозд порхает молодой
над девчоночьей косицей,
под смоковницей седой.

Словно суры из Корана,
повторяем нараспев:
«Станем поздно или рано
всех прекрасней королев!

Женихи у нас – таланты.
Каждый вправду даровит.
Все – цари и музыканты,
как библейский царь Давид!

Хлеб на ветке золотится.
Мед стекает в океан.
Звезды – в море, в небе – птицы.
Мне – павлин, тебе – фазан!

Не слышать людского стона –
золотые времена...»
Не достигла только трона
и поныне ни одна!

Моряка, что у причала
Росалию повстречал,
буря с бездной повенчала
и разбила о причал.

Семь братишек!.. В адском пекле
так не бьются день-деньской –
Соледад глаза померкли,
не видав воды морской.

Не жена и не вдовица –
ей судьба в конце концов
лишь в чужом гнезде ютиться
и растить чужих птенцов.

Иноземца молодого
Эфигения – беда! –
полюбила. Нам – ни слова...
И пропала без следа.

Ведь мужчина – что пучина!
Не видать его насквозь...
У Лусилы есть причина
утверждать, что все сбылось.

Что она ступени трона
одолела в вышине:
ведь безумия корона
ей досталась на луне!

Куча деток – птичья стая.
Верный муж – ночной лиман.
В царский плащ из горноста
облачил ее туман...

Но, как прежде, над долиной,
над закатной дымкой гор
голосок звенит невинный,
не слабеет юный хор.

И плывут его напевы,
даль веков преодолев:
*«Все мы будем королевы –
Нет прекрасней королев!»*

Евгений ВОЙСКУНСКИЙ
(1922–2020)

БАЛТИЙСКАЯ САГА (ФРАГМЕНТ)*

Мощная взрывная волна сбросила Травникова с кормы «Скрунды». На какой-то миг он потерял сознание, но холодная вода, накрыв его с головой, пробудила мысль, одну-единственную: вынырнуть... вынырнуть...

Вынырнул, глотнул воздуха, осмотрелся – и удивился тому, что его отнесло так далеко от «Скрунды». Он поплыл к пароходу, над которым еще не рассеялось черное дымное облако, пароход то скрывался за волнами, то появлялся вновь, – и вдруг Травников понял, что «Скрунда» тонет. Сквозь гул моторов «юнкерсов», сквозь грохот бомбовых ударов он услышал страшный продолжительный человеческий вопль.

«Скрунда» мелькнула между волнами в последний раз и скрылась. Скрылась навсегда, унося в глубину раненых солдат, защищавших Таллин... город, чуждый им, в сущности...

Травников плыл саженками к месту гибели парохода. Плыл с неясной мыслью о, возможно, спущенной с него шлюпке... или хотя бы о деревянном обломке палубы, за который можно уцепиться... Еще мысль была об Алеше Богатко – как он там, с одной-то рукой...

И была еще мысль о письмах Маши, о комсомольском билете и о курсантском удостоверении, они, конечно, промокли в кармане бушлата, но надо бы их сохранить... а бушлат скинуть... тяжело в нем плыть...

* Выбрали Алексей Смирнов и Александр Войскунский.

И он проделал все это – сунул письма, билет и удостоверение в вырез фланелевки, за пазуху, и, барахтаясь в воде, стянул с себя и отбросил бушлат. Плыть стало легче, но, наверное, он потерял направление. Никаких обломков «Скрунды» не попадалось. Не видно было и плывущих людей, а ведь не могло быть, чтобы никто, кроме него, не уцелел.

Впрочем... Кажется, мелькнуло темное что-то слева... захлестнуло волной... опять мелькнуло...

Он поплыл в ту сторону – и выплыл прямо на мину. Срезанная с минрепа, огромная, черная, она качалась на воде, выставив поблескивающую макушку с рожками. Здравсьте!.. Травников поскорее поплыл прочь.

Он плыл, плыл, переворачивался на спину, чтобы отдохнуть, и снова плыл, ориентируясь по солнцу, скрывающемуся за негустой облачностью, – плыл на восток. Разумеется, он представлял себе, что находится в середине Финского залива, и где-то тут остров Гогланд, там наша военно-морская база, и если плыть на восток, то может быть...

Может быть, может быть...

Травников плыл теперь экономным брассом, но чувствовал, что устает. Волны, хоть и небольшие, но назойливые, плюхались и плюхались ему в лицо... как только им не надоест, япона мать... эй, послушайте, угомонитесь наконец... не то я велю вас высечь... кто-то ведь, рассердившись на море, велел его высечь... кто?.. никак не вспомню... да это неважно... вот важно то, что профессор одобрил твою курсовую работу... ты ведь умная у меня... а Кухтина очень жаль, ребята... как же это оставили его на этом острове... как он называется...

Спихватился, что мысли путаются.

Часов у него не было. Но, наверное, уже много прошло времени.

Ну да, солнце уже миновало зенит. Где же ты, остров Гогланд?

Устал. Очень устал. И воды, горькой, соленой, наглотался. Лечь на спину, отдохнуть. Только бы не заснуть.

Заснуть – тогда все – камнем на дно – на дне очень холодно, наверное, и тихо...

Пена вокруг горла.

Волны плюхаются, бьют по голове.

Не спать, не спать, командует себе мичман Травников. Раскрыть слипающиеся глаза... о, как хочется уснуть...

Вдруг – удар по голове... скользящий, над левым ухом... но болезненный очень...

Травников, вскрикнув, переворачивается на живот.

Что-то медленно проплывает перед ним. Какой-то брус толстый... может, обломок пиллерса?.. черт его знает...

И за эту спасительную деревяшку держится человек. Вцепился намертво обеими руками, и торчит над водой белобрысая голова с полузакрытыми глазами – очень даже знакомая голова – это Шматов, фрунзенец.

– Здорово, Шматов, – хрипит Травников, тоже ухватившись за брус.

Тот не отвечает.

Травников потирает ушиб за ухом, ладонь становится красной. Да это не просто ушиб, а рана. Рана, разъедаемая соленой водой. Хорошо еще, что чертов брус не раскроил череп. Это очень приятный момент, пытается Травников подбодрить себя.

Но брус не выдерживает двоих, погружается. Шматов, не ослабляя хватки, вскидывает на Травникова взгляд, вполне выразительный: дескать, чего вцепился, отвали...

(И – мгновенное воспоминание: на комсомольском собрании в училище Шматов, член комитета комсомола, громит курсанта, пойманного за чтением вредной книги писателя Достоевского «Бесы», – вот такой же был у Шматова яростный взгляд.)

– Давай, давай, Шматов... спасайся... – бормочет Травников, отпуская брус и отплывая.

Он продолжает плыть в восточном направлении. Но плыть все труднее. Он чаще переворачивается на спину

и лежит, слегка подрабатывая руками и ногами, – лежит, раскачиваемый волнами, под медленными облаками, под холодным солнцем.

Очень холодно. Особенно ноги мерзнут. Какой ты холодный, прямо как замороженный судак... Кто это сказал?.. Ах, ну да, Рита сказала, старшая сестра... Мы с Лешкой Копновым пошли в лес по грибы... А леса вокруг Губахи дремучие. Заблудились мы, октябрьский день был холодный, без солнца, заночевали в буреломе, мерзли всю ночь ужасно, наутро поплелись куда глаза глядят, вышли к ручью, напились воды, от которой зубы ломило, пошли вдоль этого ручья. Леха говорит: «Главное, что вода есть, а кушать будем грибы». Я говорю: «От сырых грибов отравимся». Он говорит: «Не отравимся». А я: «Тихо! Замри!» Мне голоса далекие слышались. Поперли на них напрямик. А это нас звали! Лешкина мама и Ритка, моя сестра. И с ними Чемберлен, наш пес лохматый. Он, Чомбик, первым выбежал на нас и – давай прыгать и целоваться. Ритка кинулась ко мне, обняла и кричит: «Валька, какой ты холодный, прямо как судак замороженный»...

Где-то – может, на лесной опушке – дятел стучит и стучит...

Холодно... Глаза слипаются...

Нет!.. Вынырнуть!..

Уже погрузившийся с головой, Травников движениями рук заставляет себя всплыть. Наглотался опять...

А это что? Он прислушивается. Никакой не дятел – стучит мотор! Откуда только силы взялись – Травников поплыл в сторону этого звука. Вскоре мелькнул между волнами катер... скрылся... снова мелькнул...

Тревожно колотится сердце: это же морской охотник, «мошка», он низко сидит в воде, с него могут не увидеть... не заметить голову плывущего среди волн... Закричать!

Травников машет рукой и кричит: «На катере-е!» Но разве они услышат? Он и сам не слышит своего голоса, тонущего в рокоте моторов.

Но вот морской охотник как-то разом, всем корпусом возникает перед ним. Травников машет, машет рукой: ребята, смотрите, смотрите... смотрите!

На катере смотрели и – увидели.

Оборвался рев моторов. Инерция придвигает морского охотника почти вплотную к Травникову. Ему кидают канат, подтягивают к борту. Матрос, вылезший на привальный брус, одной рукой держащийся за леерную стойку, протягивает вторую руку, и Травников судорожно хватается за нее – за свое спасение.

Михаил ГРОЗОВСКИЙ

О ПРОШЛОМ, О ЛЮБВИ...

ОСЕНЬ

Шелест лип над сонным сквером;
шелест жизни надо мной.
Осень... Желтое на сером.
Промежуточная вера
между летом и зимой.

То на воздух поднимает,
то, от неба заслоня,
и зовет, и обнимает,
и сама не понимает,
что ей надо от меня.

Вижу осень, слышу осень,
но пойдя схвати его,
этот зов... когда уносит
и душа чужого просит,
словно нету своего...

* * *

Под знаком Солнца и Луны
по воле высших сил
я видел радостные сны
и Женщину любил.

И – все. А прочие года
я принимал, как есть.
И думал: это никогда
не может надоесть.

Но легкий, тихий, властный звук
я услышал в крови,
когда сегодня вспомнил вдруг
о прошлом, о любви.

Как будто бы земная твердь
подала сердцу весть
о том, что есть на свете смерть...

И хорошо, что есть...

ПРИЗНАНИЕ

Тридцать лет про убийц и воров
умножается фильмов число,
ну, а я убивать комаров
перестал этой злобе назло.

Перестал изводить муравьев,
тараканов на кухне щажу,
мух не бью, пусть во здравье свое
монотонное тянут «жу-жу».

Пусть живут и отныне, и впредь.
Всем безвинным поставлю свечу.
Не могу сериалы смотреть.
Человеком остаться хочу.

ДВЕ ЛЯГУШКИ

Две лягушки:
Люська и Нюська,
вблизи болота,
болтали что-то,
о том, о сем –
обо всем.

Квакали, не скучали.
Новости сообщали.

Квакали громко.
От них в сторонке
тихо за камышом
в раздумье большом
цапля Марья Петровна
стояла ровно
в ряске
без всякой тряски.

Новости слушала.
С утра не кушала...

* * *

Мать стояла у дверей
в стареньком халате.
Голос делался добрей,
тише, виноватей...

Наклонилась как-то вбок,
сгорбилась сутуло,
«Извини меня, сынок!» –
коротко шепнула.

Я почувствовал тогда
в день тот важный самый,
что я скоро никогда
не увижу маму.

До сих пор в душе комок.
Тайна ледяная.
«Извини меня, сынок...»
А за что – не знаю...

* * *

Та, прежняя, кого во сне
целую и люблю,
та, о которой сам себе
и думать не велю,

она обязана страдать
всю жизнь, во все века!
И мне необходимо знать
о том наверняка,

что у нее ни счастья нет,
ни даже светлых дней,
а только думы обо мне,
все – черного черней.

Я должен был ее забыть.
Но вновь приходит сон
и принимается крутить
обратный ход времен.

И там мы с нею каждый раз
в разгаре ранних лет.
И в этот беспробудный час
меня счастливей нет.

И нет дороже ничего
восторга темных сил...

.....

Я должен. Мало ли всего,
чего я должен был...

* * *

Ну, что за черт, ну что за черт,
ну, что за дьявол, бог ты мой!
Ведь шел домой, спешил домой,
а оказался у пивной...

Наверно, ноги у меня
имеют собственный секрет.
Ведь шел домой, спешил домой,
пришел домой, а дома нет.

Была там скромница одна...
Как пили – помню не вполне...
Я ей – стихи...

В ответ она
всю душу выплакала мне.

И ведь почуяла, лиса,
что слаб я к жалестной судьбе.
Ведь шел домой, спешил домой,
пришел домой, да не к себе.

А там – всего одна кровать.
Ведь шел домой я, видит бог!
Эх, кабы ведать, кабы знать
секрет своих дурацких ног...

ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР

- Ту мечту на крови замесили,
вот и вышла дурацкая смесь.
- Но скажи, если это Россия,
то тогда, для чего она есть?
- Для души, что идет в бездорожье,
попирая и разум, и плоть...
- Если это веление божье,
то тогда, для чего же Господь?
- Для людей!
- Не смеси... Слишком много
мертвых истин и мертвых картин.
- Для чего же Россия?
- Для Бога.
Только он ей и нужен...
Один.

* * *

Украдкой пьет моя жена.
Я знаю: власть моя
над властью рока не вольна.
Тому – Господь судья.

Я ухожу. Я свет гашу.
Пусть длится забвенье.
«За что, – у Господа спрошу, –
ты наказал ее

и стал творцом слепой игры,
что жизнью названа?»

Молчит Господь... В тартарары
летит моя жена.

То цепенеет во хмелю,
то плавится, как воск,
и ненавистное «люблю»
в мой вдавливают мозг.

А я, трезвяк, гляжу во тьму
и понимаю вдруг,
что и у Господа в дому
все валится из рук,
что в бездну целая страна
катится калачом.

Валяй, жена, гуляй, жена,
не думай ни о чем!

И да сойдет обвальный сон,
не рая, не губя
твоей гордыни... Грянет он
и унесет тебя.

И там, в блаженной пелене,
откроется без слез
твоя, неведомая мне
обитель дивных грез,

где собираются во мгле,
обнявшись на авось,
все души, коим на земле
удела не нашлось.

ЧИТАЯ АВВАКУМА

Пролетевшая мигом
жизнь смешная моя
мне подсунула книгу
под конец бытия.

Стал читать, поневоле
отмечая места,
сожалея, что в школе
я не ведал Христа,

что не взял за науку,
как земную юдоль,
Аввакумову муку,
Аввакумову боль,

что прожил атеистом,
что под занавес дня
время во поле чистом
доедает меня

и что знаний химера,
словно истины твердь,
невозможна без веры
и похожа на смерть.

Григорий ЗОБИН

НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ И МИГА

* * *

Зарянка, зяблик, зеленушка
В воздушном кружеве звенят,
И лета жаркая макушка
Уже клонится на закат.
В луче кружатся и дрожат
Прозрачный мотылек и мушка.

Июль, воздушной влаги брат,
Уходит. Звездная осьмушка
Крошится. Искры в ночь летят.
Идет который день подряд
Утруска года и усушка,
И видно, кто и чем богат.

Сочти сокровища, прикинь –
И что найдешь в сухом остатке?
Две неоконченных тетрадки.
Засушенную в них польнь,
И словно на песках пустынь,
Дней уходящих отпечатки.

Под солнцем душно пахнет хмель
И ветер в вышине крепчает,
И на ветвях легко качает
Оставленную колыбель.
И все понятней говорят
Зарянка, зяблик, зеленушка...

Лесная пестрая опушка
Лелеет звонкий звукоряд.

* * *

В нашем дыхании грубом
Воздух обыкновенный
Выплавлен, словно горном —
Чистое серебро.
Желудь взрывается дубом,
Как первоатом – Вселенной.
Пишет в просторе черном
Огненное перо.

И отзовется песней
Связок и жил напруга,
Вспыхнет еще чудесней
Неугасимый свет.
Снова огонь и слово
Вырвут тебя из круга
Небытия немого
И безымянных лет.

Ящер взовьется птицей,
Сад расцветет в пустыне,
В сердце угаснет ярость,
Ястреб забудет кровь,
Станет полынь пшеницей.
Все, что пропало ныне,
В сумраке затерялось –
Днем обретется вновь.

* * *

Дочке Лизоньке

Переулочком Молочным
Шел и под ноги глядел,
В мире важном, в мире прочном
Обретаясь не у дел,

И обдумывая это,
Вышел к берегу, а тут
«Чижик» и «Елизавета»
По Москве-реке идут.

Отдохнуть от умных книжек
Я хотел уже давно.
Принимай же, милый «Чижик»,
С легким грузом заодно.

Где там «Дон» и «Магдалина» –
Быстроходные суда!
Теплоход качает чинно
Москворецкая вода.

Пусть не встречу видов новых –
И привычным буду рад.
Доплывем до Воробьевых
И отправимся назад.

А потом «Елизавета»
Понесет нас по волне
В танце медленного лета,
В предвечерней тишине.

Огоньки играют ярко.
Все любимые места.

Проплывет над нами арка
Патриаршего моста.

А за ним увидим снова
Заповедные дома –
И Перцова, и Цветкова
Расписные терема.

Ночь короткая настанет,
А веселый теплоход
Не устанет, не пристанет –
Белой уточкой плывет.

От заката до рассвета
Под искрящийся салют
«Чижик» и «Елизавета»
По Москве-реке идут.

* * *

Белый полдень. Чистые салфетки.
Горкой поминальные блины.
И душа, как птица в прутья клетки,
Бьется с невозвратной стороны.

На пороге вечности и мига
Что за весть спешит она подать?
Перед ней – открывшаяся книга,
Здесь – незавершенная тетрадь.

* * *

Напластования имен
Читаешь на прогулках –
Напластования времен
В московских переулках.

Здесь кладка древняя легла
Всей мускульной напругой
И от угла и до угла
Проходит ветер фугой.

И чьи пестрели здесь дворы,
Чьи зрели огороды –
Живая память той поры
Хранит из рода в роды.

И правнук в повести найдет,
Обрадован наследству,
Простой житейский обиход
С бессмертьем по соседству.

РАЗРУШЕНИЕ

Здесь обагрят закат вечерами
Остов из красного кирпича.
Мертвая птица в разрушенном храме
Словно задутая ветром свеча.

Заполняет полынное поле
Каждую пядь на церковном дворе.
Агнец давно не лежит на престоле.
Не возгласит иерей в алтаре.

Выглянет разве шофер из кабины
Свистнет, ругнется и мчится во мглу.
А на стене прорастают рябины
И сиротеет могила в углу.

* * *

Опять апрель – зажги снега
В полях журчит,
Распев Страстного Четверга
Опять звучит.

И снова сердце на пути
В Господень дом,
Чтоб не с Иудою уйти –
Рыдать с Петром.

И скорбь светла и высока,
И полон храм.
Течет поющая река
К Святым Дарам.

И пламя зыблемое свеч,
И солнца луч
Для сердца обретают речь
И свет певуч.

И на последней глубине,
Где звук угас,
Приходит втайне – не извне –
Великий час.

ДВОР

*Памяти
моего любимого деда Давида*

В воспоминаньях обугленных детских
Что воскресает во взгляде твоём?
Крыши домов двухэтажных немецких,
Желто-бордовый двора оком.

Пленные немцы трудились на совесть,
Свой бидермайер в Москве возводя.
Плавно текла коммунальная повесть
Под опекающим оком вождя.

Славно жилось под подошвой хозяйской.
И на последнем усатом году
Выпало счастье – в конце Первомайской
Все-таки дали квартиру жиду.

Он не хвалил и не клял людоеда,
Молча работал и все понимал.
Три человека в семействе у деда,
Три комнатенки размером с пенал.

Впрочем, тогда это было везенье.
Внука хотелось. И вот наконец
Ты появился на свет в воскресенье,
Грауэрмана бессчетный птенец.

А над Москвою гроза грохотала,
В рев урагана ворвался твой крик...
Бережно край отвернув одеяла,
На руки принял младенца старик.

Что тебя встретило? Оттепель, тополь
И палисадника низкий забор,
В книжке картинкою красный акрополь,
Взрослых на кухне глухой разговор,

Неизжитого наследства обида,
Непереплавленная руда.
Над колыбелью твоей, дед-Давида
Желтой печалью светила звезда.

Снег расплзался, на солнце истаяв,
В лужах играл разноцветьем бензин.
Ты из тогдашних московских трамваев
Не позабудешь вовеки один.

Он появлялся, гремящий, покатый,
Шел, триумфально и празднично ал.
Ты ликовал, и восторгом объятый,
«Царским» ты этот трамвай называл.

Из «Амаркорда» забудешь едва ли
Мудрый и грустно-смешной эпизод,
Где горожане на лодках встречали
Мимо идущий большой пароход.

А во дворе цвел боярышник густо
И мужики «забывали козла».
Хор пионерский гремел многоусто,
Славя великие наши дела.

Шли пятилетки. Менялся хозяин.
Но почему-то в сплошной кутерьме
Готика этих московских окраин
Запечатлелась в ребячьем уме.

С дедом тебе не случилось проститься.
Позже сказали. Когда он ушел,
Первой несчастье почуяла птица –
В клетке лежал, каменья, щегол.

Ты не хотел и не мог примириться:
Что – навсегда и бесследно исчез?
«Горе забудется, чудо свершится» –
Словно пытался утешить Бернес.

И угольком в темноте безнадежной,
Вестью неведомой в детской груди,
Хрупкой соломинкой в жизни безбожной
Тлели слова: «Все еще впереди».

После в пространстве готическом этом
Переплелись, не касаясь глубин,
Мифы Эллады, «Фауст» с «Макбетом»
И телевизор марки «Рубин».

Что ты запомнил, жидовская морда?
Что сохранилось оттуда в тебе?
Пепельный след твоего «амаркорда»
Неистребимо остался в судьбе.

Видно, недаром от Греции древней,
Первой потери и смерти щегла
Вектором четким до Новой Деревни
В жизни дорога твоя пролегла.

Там приобщился ты горнего хлеба,
Сердце зарделось веселым огнем,
Там открывалось высокое небо
И очевидность бессмертия в нем.

Старого дома давно уже нету –
Градостроительству стал поперек.
План утвердили, составили смету
И подогнали бульдозеры в срок.

Жизни течение неумолимо.
Двор разломали, срубили сады
И на окраине Третьего Рима
Варварской готики скрыты следы.

Александр ЗОРИН

В ГОСТЯХ

* * *

Снова март чудодейственный призван
Жизнь вдохнуть в запечатанный гроб.
Лес ликующим солнцем пронизан.
Дышит волей горбатый сугроб.

Всюду блещут алмазные грани
Затаившейся близкой страды.
Жаль, однако – вокруг поселяне
Оставляют иные следы.

Уж, наверно, у зверя в берлоге
Чище – да и себе не во вред,
Чем под елками, где при дороге,
Видно, был новогодний банкет.

Ах, прославленная Птица-тройка,
Все летишь, закусив удила...
Там, где ты приземлилась, – помойка
Отпечталась, землю прожгла.

Подморозило. Ночью кромешной
Охлаждает родимый погост
Крупной солью белеющих звезд
Март отзывчивый, март безутешный.

**ПО МОТИВАМ КАРТИНЫ К. МАКОВСКОГО
«ДЕТИ, БЕГУЩИЕ ОТ ГРОЗЫ» (1872 Г.)**

Анютка – с рожденья в заботах –
Босая по лугу бежит.
Вцепившись в нее, на закорках
Егорка от страха дрожит.

Кикимора прячется в яме.
Рогатый прикинулся пнем.
Порывивает за холмами,
Грозится и скалится гром.

Лихая беда неминуча.
Оттуда, нацелясь в обход,
Как будто медведиха, туча
На задние лапы встает.

Вот-вот подомнет... Через реку
По хлипким мосточкам спешит..
И дальше – по склону, по снегу,
Навстречу двадцатому веку
Босая Россия бежит.

А больше и некуда вроде..
Грядущее брезжит вчерне.
При гибельной непогоде
Светло только в той стороне.

Упасть бы хотя под корягу
Какую... И тучу заклясть!
Навстречу Совдепу, ГУЛАГу
Бежит ко всеобщему благу,
Коммунии – в самую пасть.

Как долго в блокаде природной
Еще ей дрожать и дрожать...
От общей беды безысходной
Помимо той кривды вольготной
Ей некуда было бежать.

* * *

Без иллюзий – ближе, ближе
Видится предел земной.
Доживать нам в этой жиже,
В этой яме выгребной.

После всех экспериментов
По методике – ломать.
Накопилось экскрементов –
Лет за сто не расхлебать.

Ежели на дне колодца,
То бишь ямы выгребной,
Навсегда не захлебнется
Мой несчастный край родной.

Что ты, брат, глазища пялишь...
Пусть калека из калек,
Ты алкаш, но не опарыш.
Ты крещеный человек.

Век твой злополучный прожит.
Но ломает и корежит,
По всему, сдается мне,
Нас – по нашей же вине.

А если так, то Бог поможет
Даже здесь, на скользком дне.

* * *

Солнце светит иль дождь моросит –
Да в любую погоду –
Человечество издавна мстит
Одному лишь народу.
За Христа изнывало от ран
Авраамово лоно –
Под хваленой пятой египтян,
Под луной Вавилона.
Строем эллинских, римских когорт
Сметено на край света.
Кодлой красно-коричневых морд
Издырявлено в гетто.
За Христа – до и прежде всего –
Мстят евреям и мстили.
Не за то, что распяли Его,
А за то, что родили.

ДОРОЖКА В СЕМХОЗЕ, НА КОТОРОЙ БЫЛ УБИТ ОТЕЦ АЛЕКСАНДР МЕНЬ

Школьники в школу спешат.
Трудящиеся – к электричке.
Скальваю лед возле батюшкиной божнички.

Пятнышко на брусчатке невидимое
ударяет, как шилом,
Возле дорожки, той самой, по которой ходил он.

Дорожка завалена снегом, затоптана...
Но кровь все равно проступает.
Ни дождь, ни слезы, ни время –
ничто ее не смывает.

Деревья осунулись, вдавшие в зимнюю спячку.
Пенсионер прогуливает собачку.

По скользкой дорожке
ступает походкой нетвердой.
Собачка учуяла кровь, в сугробы тычется мордой

И тащит по следу хозяина... Хвостиком крутит...
Что-то еще с этим краем нечистый замутит...
Что-то здесь будет...

То ли провальная плешь с пестротой городской...
То ли опять зарастет непролазной тайгой...

Ах, что бы ни было... Прошлое будущим грезит.
Но след сохранится невидимый. Шрам не исчезнет.

Исчезнет Россия, исчезла уже,
вся изрешечена в шрамах,
Сколько бы здесь ни воздвигнули клубов и храмов.

* * *

Сквозь ветви в синеве раскосой –
Краса и нега... В лес войти...
От осени златоволосой
Горячих глаз не отвести.

Она же, взоры простирая
К непостижимой высоте,
Как грешница полунагая
У Тициана на холсте.

Природа не грешна, не свята.
Плотским желанием объята,
Телесной влагой налита.

Пьянит в расщелине куста
Томительная прохлада,
Пленительная полнота.

Плод ощутимый – плотный воздух
Доступен, руку протянуть.
В кружащихся одеждах пестрых
Томится пышущая грудь.

Оставь душевную хворобу,
Дня принудительную злобу –
Пусть их растащит воронье.
Летам своим не ведать счету...
Войти в отрадную чащобу,
В трепещущую – войти в нее...

* * *

Молодости не завидую.
Над пробуждением ночным
Восходит она Афродитою
Блещущей, сном золотым.
Ею ничуть не обиженный,
К часу закатному ближе, и
Нынче не меньше богат.
Ибо красою возвышенной
Равны восход и закат.

* * *

Вот Лебедь, Андромеда, Орион,
Вот Волопас... Все в сборе. Все на месте.
В ночное небо я давно влюблен.
А все ищу хоть малое созвездье,
Которого не знаю... Страж ночной
Уснувших улиц и полей окрестных,

Как будто дом отыскиваю свой...
Как будто там он, в запредельных безднах...

ПЕЛОПОННЕСКОЕ

Наглядеться, надивиться, надышаться...
Я еще повременю, еще помедлю...
К каменюге, жаром пышущей, прижаться...
Райским куцам поклониться. Попрощаться...
И – домой. В беду российскую, как в петлю.

От угроз ее и совестно, и тошно,
Нависающих от самого рожденья.
Приспособились – дышать в удавке можно.
Вырваться б из нее хоть на мгновенье.

Неуступчиво искать опору в крыльях,
Честно вкалывая в логове удава.
Мне все чаще вспоминается Курилов,
Непрославленный герой – Курилов Слава,

Южной ночью сиганувший с теплохода,
Трое суток пропадавший в океане...
К счастью, выплывший тогда... Кому свобода
Приоткрылась, не удержишь на аркане.

Я, плененный ослепительным простором,
Не могу на отчий край не оглянуться,
Не подумать о свиданье слишком скором,
О петле, не дать которой затянуться.

**ПОЭТУ ГРИГОРИЮ ЗОБИНУ
ПРИ ВРУЧЕНИИ ЕМУ
ПЛОТНИЦКОГО ТОПОРА**

За громогласным «Мно-о-гая лета!»,
поэт, прими подарок от поэта.
Традиции наперекор
не череп и не перстень, а топор.

Пусть, опершись на древко Архилоха,
прельщает мифом древняя эпоха.
Новейшая – велит поэту дом
на камне строить. Самому притом.

Когда бы у тебя, интеллигента
потомственного, – денег пруд пруди...
А то ведь гонорары не ахти...
Не обойтись никак без инструмента.

В редакции с ним только не ходи.
Уж он, черту отслеживая гладко,
поможет отмахнуться от химер.

Кому-кому, а мастерская хватка
тебе нужна и точный глазомер.

Еще я знаю, ты большой охотник
до обобщений. Это – не в укор.
У нас с тобой учитель общий – Плотник.
А потому держись. Держи топор.

* * *

К тебе, новоявленный Ирод,
Любовь обездоленных сирот
Зашкаливает навзрыд.

Ковшом телящика вырыт
Наш путь, костоломный наш быт –
Назад, в ледниковый период.

Направленный рупор сплотил
Толпу зачумленных громил,
Послушных командному бреду.
И мамонт в ночи вострубил
Косматую вашу победу.

ПРЕДЫСХОДНОЕ

Сумрачный закат тяжел.
Медному подобен слитку.
Вот и август подошел,
Тихо отворил калитку.

Гость неотвратимый мой,
Заходи смелей, не мешкай.
Кто там за твоей спиной
Притаился – ангел, леший?..

Нынче мы с тобой в ладу
И любой разлад рассудим.
Ну, а в будущем году
Неизвестно, где мы будем.

Вдруг на этой же заре,
Так же гаснущей сурово,
Встретимся?.. На чьей земле?..
Да и встретимся ли снова?..

А куда ждем вестей
Лучших от родных властей,

Не загадываем на год –
Как у них там карты лягут,

От войны или к войне?
Пасынки в своей стране,
В чем-то мы от них зависим,
Приспосабливаясь не
Вторить их повадкам крысыим.

Но зато из майских грез
Выпутались мы, не скрою,
Искупительной ценою –
Россыпью алмазных звезд,
Щедро посланных тобою.

Кто там замер позади
Тополя под пестрой шкурой?..
Не оглядывайся, входи,
Август Августович хмурый.

В ГОСТЯХ

Где ты живешь, вы спросите, – в гостях...
Уже почти два года обитаю
В гостях... И ни на миг не забываю
Об этом... В интернетных новостях
Еще живу... Или точнее, витаю.

В гостеприимной деловой стране
Все неприкаянно, все чуждо мне.
Опрятный парк, просторная квартира.
И только ночью в дивной тишине
Окликнут в незашторенном окне
Созвездия родные – Лебедь, Лира,
Возничий, Андромеда...

Позовет

Из дома на свидание, наверно,
На Западе, блистая в свой черед,
Встающая из пены звезд Венера.

Она сияет и в моих краях,
О коих ни на миг не забываю.
Где, как всегда в почете гниль и прах,
Где почивает вековечный страх...

Сегодня, обихоженный, в гостях
Живу...
А завтра будет что, не знаю.

Фазиль ИСКАНДЕР
(1929–2016)

ПЬЮ, РОГ ТЯЖЕЛЫЙ НАКРЕНЯ...*

ДЕТСТВО

Какая это благодать!
Я вспоминаю, ночью летней
Так сладко было засыпать
Под говор в комнате соседней.

Там люди с нашего двора,
У каждого свой странный гонор.
Мир, непонятный мне с утра,
Сливается в понятный говор.

Днем распадется этот круг
На окрики и дребезжанье.
Но сладок ночью слитный звук,
Его струенье и журчанье.

То звякнут ложкой о стекло,
То хрустнут кожурой ореха...
И вновь обдаст меня тепло
Уюта, слаженности, смеха.

И от затылка до подошв,
Сквозь страхи детского закута,
Меня пронизывает дрожь,
Разумной слаженности чудо.

* Составил Алексей Смирнов.

Я помню: надо не болеть
И отмечать свой рост украдкой,
И то, что долго мне взрослеть,
И то, что долго – тоже сладко.

Я постигаю с детских лет
Доверчивости обаянье,
Неведенья огромный свет,
Раскованность непониманья.

Да и теперь внезапно, вдруг
Я вздрогну от улыбки милой.
Но где защитный этот круг
Превосходящей взрослой силы?

Бесплодный, беспощадный свет
И перечень ошибок поздних...
Вот почему на свете нет
Детей, растерянное взрослых.

КОФЕЙНЯ

Нет, не ради славословий
Экзотических причуд
Нам в кофейне черный кофе
В белых чашечках несут.

Сколько раз в житейской буре
Обездоленный мой дух
Обретал клочок лазури
После чашки или двух!

Веселящие напитки,
Этот вашим не чета.

Мне от вас одни убытки
Да похмелья чернота.

Глянуть в будущее смело
Спьяну всякий норовит.
Здесь, друзья, другое дело:
Ясность мысли веселит.

От всемирного дурмана
Напузырится душа...
Черный кофе – без обмана,
Ясность мысли хороша.

Принимаю очевидный
Мир без радужных одежд,
Пью из чашки яйцевидной
Долю скорби и надежд.

Пью и славлю кофевара,
В ясной памяти пою
Аравийского отвара
Неподкупную струю.

Спросит смерть у изголовья:
– Есть желания, проси!
Я отвечу: – Ясный кофе
Напоследок принеси.

В ДАВИЛЬНЕ

В давилльне давят виноград –
Вот что важнее всех событий.
В дубовом дедовском корыте
Справляют осени обряд.

Крестьяне, закатав штаны,
Ведут языческие игры.
Измазанные соком икры
Работают, как шатуны.

Работают крестьяне в лад.
Гудит дубовая колода.
Летят на гроздь капли пота.
Но пот не портит виноград.

Жуют ногами виноград!
И нету ног святых и чище.
По травам летним, по грязище
Ступавших тыщи лет подряд.

Жизнь – это что такое, брат?
Давильня, а не живодерня.
Но дьявол путает упорно,
И кости юные трещат.

Люблю давилни вязкий чад,
Шипенье, чмокание и стоны,
Спиртовый воздух напряженный...
В давилне давят виноград.

Топырится над гроздью гроздь,
Как груди смуглые южанок.
Дождемся свадебных гулянок.
Тогда, тогда, как повелось,

Хозяин распахнет подвал.
Друзьям собраться за столом бы!
Взорвутся солнечные бомбы!
Под стол слабейших, наповал!

За стойкость мужества, мужчины.
За клин, что вышибает клин!
Неважно, кто открыл кувшин,
А важен вкус вина в кувшине.

Пью, рог тяжелый накренья,
Да будет рогом изобилья,
А если что сказать забыл я.
Друзья доскажут за меня.

НА ЛЕЖБИЩЕ КОТИКОВ

Я видел мир в его первичной сути.
Из космоса, из допотопной мути,
Из прорвы вод на Командорский мыс
Чудовища, подтягивая туши,
Карабкались, вползали неуклюже,
Отряхивались, фыркали, скреблись.

Под мехом царственным подрагивало сало,
Струилось лежбище, лоснилось и мерцало.

Обрывистое, каменное ложе.
Вожак загадочным (но хрюкающим все же),
Тяжелым сфинксом замер на скале.
Он словно сторожил свое надгробье,
На океан взирая исподлобья
С гримасой самурая на челе.

Под мехом царственным подрагивало сало,
Струилось лежбище, лоснилось и мерцало.

Ворочая громадным, дряблым торсом,
Секач над самкой годовалой ерзал,
Сосредоточен, хладнокровен, нем,

И, раздражаясь затянувшимся обрядом,
Пыхтел усач. Однако тусклым взглядом
Хозяйственно оглядывал гарем.

А молодняк в воде резвился рядом.
Тот, кувыркаясь, вылетал снарядом,
Тот, разогнавшись, тормозил ластом
И затихал, блаженно колыхаясь,
Ухмылкой слабоумной ухмыляясь,
Пошлепывая по спине хвостом.

Но обрывается затишье и дремота.
Они, должно быть, вспоминают что-то,
Зевота скуки расправляет пасть.
Как жвачка пережеванная, злоба
Ласты шевелит, разъедает небо,
И тварь встает, чтоб обозначить власть.

Соперники! Захлебываясь, воя,
Ластами шлепая, котиху делят двое,
Кричащую по камням волоча.
Один рванул! И черною лавиной
С еще недокричавшей половиной
К воде скатился и затих, урча.

Два секача друг друга пропорол!
Хрипя от похоти, от ярости, от боли,
Воинственным охваченные пылом,
В распоротых желудках рылись рылом,
Заляпав кровью жаркие меха!
Спешили из дымящейся лохани

Ужраться до смерти чужими потрохами,
Теряя собственные потроха,..
И хоть бы что! Подрагивало сало,
Струилось лежбище, лоснилось и мерцало.

Здесь каждый одинок и равнодушен
Покамест сам внезапно не укушен,
Не сдвинут с места, не поддет клыком.
И каждый замкнут собственной особой,
На мир глядит с какой-то сонной злобой
Недвижным гипнотическим зрачком.

Здесь запах падали и аммиачно-серный
Извечный дух вселенской свинофермы,
Арктическая злоба и оскал.
Здесь солнце плоское, закатное, рябое,
Фонтаны крови над фонтанами приборя
И сумрак и гряда безлюдных скал.

– Нет! – крикнул я. – Вовеки не приемлю
Гадючьим семенем отравленную землю,
Где мысли нет, там милосердья нет.
Ты видишь сам – нельзя без человека!
Приплюснута, как череп печенег,
Земля мертва, и страшен звездный свет.

А ночь текла, и млечная громада
Спиной млекопитающего гада
Отражена... И океанский вал,
Над гулом лежбища прокатываясь гулом,
Холодной пылью ударял по скулам
И, пламенем белея, умирал.

Геннадий КАЛАШНИКОВ

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ

* * *

Дно колодца мерцает, дробится – то ли
зеркало, то ли глаз кита, на спине которого лежит Земля.
Дом стоит на пригорке, за перелеском пустое поле
да бурун облаков от проплывшего небесного корабля.

Спорят с ветром деревья, вскипают и даже,
выворачивая листву, переиначивают свое естество.
Весь набор: свет и тень, необходимые для пейзажа,
как и прочие – крупные и мелкие – части его.

Циферблат небосвода всегда педантично точен:
по-имперски безлик, облаков принимая парад.
Здесь подробностей нет, лишь сплошное зиянье и прочерк,
ибо точен и сух небосвода слепой циферблат.

Это бездны следы, на лазури ее отпечатки,
это вечности цепкий, недвижно-внимательный взгляд.
Сохраняется все на фасетчатой влажной сетчатке:
никуда не уйдешь, никогда не вернешься назад.

Неподвижно плывут облака, циферблат
никогда не проснется,
дом стоит на пригорке, и в этом какой-то расчет.

А река под горой и вода в подземелье колодца
все течет, Гераклит, все течет и течет, и течет.

* * *

Дождь переходит в снег, а снег
обводит мелом дороги и кровли...
Мы с тобой давно задумывали побег
туда, где крестьянин свои обновляет дровни.

Нет, наверно, задумывал я один,
прослышав о счастье, покое, воле,
сам себе царь, себе господин,
но – один всего лишь на миг – не боле:

ведь и в глуши очерченных мелом лесов,
застывших с разбегу рек, в тесноте просторов
ты расщепляешься на множество голосов,
ведущих невнятные разговоры и бесцельные споры.

Все то, что читал, что тебе напевала мать,
что сверстник рассказывал, невпопад, украдкой,
все это не спит и мешает спать,
листает, нервничает, шуршит закладкой.

Ты темную реку переходишь вброд,
ища во тьме огонек папиросы,
словно на берегу тебя поджидает тот,
кому задаешь и на чьи отвечаешь вопросы.

При чем здесь крестьянин и санный след,
и пушкинский почерк по белому белым?
Татуировка синее, мол, счастья нет,
а есть только свет и тьма, обведенные мелом.

Мы живем впотьмах, впопыхах, и весь этот мир,
где досужий крестьянин успел обновить свой полоз,
всего лишь эхо, неясный, зыбкий пунктир,
надтреснутый, запинаящийся, негромкий голос,

говорящий чудную, чудную весть,
о том, что ты здесь и уже с пути не собьешься...
– Господи, – пробормочешь, – если ты есть...
И тут же заткнешься.

* * *

Ночная река, расширяясь, беззвучно уходит во тьму,
там что-то дрожит и пульсирует слева
поток замирает, и низко склонилось к нему
бессонницы серое голое древо.

Тяжелая птица сутуло сидит на суку,
из мрака во мрак переходит неясная нежить.
Прихлынет волна – про любовь и тоску,
отхлынет волна – про разлуку и нежность.

Такая любовь, что и ельник горбатый колюч,
такая разлука, что реку сгибает в излучку.
Сквозь черную воду мерцает серебряный ключ,
и больно туда опустить ослабевшую руку.

Как страшно река обрывается: сразу и вне
любых оговорок, всплывает изглоданный ревностью
камень,
дробится луна на беззвучной покатоной волне,
и рыбы плывут, и луну задевают боками.

* * *

Последний трамвай, золотой вагон, его огней
перламуטר,
и этих ночей густой самогон, и это похмелье утр,
как будто катилось с горы колесо и встало среди огня,
как будто ты, отвернув лицо, сказала: живи без меня, –
и ветер подул куда-то вкось, и тени качнулись врозь,

а после пламя прошло насквозь, пламя прошло
насквозь.
огонь лицо повернул ко мне, и стал я телом огня,
и голос твой говорил в огне: теперь живи без меня, –
и это все будет сниться мне, покуда я буду жить,
какая же мука спать в огне, гудящим пламенем быть,
когда-то закончится этот сон, уймется пламени гуд,
и я вскочу в золотой вагон, везущий на страшный суд,
конец октября, и верхушка дня в золоте и крови,
живи без меня, живи без меня, живи без меня, живи.

НЕМОЕ КИНО

Дождик прошел, второпях, между делом,
только и помню – ночное окно
да мельтешенье картин черно-белых,
словно смешное, немое кино.

Что в нашей памяти? Только прорехи
и на воде ледяные круги.
Сонный трамвай эту ночь переехал,
искры посыпались с черной дуги.

Светит фонарь, переулок забрызган
люминесцентными каплями слез.
Слышно, как тихо жужжат механизмы
старой, обманчивой фабрики грез.

Мельница снов, световых перебоев,
годы мелькают быстрее, чем дни.
Что ж, перематывай свой целлулоид,
и обмани, еще раз обмани...

СВЕТ

Ире

Осенний день, но осень
сдаёт свои права.
Иней словно проседь,
ломкая трава.

И воздух словно взвешен,
и постепенно в нём
над полем опустевшим,
за глиняным бугром,

нетронутые ветром,
из одного куска
все в переливах света
вспухают облака.

Неярок он и млечен
свет тот неземной,
словно мир подсвечен
грядущею зимой.

* * *

Как жука из коробки,
достаю очередное слово
с усиками суффиксов,
рогами приставок,
золотым хитиновым корнем,
перламутровым окончанием.
По всем законам физики
оно не может летать.
И все же взлетает,
оставляя стремительный росчерк,

и гудит, и жужжит, и стрекочет.
 От Белева летит до Формозы,
 совершая метаморфозы,
 во мрак впивается шутихою хвостатой,
 царапиной, цикадою, цитатой;
 светящиеся петли этих странствий
 загадочней каналов марсианских.
 И не сгорает, не сгорает, вовсю горя,
 как Фет сказал: не жаль того огня...

Все остановится. Все перестанет длиться.
 А оно все будет летать, трепетать, светиться...

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Из тьмы троллейбус вынырнул и встал
 и вновь умчался с дребезгом тележным.
 Как подстаканник круглый пьедестал,
 на нем поэт мечтательно-мятежный,
 но как бы озабоченный слегка,
 что он, как перст, торчит на белом свете,
 что оттопырил полу сюртука
 весьма кустарно выполненный ветер.
 Хотелось бы цитату привести –
 жестокий век, надменные потомки, –
 но вновь троллейбус, провод сжав в горсти,
 мгновенной вспышкой разорвет потемки.
 Электровспышка застает врасплох
 (вот так на стенд «Не проходите мимо» –
 жестокий век! – снимают выпивох).
 И мы уже рассматриваем снимок.
 Высотный дом из светло-серых плит,
 поет цикада родом из Тамани,
 нет, не цикада – мелочью гремит
 прохожий в оттопыренном кармане.

Хотелось бы задуматься, скорбя,
под шелест лип хотелось бы забыться,
но вновь пронзает воздух октября
электроангел с электрозеницей.
Шуршит листва, как будто дело в том,
чтобы цитату отыскать прилежно,
как будто выдан каждой липе том
с закладкой и пометкою небрежной,
как будто бы цитата подтвердит
весь этот мир, что только с бездной дружен,
а пение электроанид
внесет гармонию в измученные души.
Нога скользит – как зыбок здесь гранит,
разверзлась пропасть – страшно без привычки,
кремнистый путь над бездною блестит,
и здесь поставить надо бы кавычки.
Прекрасен мир с приставкой электро-,
мир без приставки тоже нам приветен.
И вход в метро и выход из метро
как ноздри демона, вдыхающего ветер.

* * *

Никогда не отыскивающееся, но вечно искомое,
чьи приметы не вспомнить и не описать
внешний вид,
до крови близкое, как летнее насекомое,
чудно-знакомое, как греческий алфавит,
как вся Древняя Греция,
как у Гоголя плеоназм,
волшебное, как эрекция,
инопланетное, как оргазм,
уходящее круто кверху,
но неизменно приводящее вниз,
что же это такое: эхо,

а, возможно, и рифма
тихо подсказывают –
жизнь.

* * *

Вижу в небе звезду, всего одну –
незадачливый звездочет –
я иду под водой, иду по дну
той реки, которая не течет.
Этот хрупкий луч из небесных круч,
этот древний зеленый свет,
не дающийся в руки желанный ключ
от того, чего нет
ни среди живых, ни среди иных,
в никуда уходит, маня.
Я на берег выйду и встречу их,
тех, кто вышел встречать меня.

Наум КОРЖАВИН
(1925–2018)

А Я БРОДИЛ В АКАЦИЯХ, КАК В ДЫМЕ...*

* * *

*Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал.*

П. Коган

Меня, как видно, Бог не звал
И вкусом не снабдил утонченным.
Я с детства полюбил овал,
За то, что он такой законченный.
Я рос и слушал сказки мамы
И ничего не рисовал,
Когда вставал ко мне углами
Мир, не похожий на овал.
Но все углы, и все печали,
И всех противоречий вал
Я тем острее ощущаю,
Что с детства полюбил овал.

* * *

Предельно краток язык земной,
Он будет всегда таким.
С другим – это значит: то, что со мной,
Но – с другим.

* Составила Алла Шарапова.

А я победил уже эту боль,
Ушел и махнул рукой:
С другой... Это значит: то, что
с тобой,
Но – с другой.

ЗАВИСТЬ

Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.

И какие бы взгляды вы
Ни старались выплескивать,
Генерал Милорадович
Не узнает Каховского.

Пусть по мелочи биты вы
Чаще самого частого,
Но не будут выпытывать
Имена соучастников.

Мы не будем увенчаны...
И в кибитках,
снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами.

СТИХИ О ДЕТСТВЕ И РОМАНТИКЕ

Гуляли, целовались, жили-были...
А между тем, гнусавя и рыча,
Шли в ночь закрытые автомобили

И дворников будили по ночам.
Давил на кнопку, не стесняясь, палец,
И вдруг по нервам прыгала волна...
Звонок урчал... И дети просыпались,
И вскрикивали женщины со сна.
А город спал. И наплевать влюбленным
На яркий свет автомобильных фар,
Пока цветут акации и клены,
Роняя аромат на тротуар.
Я о себе рассказывать не стану –
У всех поэтов ведь судьба одна...
Меня везде считали хулиганом,
Хоть я за жизнь не выбил ни окна...
А южный ветер навевает смелость.
Я шел, бродил и не писал дневник,
А в голове крутилось и вертелось
От множества революционных книг.
И я готов был встать за это грудью,
И я поверить не умел никак,
Когда насквозь неискренние люди
Нам говорили речи о врагах...
Романтика, растоптанная ими,
Знамена запыленные – кругом...
И я бродил в акациях, как в дыме.
И мне тогда хотелось быть врагом.

РАССУДОЧНОСТЬ

Мороз был – как жара, и свет – как мгла.
Все очертанья тень заволокла.

Предмет неотличим был от теней.
И стал огромным в полутьме – пигмей.

И должен был твой разум каждый день
Вновь открывать, что значит свет и
тень.

Что значит ночь и день, и топь и
гать...
Простые вещи снова открывать.

Он осязанье мыслью подтверждал,
Он сам с годами вроде чувства стал.

Другие наступают времена.
С глаз наконец спадает пелена.
А ты, как за постыдные грехи,
Ругаешь за рассудочность стихи.

Но я не рассуждал. Я шел ко дну.
Смотрел вперед, а видел пелену.
Я ослеплен быть мог от молний-стрел.
Но я глазами разума смотрел.

И повторял, что в небе небо есть
И что земля еще на месте, здесь.

Что тут пучина, ну, а там – причал.
Так мне мой разум чувства возвращал.
Нет! Я на этом до сих пор стою.
Пусть мне простят рассудочность мою.

БАЛЛАДА О СОБСТВЕННОЙ ГИБЕЛИ

Я – обманутый в светлой надежде,
Я – лишенный Судьбы и души –
Только раз я восстал в Будапеште
Против наглости, гнета и лжи.

Только раз я простое значенье
Громких фраз – ощутил наяву.
Но потом потерпел поражение
И померк. И с тех пор – не живу.

Грубой силой – под стоны и ропот –
Я убит на глазах у людей.
И усталая совесть Европы
Примирилась со смертью моей.

Только глупость, тоска и железо...
Память – стерта. Нет больше надежд.
Я и сам никуда уж не лезу...
Но не предал я свой Будапешт.

Там однажды над страшною силой
Я поднялся – ей был несродни.
Там и пал я... Хоть жил я в России. –
Где поныне влачу свои дни.

ВАРИАЦИИ ИЗ НЕКРАСОВА

...Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год –
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
Но кони – все скачут и скачут.
А избы – горят и горят.

ЦЕРКОВЬ СПАСА-НА-КРОВИ

Церковь Спаса-на-Крови!
Над каналом дождь, как встарь.
Ради Правды и Любви
Тут убит был русский царь.

Был разорван на куски
Не за грех иль подвиг свой, –
От безвыходной тоски
И за морок вековой.

От неправды давних дел,
Веры в то, что выпал срок.
А ведь он и сам хотел
Морок вытравить... Не смог.

И убит был. Для любви.
Не оставил ничего.
Эта церковь на крови –
Память звания его.

Широка, слепа, тупа,
Смотрит, благостно скорбя.
Словно дворников толпа
Топчет в ярости тебя.

В скорби – радость торжества:
То Народ не снес обид.
Шутка ль! Ради баловства
Самый добрый царь убит.

Ради призрачной мечты!
Самозванство! – Стыд и срам!..
Подтверждение правоты
Всех неправых – этот храм.

И летит в столетья весть,
В крест отлитая. В металл.
Про «дворянов» злую месть.
Месть за то, что волю дал.

Церковь Спаса-на-Крови!
Довод ночи против дня...
Сколько раз так – для любви! –
Убивали и меня.

И терпел, скрепив свой дух:
Это – личная беда!
И не ведал, что вокруг
Накоплялась темнота.

Надоел мне этот бред!
Кровь зазя – не для любви.
Если кровь – то спасу нет,
Ставь хоть церковь на крови.

Но предстанет вновь – заря,
Морок, сонь... Мне двадцать лет.
И не кто-то – я царя
Жду и верю: вспыхнет свет.

Жду и верю: расцветет
Все вокруг. И в чем-то – лгу.
Но не верить – знать, что гнет
Будет длиться... – не могу.

Не могу, так пусть – «авось!»
Русь моя! Наш вечный рок –
Доставанье с неба звезд,
Вера в то, что выпал срок.

Не с того ль твоя судьба:
Смертный выстрел – для любви.
С Богом – дворников толпа,
Церковь Спаса – на крови?

Чу! Карета вдалеке...
Стук копыт. Слышней... Слышней.
Все!
В надежде – и в тоске
Сам пошел навстречу ей.

ПАМЯТИ ГЕРЦЕНА

*Баллада об историческом недосыпе
(Жестокий романс по одноименному
произведению В. И. Ленина)*

Речь идет не о реальном Герцене, к которому автор относится с благоговением и любовью, а только о его сегодняшней официальной репутации.

Любовь к Добру разбередила сердце им.
А Герцен спал, не ведая про зло...
Но декабристы разбудили Герцена.
Он не доспал. Отсюда все пошло.

И, ошалев от их поступка дерзкого,
Он поднял страшный на весь мир трезвон.
Чем разбудил случайно Чернышевского,
Не зная сам, что этим сделал он.

А тот со сна, имея нервы слабые,
Стал к топору Россию призывать, –
Чем потревожил крепкий сон Желябова,
А тот Перовской не дал власть поспать.

И захотелось тут же с кем-то драться им,
Идти в народ и не страшиться дыб.
Так началась в России конспирация:
Большое дело – долгий недосып.

Был царь убит, но мир не зажил заново.
Желябов пал, уснув несладким сном.
Но перед этим побудил Плеханова,
Чтоб тот пошел совсем другим путем,

Все обойтись могло с теченьем времени.
В порядок мог втянуться русский быт...
Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребенок спит?

На тот вопрос ответа нету точного.
Который год мы ищем зря его...
Три составные части – три источника
Не проясняют здесь нам ничего.

Да он и сам не знал, пожалуй, этого,
Хоть мести в нем запас не иссякал.
Хоть тот вопрос научно он исследовал, –
Лет пятьдесят виновного искал.

То в «Бунде», то в кадетах... Не найдутся ли
Хоть там следы. И в неудаче зол,
Он сразу всем устроил революцию,
Чтоб ни один от кары не ушел.

И с песней шли к Голгофам под знаменами
Отцы за ним, – как в сладкое житье...
Пусть нам простятся морды полусонные,
Мы дети тех, кто не доспал свое.

Мы спать хотим... И никуда не деться нам
От жажды сна и жажды всех судить...
Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..
Нельзя в России никого будить.

АПОКАЛИПСИС

Мы испытали все на свете.
Но есть у нас теперь квартиры –
Как в светлый сон, мы входим в них.
А в Праге, в танках, наши дети...
Но нам плевать на ужас мира –
Пьем в «Гастрономах» на троих.

Мы так давно привыкли к аду,
Что нет у нас ни капли грусти –
Нам даже льстит, что мы страшны.
К тому, что стало нам не надо,
Других мы силой не подпустим, –
Мы, отродясь, – оскорблены.

Судьба считает наши вины,
И всем понятно: что-то будет –
Любой бы каялся сейчас...
Но мы – дорвавшиеся свиньи,
Изголодавшиеся люди,
И нам не внятен Божий глас.

* * *

Я плоть, Господь... Но я не только плоть.
Прошу покоя у Тебя, Господь.

Прошу покоя... Нет, совсем не льгот.
Пусть даже нищета ко мне идет.

Пускай стоит у двери под окном
И держит ордер, чтоб войти в мой дом.

Я не сержусь, хоть сам себе не рад.
Здесь предо мной никто не виноват.

Простые люди... Кто я впрямь для них?..
Лежачий камень... Мыслящий тростник...

Всех милосердий я превысил срок,
Протянутой руки схватить не смог.

Зачем им знать и помнить обо мне,
Что значил я, чем жил в своей стране.

В своей стране, где подвиг мой и грех.
В своей стране, что в пропасть тащит всех.

Они – просты. Досуг их добр и тих.
И где им знать, что в пропасть тащат – их.

Пусть будет все, чему нельзя не быть.
Лишь помощи мне дух мой укрепить.

Покуда я живу в чужой стране.
Покуда жить на свете страшно мне.

Пусть я не только плоть, но я и плоть...
Прошу покоя у Тебя, Господь.

Григорий КРУЖКОВ

ПАЛАТЫ КОНУНГОВ, ЗЕМЛЯНКИ ПАРТИЗАН...

ЯНВАРЬ

Как хорошо проснуться одному,
смотреть, младенчески не узнавая,
на белый потолок своей пещеры,
на ослепительный холодный день,
снега, деревья, гаражи и трубы,
на елку праздничную, как Иосиф,
наряженный на пир, – за Рождество
перевалившую, а там уж скоро
и Старый Новый Год, и непонятно,
что дальше делать: праздновать, пенять
на календарь – или, навьючив сумку
на ослика седого, отправляться
в тот край, где ласточки не лепят гнезд,
а только вьются меж рекой и небом;
где корни пышных пальм, как когти грифов,
в земле сжимают ребра мертвецов;
где даже посох, воткнутый в песок,
(как сказано в одной старинной книге)
тотчас же «летарасли и листочки
пускает, а порою и цветет...»

ПРОЩАНИЕ БЕЛОГО РЫЦАРЯ С АЛИСОЙ

Секунда, ты еще не перешла ручей...
Остановись, замри в сиянии полудня –
В ромашковом венке, в короне из лучей...
Чем дальше от тебя, тем глуше и безлюдней.

Не я ль тебя учил как мертвая стоять
И, что там ни случись, терпеть, не шевелиться.
Что вечности дала промчавшаяся рать?
Разводы на стекле и смазанные лица.

Чем дальше от тебя, тем злей и холодней.
Не знаю, отчего. У Смерти много дней,
У Времени – веков, у Зла – тысячелетий.

А ты моей душе была родной сестрой,
Моей зеркальной, послушливой мечтой,
Второй из половин. Не первой и не третьей.

ОДИНОКИЙ

Этот человек гуляет один вечерами.
Он неотличим от других прохожих –
Кеды, куртка, кашне в полоску.
Ходом шахматного коня он обходит доску:
Эту партию он может играть вслепую.
Приближаясь к очередному киоску,
Морщит лоб и достает папироску,
Дым пускает и держит ее в кулаке как дулю.

Этот человек гуляет один вечерами.
Сколько лет ему, сколько зим неизвестно.
Хорошо, что никто не лезет к нему в кастрюлю,
Не проводит пальцем по зеркалу гардероба.

Вечерами – в час, когда тени встают из гроба,
Он выходит во двор, достает из кармана пачку,
Огонек зажигает торжественно, словно свечку –
И выгуливает свою невидимую собачку,
И пасет свою заблудившуюся овечку.

БИРНАМСКИЙ ЛЕС

Когда Бирнамский лес пойдет на Дунсинан,
Лишь форменный барон застынет как баран
И будет пялиться, в упор не понимая.
Не лес ли поглотил становища древлян,
Палаты конунгов, землянки партизан,
Ацтеков города, дворцы и храмы майя?

А ты, подлесок мой, глядящий храбрецом,
С игрушечным в руке упругим копьенцом,
С беретом на отлет кленового фасона, –
Как петушишься ты, зеленокудрый паж,
Как рвешься отомстить, легко впадая в раж!
О, не волнуйся! Ты – один из легиона.

За вами верх всегда; за нами только низ;
И бальзамический порою только бриз
Доносится сюда, рукой травинку тронув.
О сладкий фимиам, трепещущий в ноздрах!
Он обнимает все – бессмертие и прах,
Гниенья аромат и запах анемонов.

И так ли важно знать, навеки взор сомкнув,
Кто отомстил тебе – отчаянный Макдуф,
О коем наплела шотландская сивилла,
Твой давний смертный грех, записанный в гроссбух,
Или сомнения неугомонный дух,
Или гектаров шесть простого хлорофилла?

НА РАССВЕТЕ

На рассвете не хочется просыпаться,
так на ложе дремно, так тихо в доме...
Андромахе снится прекрасный некто –
может быть, супруг ее, мертвый Гектор,
но легко обознаться.
Спит зигзица в дупле, воробей в соломе.

В этот час козырная приходит дама
к неудачнику – и он ставит на кон
все свои добытые кровью фишки,
проплывает труп мимо черной вышки,
во дворе у храма
умывается из рукомойни дьякон.

Крепко спится на рассвете ворам, бандюгам
и сирени, которую не ломают,
таракану, спрятавшемуся в дырку.
Бог на небе берет деревянный циркуль
и обводит кругом
этот мир, и в кровати дите играет.

СКАЗКА

Что-то в черепе скрипит:
Видно, богатырь не спит.
На полатах без конца
Поворачивается.

Что ты, богатырь, не спишь,
В черепе моем скрипишь?
Ходит чашей круговой
Звездный ковш над головой.

Что, детина, сердце жжет?
Конь у тына тихо ржет;
И все кустики видны
От порога до луны.

ДВОЙНАЯ ФЛЕЙТА

Памяти С. А. и М. Г.

Слышали жители маленькой цитадели,
как на рассвете в воздухе пчелы гудели,
или не пчелы, но в воздухе что-то дрожало,
полнился воздух пеньем какой-то свирели
или стрелы оперенной, чье горькое жало
жаловалось, не достигая трепещущей цели.
Ноющий звук постепенно затих у постели.
Утро настало.

Видели пастыри мирно дремавшего стада,
навзничь улегшись на черно-мохнатые шкуры,
как над холмами вставала созвездий громада –
арка над аркой – ведя, как за грани кристалла,
в даль недоступную для человеческого взгляда;
даже и жадное око следить их устало.
Вот и погасли, один за другим, Диоскуры.
Утро настало.

Утро настало. И что ему, утру, за дело,
что раздается все ближе топор дровосека,
что еще сыплются уголья, что догорела
только что Александрийская библиотека.
Жарят на шомполах воины Улугбека
мясо барашка. Где же ты, о Филомела?
Едешь ли ты через реку, таинственный Грека?
Едешь. И слышу я – флейта двойная запела.

ТРИ МУДРЕЦА

Когда родился Иисус
И стал сосать он грудь,
Три мудреца в одном тазу
Пустились в дальний путь.

И как от Марка и Луки
Вещает нам рассказ,
Волнам и ветру вопреки
Не сгинул старый таз.

Благополучно переплыл
Морские хляби он
И народившемуся был
Младенцу поднесен.

И как легенда нам гласит
На голубом глазу,
Был много раз Господь наш мыт
В чудесном том тазу.

И если Свет рассеял Тьму
И человеков спас,
Не оттого ли, что ему
Помог тот самый таз?

И кажется, что до сих пор
Мы все на нем плывем –
Аптекарь, Пекарь и Бобер
И Дон Кихот с конем.

Непотопляемый предмет,
Предвечный пароход.
Порой помнится – мочи нет,
А он плывет, плывет.

ПЕРЕВОДЫ

Альфред ТЕННИСОН

С английского

УЛИСС

Что пользы, если я, никчемный царь
Бесплодных этих скал, под мирной кровлей
Старея рядом с вянущей женой,
Учу законам этот темный люд? –
Он ест и спит и ничему не внемлет.

Покой не для меня; я осушу
До капли чашу странствий; я всегда
Страдал и радовался полной мерой:
С друзьями – иль один; на берегу –
Иль там, где сквозь прорывы туч мерцали
Над пеной волн дождливые Гиады.
Бродяга ненасытный, повидал
Я многое: чужие города,
Края, обычаи, вождей премудрых,
И сам меж ними пировал с почетом,
И ведал упоенье в звоне битв
На гулких, ветреных равнинах Трои.

Я сам – лишь часть своих воспоминаний:
Но все, что я увидел и объял,
Лишь арка, за которой безграничный
Простор – даль, что все время отступает
Пред взором странника. К чему же медлить,

Ржаветь и стынуть в ножнах боязливых?
Как будто жизнь – дыханье, а не подвиг.
Мне было б мало целой груды жизней,
А предо мною – жалкие остатки
Одной; но каждый миг, что вырываю
У вечного безмолвья, принесет
Мне новое. Позор и стыд – беречься,
Жалеть себя и ждать за годом год,
Когда душа изныла от желанья
Умчатъ вслед за падучею звездой
Туда, за грань изведенного мира!

Вот Телемах, возлюбленный мой сын,
Ему во власть я оставляю царство;
Он терпелив и кроток; он сумеет
С разумной осторожностью смягчить
Бесплодые грубых душ и постепенно
Взрастить в них семена добра и пользы.
Незаменим средь будничных забот,
Отзывчив сердцем, знает он, как должно
Чтить без меня домашние святыни:
Он выполнит свое, а я – свое.

Передо мной – корабль. Трепещет парус.
Морская даль темна. Мои матросы,
Товарищи трудов, надежд и дум,
Привыкшие встречать веселым взором
Грозу и солнце, – вольные сердца!
Вы постарели, как и я. Ну что ж;
У старости есть собственная доблесть.
Смерть обрывает все; но пред концом
Еще возможно кое-что свершить,
Достойное сражавшихся с богами.

Вон замерцали огоньки по скалам;
Смеркается; восходит месяц; бездна

Вокруг шумит и стонет. О дружья,
 Еще не поздно открывать миры, –
 Вперед! Ударьте веслами с размаху
 По звучным волнам. Ибо цель моя –
 Плыть на закат, туда, где тонут звезды
 В пучине Запада. И мы, быть может,
 В пучину канем – или доплывем
 До Островов Блаженных и увидим
 Великого Ахилла (меж других
 Знакомцев наших). Нет, не все ушло.
 Пусть мы не те богатыри, что встарь
 Притягивали землю к небесам,
 Мы – это мы; пусть время и судьба
 Нас подточили, но закал все тот же,
 И тот же в сердце мужественный пыл –
 Держать, искать, найти и не сдаваться!

ТИФОН

Леса гниют, гниют и облетают,
 И тучи, плача, ливнями исходят,
 Устав пахать, ложится в землю пахарь,
 Пресытись небом, умирает лебедь.
 И лишь меня жестокое бессмертье
 Снедает: медленно я увядаю
 В твоих объятьях на краю вселенной, –
 Седая тень, бродящая в тумане
 Средь вечного безмолвия Востока,
 В жемчужных, тающих чертогах утра.

Увы! седоголовый этот призрак
 Когда-то был мужчиной, полным силы.
 Избранник твой, он сам себе казался
 Богоподобным, гордым и счастливым.
 Он попросил тебя: «Дай мне бессмертье!»

И ты дала просимое с улыбкой,
Как богачи дают – легко, небрежно.
Но не дремали мстительные Оры:
Бессильные сгубить, они меня
Обезобразили, к земле пригнули
И, дряхлого, оставили томиться
Близ юности бессмертной. Чем ты можешь,
Любовь моя, теперь меня утешить
В сей миг, когда рассветная звезда
Мерцает и дрожит в твоих глазах,
Наполненных слезами. Отпусти! –
Возьми назад свой дар: к чему попытки
Уйти от общей участи людской
И преступить черту, где должен всякий
Остановиться и принять судьбу,
Дарованную небом человеку.

Вдали, в просветах облачных забрезжил
Тот темный мир, в котором я родился.
И вновь зажглись таинственным свеченьем
Твой чистый лоб и скаты нежных плеч,
И грудь, где сердце бьется обновленно.
Вновь разгораются румянцем щеки,
И влажные твои глаза – так близко
К моим! – сверкают ярче. Звезды гаснут
Пред ними, и влюбленная упряжка
Неистовых твоих коней хрипит,
Вздымаясь на дыбы, и отрясает
Ночь с грив своих – и пышет пылом утра.

Любовь моя! вот так ты каждый раз
Преображаешься – и ускользаешь,
Оставив слезы на моей щеке.
Зачем меня пугаешь ты слезами? –
Не для того ль, чтоб я, дрожа, припомнил

Слова, произнесенные однажды:
«Своих даров не отменяют боги».

Увы! увы! Не так я трепетал
В былые дни, другими я очами
Тогда смотрел – и я ли это был? –
На разгорающийся ореол
Вкруг тела твоего, на вспышки солнца
В твоих кудрях – и сам преображался
С тобой – и чувствовал, как в кровь мою
Вливается тот отблеск розоватый,
Которым ты так властно облекалась,
И ощущал губами, лбом, глазами
Касанье губ твоих – благоуханней
Апрельских первых лепестков! – и слышал
Твой шепот жаркий, сладостный и странный,
Как Аполлона радостная песнь
В тот день, когда воздвиглись башни Трои.

О, отпусти меня! нельзя навеки
С твоим восходом сочетать закат.
Я мерзну в этих теплых волнах света,
В твоих ласкающих лучах, я мерзну,
Ногами зябкими ступив на твой
Мерцающий порог в тот ранний час,
Когда восходит к небу пар белесый
С полей, где смертные живут свой век
Или, отжив, спокойно отдыхают.
Освободи, верни меня земле;
Всевидящая, с высоты своей
Призри на тихую мою могилу, –
Когда, истлев, навеки позабуду
Твоих пустых чертогов высоту,
Твою серебряную колесницу...

ИЗ ЦИКЛА «IN MEMORIAM»

VII

Дом пуст. К чему мне тут стоять
И у порога ждать теперь,
Где, прежде чем ударить в дверь,
Я сердце должен был унять?

Укор вины, укол тоски;
Взгляни – я не могу уснуть,
Бреду в предутреннюю муть
Вновь ощутить тепло руки,

Которой нет... Тебя здесь нет!
Но снова слышен скрип забот,
И в мокрой, серой мгле ползет,
Как привидение, рассвет.

LIV

О да, когда-нибудь потом
Все зло мирское, кровь и грязь,
Каким-то чудом истребься,
Мы верим, кончится добром.

У каждого свой верный шанс;
Ничто не канет в никуда,
Как карта лишняя, когда
Господь закончит свой пасьянс.

Есть цель, невидимая нам:
Самосожженье мотылька
И корчи в глине червяка,
Разрезанного пополам, –

Все не напрасно; там, вдали,
Где нет зимы и темноты,
(Так мнится мне) для нас цветы
Неведомые расцвели...

Но кто я, в сущности, такой?
Ребенок, плачущий впотьмах,
Не зная, как унять свой страх
В кромешной темноте ночной.

Вильгельм ЛЕВИК
(1907–1982)

ПЕРЕВОДЫ*

Генрих ГЕЙНЕ

С немецкого

ЛОРЕЛЕЯ

Не знаю, что стало со мною –
Душа моя грустью полна.
Мне все не дает покою
Старинная сказка одна.
День меркнет. Свежеет в долине,
И Рейн дремотой объят.
Лишь на одной вершине
Еще пылает закат.
Там девушка, песнь распевая,
Сидит высоко над водой.
Одежда на ней золотая,
И гребень в руке – золотой.
И кос ее золото вьется,
И чешет их гребнем она,
И песня волшебная льется,
Так странно сильна и нежна.
И, силой плененный могучей,
Гребец не глядит на волну.
Не смотрит на рифы под кручей,
Он смотрит туда, в вышину.
Я знаю, волна, свирепая,
Навеки сомкнется над ним,

* Составил Алексей Смирнов.

И это все Лорелея
Сделала пеньем своим.

Шарль БОДЛЕР

С французского

АЛЬБАТРОС

Временами тоска заедает матросов,
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц океана – больших альбатросов,
Провожающих в бурной дороге суда.

Грубо бросят на палубу. Жертва бессилья,
Опороченный царь высоты голубой,
Распластав исполинские белые крылья,
Он как весла их тяжело влачит за собой.

Лишь недавно прекрасный, вздымавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным.
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.

Так, поэт, ты летишь над грозой в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе!

Джордж Гордон БАЙРОН

С английского

СТАНСЫ К АВГУСТЕ

Когда сгустилась мгла кругом
И ночь мой разум охватила,
Когда неверным огоньком
Едва надежда мне светила,

В тот час, когда, окутан тьмой,
Трепещет дух осиротелый,
Когда, молвы страшась людской,
Сдается трус и медлит смелый,

Когда любовь бросает нас
И мы затравлены враждою, –
Лишь ты была в тот страшный час
Моей немеркнувшей звездой.

Благословен твой чистый свет!
Подобно оку серафима,
В годину злую бурь и бед
Он мне сиял неугасимо.

При виде тучи грозовой
Еще светлее ты глядела,
И, встретив кроткий пламень твой,
Бежала ночь и тьма редела.

Пусть вечно реет надо мной
Твой дух в моем пути суровом.
Что мне весь мир с его враждой
Перед твоим единым словом!

Была той гибкой ивой ты,
Что, не сломившись, буре внемлет
И, словно друг, клоня листы,
Надгробный памятник объемлет.

Я видел небо все в огне,
Я слышал гром над головою,
Но ты и в бурный час ко мне
Склонялась плачущей листвою.

О, ни тебе, ни всем твоим
Да не узнать моих мучений!
Да будет солнцем золотым
Твой день согрет, мой добрый гений!

Когда я всеми брошен был,
Лишь ты мне верность сохранила,
Твой кроткий дух не отступил,
Твоя любовь не изменила.

На перепутьях бытия
Ты мне прибежище донине,
И верь, с тобою даже я
Не одинок в людской пустыне.

Роберт БРАУНИНГ

С английского

КАК ПРИВЕЗЛИ ДОБРУЮ ВЕСТЬ ИЗ ГЕНТА В АХЕН

Я – в стремя, а Йорис и Дирк уж в седле.
Хлестнули, взвились и помчались во мгле.
«Дай бог!» – крикнул страж у подъемных ворот.
Бог! – гулом ответили стены и свод,
Ворота упали, погасли огни,
И в ночь унеслись мы галопом, одни, –

Безмолвны, бок о бок, седло у седла,
Пригнувшись к луке, натянув удила.
К подпруге склоняясь, я ослабил ее,
Уставил во тьму боевое копьё,
Испытанный шлем свой надвинул на лоб.
Спокоен был Роланда мощный галоп.

Мы близились к Локерну. Месяц погас.
Петух возвестил нам предутренний час.
Вот Ббoм – и большая звезда в вышине.
Как сладко покоится Дьюффильд во сне!
Вот Мехельн – три раза на ратуше бьет.
Тут Йорис дал шпоры и крикнул: «Вперед!»

Над Эрсхотом солнце взошло. У пруда
Толпятся в тумане и смотрят стада,
Как мы пролетаем сквозь тающий пар.
И, врезавшись в гущу смятенных отар,
Их Роланд рассек, разогнал, разметал.
Так делит скала расплеснувшийся вал.

Мой смелый! Ты скачешь в степной тишине.
Ты ухом прядешь, обращенным ко мне.
На зов мой скосил ты свой умный, живой,
Свой черный зрачок с голубою каймой.
Клокочет кипящею пеной твой рот,
И каплет с боков остывающий пот.

Мы в Хассельте. «Йорис!» – «Что, Дирк, отстаешь?
Не шпорь понапрасну, гнедой был хорош.
Ты вспомнишь не раз о лихом скакуне.
Но он изменил – по своей ли вине?
Измучен твой конь, он дрожит и храпит,
И мыло на брюхе и бедрах кипит».

Мы скачем вдвоем. О, как чист небосвод!
Мы в Лбозе – мимо! Мы в Тонгре – вперед!
Мы желтое жнивье копытами бьем,
А солнце смеется и жжет нас огнем.
Вон Далем в горячей полдневной пыли.
«Гони! – услышал я. – То Ахен вдали!»

Так Йорис мне вслед прохрипел, и за мной
Пал камнем на землю его вороной.
Лишь Роланд мой скачет, он Ахен спасет,
Он гибнущим добрую весть принесет,
Хоть кровь выкипает из жарких ноздрей.
Хоть глаз ободки все мутней и красней.

Швырнул я доспехи в клубящийся прах,
Я скинул ботфорты, привстал в стременах,
Трепал его гриву и с ним говорил,
Молил, заклинал, и ласкал, и корил,
Я пел, я смеялся, кричал и свистел,
И весело в Ахен мой Роланд влетел.

Что было потом – вспоминаю с трудом.
Сидел меж друзей я на пире хмельном.
Мой Роланд прижался ко мне головой, –
Вином я поил тебя, конь боевой!
И каждый воздал победителю честь,
Из Гента примчавшему добрую весть.

Виктор ЛУНИН

ДЕТСКОЕ ТЕПЛО

КАК МАЛО НУЖНО

Как мало нужно,
чтобы стать счастливым.
Всего лишь солнце
в синий тихий день.
Всего лишь
теплое дыханье ветра,
всего лишь
ясный звон синицы в небе,
и добрый друга взгляд,
и нежное твое прикосновенье.
Но солнце спряталось зачем-то в облака,
которые принес холодный ветер,
и звонкая синица улетела,
и недругом вдруг оказался друг,
и ты рукой,
но не меня,
коснулась...

СКОНЧАЛСЯ ДРУГ

Скончался друг. Удар и немота.
И холодно. И тишина густа.
И мыслей нет, и боль стучит в висок.
Упал листок. За ним – еще листок.
И сжался жизни круг на тело друга.
Как горько жить внутри такого круга!

Но в этот миг раздался детский крик,
Родился крик и в сердце мне проник.
И холод отступил, а мысль и слово
Тотчас в привычный круг вернулись снова,
И круг опять расширился немного.
Нет, хорошо на свете жить, ей Богу!

МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ

Глазурью чистой, сладостью конфетной
Покрылся двор.
Заиндевелой вязью трафаретной
Горит простор.

Где дуб? Где ясень? Их одела выюга
В один наряд.
Деревья белоснежные друг друга
Не отличат.

Синеет небо. Солнца диск лучистый
Пылит в окно.
Его сиянье в дымке золотистой
Растворено.

Цепь облаков лиловых недвижимо
Скользит вдали,
Сливаясь с сизыми клубами дыма –
Детьми земли.

И кажется зима теплее лета,
Так все светло,
Пока глядишь на ликованье света
Ты сквозь стекло.

* * *

Не верю я, что ждут нас в жизни перемены.
Зло хитрое. Оно наверняка
Прикинется добром и не уйдет со сцены,
И будет нас давить исподтишка.

Не верю я – устал от лживых слов и фальши,
Которые вошли нам в кровь и плоть.
Не верю потому, что думаю – и дальше
Нам этой кривды не перебороть.

Не верю... Но едва одно хотя бы слово
Правдивое промчится по стране,
Я снова жить хочу, и вера моя снова
Растет и разгорается во мне.

* * *

Вся жизнь – театр,
Суть ее – актерство.
Кто хорошо играет роль свою
И проявляет смелость и упорство,
Тот выиграет в жизненном бою.

И все-таки в небесные ворота
В конце пути он может не войти,
Коль у него фальшива позолота,
И чести нет, и совесть не в чести.

ДЕТСКОЕ ТЕПЛО

Сначала пастерначил я невольно,
Когда мне было жить еще не больно,
Когда не души различал кругом,
А тени душ. Тень дома, а не дом.

И потому не смысл, а форму знака
Я взял себе тогда у Пастернака.
Я был еще с собою не знаком
И мнил себя его учеником.
Потом я мандельштамил неумело.
В то время боль меня уже задела,
Хоть и не сильно. И прозренья лик
Уже возник. Раздался детский крик,
Что стал строкою, криво, а не прямо
По улице, по камню Мандельштама
Бегущей. Но и с этого пути
Сошел я вскоре, не сумев найти
На нем себя. А после – годы спячки,
Где Вознесенский ставил мне задачки,
Такие современные на вид,
Но от которых голова болит.
Я их во сне решил, но их ответы
Лишь значили, что в них ответов нету.
Тут время просыпаться наступило.
Визжали поэтические пилы
Поденщиков, тогда вошедших в силу –
Застой уже вступил в свои права –
Поэзию пилили на дрова.
Но, к счастью для меня, рождение дочки
Тогда мои вдруг оживило строчки,
И было мне плевать на визг пилы:
Я в светлый детский мир ушел из мглы.
Так, со своею встретившись судьбой,
Я наконец-то стал самим собой.
С тех пор, и выходя из мира детства,
Всегда несу в себе его наследство:
Любую боль, и фальшь, и ложь, и зло
Перекрывает детское тепло.

ВЕЖЛИВЫЙ СЛОН

Вышел слон на лесную дорожку,
Наступил муравью на ножку
И вежливо
Очень
Сказал муравью:
– Можешь и ты
наступить на мою!

КАПЛИ И ЦАПЛИ

Капают, капают
На болото капли.
Бегают, бегают
По болоту цапли.
Капли хватают,
Никак не поймают.
Никак не поймают,
Отчего – не знают.
Стукнет капля по воде,
Глядь – и нет ее нигде.
Лишь болото да вода...
Капли, капли,
Вы куда?
Горько плачут цапли:
– Утонули капли!

ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ

Целыми днями,
Целыми днями
Мы по квартире
Летаем орлами.

Целыми днями,
Целыми днями
Плаваем мы
По паркету китами.

Целыми днями,
Целыми днями
По коридору
Мы скачем конями.

Между столами,
Между шкафами
Весело скачем
И машем хвостами.

Воем волками,
Тявкаем псами,
Львами рычим
И кричим
Петухами.

А вместе с нами,
А вместе с нами
Целыми днями
Весело маме!

РАДОСТЬ

Тихо, без звука
Ходит Мяука
Возле меня день-деньской.

Ходит лениво,
Неторопливо,
С мордочкой чуть плутовской.

Серая шерстка,
Глазки-наперстки,
Тонкие тени – усы,

Хвостик пушистый
И серебристый...
Дивной Мяука красы!

Трется о руку
Нежный Мяука,
Песню поет в тишине.

И почему-то
В эти минуты
Радость приходит ко мне.

СОННАЯ МУХА

Однажды увидел я сонную муху.
Она пролетела у самого уха
И тихо жужжала, жужжала, жужжала
Сонливый мотив без конца, без начала.

И мне показалось: от этого звука
Запрыгала по полу полка без стука,

Скользнули по стенам неясные тени
Далеких животных, нездешних растений.
Нежданно-негаданно дверь заскрипела,
Как будто она колыбельную пела,
Куда-то поехало кресло как сани,
И сразу же все заклевали носами –
И ослик упрямый, и быстрая мышка,
И брюки, и туфли, и краски, и книжки...
И понял тогда я, зевая ужасно,
Что сонной ту муху зовут не напрасно.

Неплохо бы мухе всегда прилетать,
Когда мне пора отправляться в кровать!

НОЧКА

Однажды, во время весеннего грома,
Упала на крышу соседнего дома
И вмиг разлетелась на сотни кусочков
Прекрасная,
Ясная,
Звездная ночка.

Решил я скорее на крышу бежать –
Хотя бы кусочек ее отыскать.
В трубу залезал я и лез по карнизу,
Искал я и сбоку,
И с краю,
И снизу.

Всю крышу туда и сюда обошел,
Но тень лишь одну за трубою нашел...
А с неба глядело, смеясь, на меня
Лицо молодого весеннего дня.

ПЕРЕВОДЫ

Крисчен КАРЛСОН СТЭД

С английского

КОНЕЦ ОСЕНИ

Расписывает ливень фонари
Узором мраморным, густые тени
Ползут от мокрых жалобных растений,
И плавают по лужам пузыри.

Деревья почернели от воды.
Стена дождя сужает поле зренья,
Но мерных звуков тягостное пенье
Прядет покой, стирает все следы.

Сквозь шум дождя едва слышны слова.
Упругий дерн вздыхает под ногами.
И в лужах, разошедшихся кругами,
Виднеется опавшая листва.

Конец сезона. Тусклая пора.
Мерцают окна. Небо без просвета
Рыдает горько, вспоминая лето;
А к сердцу подбирается хандра.

Неужто я немного погоды
Забуду этот мерный звук дождя?

Арнольд УОЛЛ

С английского

**ПЕСЕНКА БРАТЦА КРОЛИКА
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТАГО**

В краю, где есть мои следы,
Не отыскать овце еды.
Но не спугнуть меня ружьем –
Я размножаюсь день за днем.

С улыбкой я на псов гляжу,
У ласки под носом хожу.
Всю жизнь играю я с огнем
И... размножаюсь день за днем.

Мой мягок мех, и скорняки
Шьют из него воротники.
Я погибаю, но потом
Вновь размножаюсь день за днем.

Лай, крики, ругань за спиной –
Идут охотники за мной.
Мне их облава нипочем:
Я размножаюсь день за днем.

Кто, защищаясь от врага,
Его сажает на рога,
Кто когтем рвет, кто бьет клыком...
Я – размножаюсь день за днем!

Меня легко хватает враг –
Я для него и слаб, и наг.
Моя борьба с врагом – в другом:
Я размножаюсь день за днем.

Чем бить меня который раз,
Прочтите лучше мой рассказ
И поскорей идите в дом,
Чтоб размножаться день за днем.

Бен ДЖОНСОН

С английского

ПРИГЛАШЕНИЕ ДРУГА НА УЖИН

Любезный сэр, прошу вас вечерком
Пожаловать в мой небогатый дом:
Надеюсь, я достоин вас. К тому же
Облагородите вы скромный ужин
И тех моих гостей, чье положенье
Иначе не заслужит уваженья.
Сэр, ждет вас замечательный прием:
Беседе – не еде царить на нем.
И все же вас, надеюсь, усладят
Мои оливки, каперсы, салат,
Баранина на блюде расписном,
Цыпленок (если купим), а потом
Вас ждут лимоны, винный соус в чаше
И кролик, коль позволят средства наши.
Хотя и мало нынче дичи, но
Для нас ее добудут все равно.
И если небеса не упадут,
Нас неземные наслажденья ждут.
Чтоб вас завлечь, есть у меня капкан:
Вальдшнеп, и куропатка, и фазан,
И веретенник наш украсят стол...
Затем хочу, чтоб мой слуга пришел
И нам прочел Вергилия творенья,

А также наши с вами сочиненья,
Чтоб пищу дать по вкусу и умам.
А после... После предложу я вам,
Нет, не стихи уже, а всевозможные,
Вкуснее всех моих стихов, пирожные,
И добрый сыр, и яблоки, и груши...
Но более всего согреет душу
Канарского вина хмельной бокал,
Которое в «Русалке» я достал:
Его и сам Гораций пил когда-то,
Чьи детища мы ценим больше злата.
Табак, нектар иль вдохновенья взрывы –
Все воспою... за исключением пива.
К нам не придут ни Пуули, ни Пэрет,
Мы будем пить, но муза нас умерит.
Вино не превратит в злодеев нас.
Невинны будем мы в прощальный час,
Как и при встрече. И давайте с вами
Печальных слов под лунными лучами
Не говорить, чтоб не спугнуть свободу,
И пусть наш пир вершится до восхода.

Кристина РОССЕТТИ

С английского

ГУСЕНИЦА

Гусеница, гусеница
В шубке золотистой.
Отправляйся, гусеница,
Под листок тенистый.

От лягушки под листком
Сможешь ты укрыться,
В голубой его тени
Не заметит птица.

Предстоит тебе скрутиться
В кокон под листком,
Чтобы вновь потом родиться
Мо-
тыль-
ком.

ЕСТЬ У БУЛАВКИ ГОЛОВКА

Есть у булавки головка, но без волос, увы!
Есть у чайника носик, однако нет головы.
Есть ушко у иголки, но не слышит оно,
Есть язычок у туфель, но туфли молчат все равно.
Есть у дороги ямки, но нет подбородка и щек,
Есть у горы подножье, да что-то не видно ног.
Есть у рябины кисти, но нет у бедняжки рук.
Белым глазком картошка, не видя, глядит вокруг.
Ключ серебрится в чаше, к которому нет замка,
По полю, ног не имея, лениво бежит река.
Есть у расчески зубы, но есть не может она,
За месяцем месяц проходит, а не за луной луна.
Есть рукава у потока, хоть поток не одет,
Папку носят под мышкой, а под кошкою – нет.

Перси Биши ШЕЛЛИ

С английского

К НОЧИ

I

На запад ко мне на быстрой волне,
Дух Ночи, спеши!
Из темной пещеры в восточной стране,
Где днем одиноким и долгим в тиши
Сплетаешь ты радость и страх в сновиденья,
Тебя затаившие призрачной тенью, –
Полет соверши!

II

Накинь серый плащ со звездами златыми
На свой небосклон.
Прикрой очи дня волосами своими,
Так день зацелуй, чтоб он смерк, изнурен.
А после иди над землей покоренной,
Касаясь ее своей палочкой сонной, –
Я жду – я влюблен.

III

Когда меня сонного утро ласкало,
Мне нужен был ты.
Когда на рассвете роса засверкала,
И полдень упал тяжело на цветы,
И солнечный день, утомившись вконец,
Как гость нелюбимый, ушел наконец,
Мне нужен был ты.

IV

Сестра твоя, Смерть, прокричала, придя:
Ты хочешь меня?
Сон – сын твой с глазами, туманной дождя, –
Жужжал как пчела на вершине дня:
Могу я ко взору прильнуть твоему?
Ты хочешь меня? – Но сказал я ему:
Не сманишь меня!

V

Умрешь ты, и Смерть остановит тотчас
Мне сердце в груди.
Уйдешь ты, и Сон замелькает у глаз.
Награды твоей я не жду впереди,
Я жду лишь возлюбленной Ночи своей.
Любимая, Ночь! Приближайся скорей!
Скорей приходи!

ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ

I

Ручьи сливаются с Рекой,
А с Океаном – Реки.
Смешались сладостный покой
И горный ветер навеки.
Все в мире соединено.
Положено судьбою
Соединяться всем в одно...
Так что ж я не с тобою?

II

Взгляни, льнут горы к Небесам,
Друг друга волны гладят.
Прощенья нет тем двум цветкам,
Что меж собой не ладят.
Ласкает солнце лики дня,
Луна целует море...
Что мне их свет, коль ты меня
Не поцелуешь вскоре?

Уолтер Де Ла МЭР

С английского

ЧЕТЫРЕ БРАТА

Хикети-пикети, лучший на свете
Чистый и вольный западный ветер.
Он как бальзам, как мускуса сладость...
Розовый ветер... Не ветер, а радость!

Северный ветер на мулах в потемках
Белые вьюги тащит в котомках,
Белые стаи снежинок пасет,
Низкое небо над миром несет.

Южный летит из Испании жаркой
И драгоценные дарит подарки:
Почки, колосья, цветы и плоды,
В зелени яркой поля и сады.

Мчится как дух по велению рока
Черный и мрачный ветер с востока.
Где он ударит хлыстом на бегу,
Люди скорее бегут к очагу.

БЕДНАЯ ПТИЦА

Бедная птица!
Ни рук не имея,
Ни пальцев,
Наверно, ты чувствуешь часто бессилье.
Лишь два крыла у тебя по бокам...
Но где *мои* крылья?

Холодная рыба!
Ни рук не имея,
Ни ног и ни пальцев,
Сказать не умея ни слова, ни абракадабры,
Живешь ты только в воде и жабрами дышишь...
Но где *мои* жабры?

Дорожный сорняк!
Нет глаз у тебя, чтобы видеть!
Нет ног –
Отправиться в путь,
Нет рта –
Всей грудью вздохнуть.
Нет сердца – биться,
Нет души – стремиться.

И все же как бы хотел я
В тени и на солнце ясном
Быть таким же мягким, как ты,
Таким же, как ты, прекрасным.

Юлия ПОКРОВСКАЯ

ОБРУЧЕННАЯ С ЧУДОМ ДУША

* * *

Облака распирает медовое млеко.
Шоколадница – школьница прошлого века,

ты беспечно порхаешь, свободно дыша,
как моя обрученная с чудом душа.

Мы с тобой не подружки, но, может, кухни,
копошимся у пестрой цветочной корзины

и не знаем, когда нас накроет сачок.
Но не будем о грустном, об этом – молчок.

* * *

И дождь не прольется,
и солнце не выйдет.
И день этот
то ли продут, то ли выдут,
как мыльный пузырик,
дыханьем Твоим.
Внизу муравейник,
и небо над ним.
Не лучший денек
из возможных попыток,
но мы его впишем
в графу, где «Прибыток»:
простой, предосенний,
совсем никакой,

он все же не лишней,
он все-таки мой!

* * *

Мы увидимся двадцать шестого,
майским утром, в бедламе вокзала.
Двое нищих, как дети Иова,
что ни дай нам, – все скупое и мало.

Нашу жажду и долгий наш голод
утолить мы лишь вместе могли бы.
Но перрон между нами расколот,
провалились и вздыбились глыбы. –

Не обняться нам, не дотянуться,
только взглядом дотронуться быстро.
Но когда наши взгляды столкнутся,
пробежит по встречающим искра.

* * *

Собираю дождевую воду,
чтобы пахли волосы дождем.
Странно мне, что в эту непогоду,
мы по разным улицам идем.

Ты, наверно, удивишься тоже
повороту в собственной судьбе:
запах и волос моих, и кожи –
будет сниться наяву тебе.

Станет холодней, я плащ достану,
с зонтиком из дома выходя,
и тебе мерещиться устану
за спиной у каждого дождя.

* * *

Ларисе Миллер

Перенасыщенный раствор
июльской ночи,
старинный письменный прибор –
ах, что есть мочи
пиши, макая перья птиц
в чернильный воздух
на кромке узенькой границ
владений звездных.
Ты их нарушишь тут и там,
авось простится:
не вражеский же – Теплый Стан
во тьме таится.
Тебе откроются миры,
каналы, бездны,
как проходные те двory
поры железной,
послевоенной (помнишь ты
их гул, каверны?..),
и жизнь, чьи вечные черты
несоразмерны.

* * *

Памяти Маши Боголюбовой

Балконы висели, как ласточки гнезда.
Такие здесь в августе падали звезды,
что ночью бывало светлее, чем днем.
Он часто мне снится, твой киевский дом,
еще дочернобыльский – близкий и дальний.
И мы поднимаемся по Госпитальной
на горку, где гулок пустой стадион.

А город внизу – в котловане времен.
И глядя на вечнозеленое лето,
рукой закрываюсь от яркого света.
Все живы, все счастливы, дядька и ты...
Как много я вижу теперь с высоты,
как долго смотрю я, не чувствуя боли...
Но стоит проснуться, – в слезах, как в неволе.

* * *

Вчера говорила с Вийоном,
недолго, почти ни о чем.
В саду он бродил, занесенном
листвой под осенним дождем.

Серьезен и немногословен,
как в книгу, в себя погружен,
реален он был и условен,
и сердцем моим отражен.

Он нес на плечах свое бремя,
для мира невидимый крест.
И в миф превращенное время
собой становилось окрест.

Но вдруг посмотрел он угрюмо:
«Оставь меня, демон, не тронь!»
И вспомнила я Аввакума,
и тот, не погасший, огонь.

ПОЭТ

Владимиру Леоновичу

На этой ноте невозможно жить!
Так высока она и неуместна,
как если б ангел пробовал вложить
под свитер крылья, – и смешно, и тесно.

На этой ноте только сердце рвать –
единожды, лишь в песне лебединой.
А после святу месту пустовать –
откуда взяться очереди длинной?

Но он всю жизнь токует, как глухарь,
закрыв глаза, себя и то не слыша.
Как будто он – небесный пономарь,
и нам псалтырь нашептывает свыше.

Юродивый? Подвижник ли? Святой?
Или гордыней обуянный грешник,
взрастивший сад созвучий золотой
и плодоносный солнечный орешник?

ТАНЕЦ

В этой северной Итаке,
озера лесного вокруг
став плечом к плечу,
сиртаки
сосны пляшут с другом друг.
Эти пинии от ветра
не склоняют головы.
Красные мелькают гетры
в мокрой зелени травы.

Танец сам еще зеленый,
 молодой совсем, лихой.
 Но в эпохе отдаленной,
 может, был уже такой.
 И моряк, выдавший виды,
 танцевал его, когда
 аргонавты из Колхиды
 отплывали кто куда.
 Дождь дразнил его беззлобно,
 будто пробуя лады.
 Перестук сандалий дробный
 часто слышу у воды...

В дождь Итака так же мокла,
 И наверно, не одна
 Пенелопа или Фекла
 грелась пламенем руна.

* * *

Московских бульваров горящая зелень,
 трамваи, расплавясь, застряли в пути.
 Народ на бульварах попарно расселен,
 и с этого места уже не сойти.
 В открытые окна смотрю я, сквозь двери,
 стал к вечеру пристальней солнечный свет.
 Какие находки, какие потери!
 На каждый вопрос мне известен ответ.
 Я вижу на этой обычной картинке
 тень прошлого века, где воздух иной,
 и жизни моей моментальные снимки,
 и вспышки фотографа передо мной.
 Кончается август, напитанный жаром,
 пожухла трава между каменных плит.
 гроза собирается, грезя пожаром,
 уходит эпоха – огнем опалит.

* * *

Как первый авиатор, стрекоза
летит к пруду на бреющем полете,
в очечках круглых выпучив глаза,
готовая к стремительной охоте.
Над травами прибрежными кружит,
движение ее неотвратимо.
А рядом бледный мотылек дрожит,
и молится, чтоб пролетела мимо.
Ему сегодня, может, повезет:
вон стриж нарисовался ниоткуда.
Теперь уж стрекозе пришел черед
молиться или уповать на чудо.
Во всей красе естественный отбор!
Как ни крути, сражение случится.
Где жертвы? Где убийцы? – Общий сбор.
И у людей им нечему учиться.

* * *

Блестит, как панцирь черепаший,
асфальт, осыпанный листвой.
Того гляди запросит каши
ботинок разбитый твой.

Не зря же сверху блеклый ситец
трещит по швам и рвется весь,
из всех прорех, и сит, и ситец
сочится дождевая взвесь.

Но есть еще запасы света
в прогалах чистого стекла.
И не обманет бабье лето,
подбросит пригоршню тепла...

Ползи же, день, как черепаха,
и длись, и по сусекам шарь,
покуда не закончит пряжа
осенней выработки шаль.

* * *

Капризный март,
застенчивый апрель,
и май улыбочивый – все трио в сборе.
Кларнет, гобой и дудочка-свирель
в весеннем снова выступят соборе.
Да-да, они, опять, в который раз,
Да, их концерт – сплошное повторенье:
все вариации, цитаты, парафраз...
Но сколько радости, полета и паренья!
И дело ведь совсем не в них, а в нас,
с годами жизнь в нас вносит измененья:
иначе чувствуем, другое ухо, глаз,
другое пониманье, угол зренья.
Теперь я точно знаю, что ищу,
давно не тот восторженный любитель. –
Я в драме жизни светлых нот ценитель,
и ни одной из них не пропущу.

ПЕРЕВОДЫ

Карл ОРЛЕАНСКИЙ

С французского

ПЕСНЯ

Молоды, впервые влюблены
В новую весну, верхом умело,
Весело гарцуют, скачут смело,
Беспричинной радости полны.

На брусчатке мостовой видны
Искры от копыт, она зардела,
Будто угли кочерга задела.
Молоды, впервые влюблены.

Их труды просты или сложны,
Я не знаю, и не в этом дело.
Как пришпоренная лошадь, тело
Рвется у юнцов на зов весны.
Молоды, впервые влюблены.

Франсуа ВИЙОН

С французского

БАЛЛАДА ПОЭТИЧЕСКОГО СОСТЯЗАНИЯ В БЛУА

Я у ключа от жажды умираю,
Жар чувствуя, стучу зубами я.
В своей стране – чужой, как в дальнем крае.
Дрожу, пугаясь близости огня.
Нагой, как червь, одет, как судия.

Смеюсь сквозь слезы, без надежды жду,
И радуюсь, имея боль в виду.
Без власти всемогущ, хоть и недужен.
Отчаясь, к утешению приду.
Я каждым зван. Я никому не нужен.

Лишь смутному я слепо доверяю,
Туманна очевидность для меня.
Выигрывая, я всегда теряю,
В сомнительности истину виня,
Твержу ночами: «Доброго вам дня».
К познанию связь случайностей сведу,
Приперт к земле, боюсь, что упаду,
Живу безбедно – ни гроша на ужин.
Наследник я, хоть не стою в ряду.
Я каждым зван. Я никому не нужен.

Хоть нет забот, тружусь, не видя края,
Чтоб собственность умножилась ничья.
Я на льстеца с досадою взираю,
Хулу за пользу высоко ценя.
Тот друг мне, чья докажет болтовня,
Что белый лебедь, плавая в пруду,
От всех воронью прячет черноту.
Где правда, там и ложь. Я безоружен,
Внутри все прячу, – выход не найду.
Я каждым зван. Я никому не нужен.

Мой добрый принц, я речь о том веду,
Что мудрости не нажил на беду.
Отдельный, все ж с законом вашим дружен.
Не в первый раз прошу за службу мзду.
Я каждым зван. Я никому не нужен.

Жоашен дю БЮЛЛЕ

С французского

* * *

Я мог бы, Горд, плести в застолье небылицы,
Прикинуться глухим, коль надо, тупя взор,
В два счета простакам представил бы на спор
Вороной – истину, ложь – чистой голубицей.

Вельможной дружбы я легко бы мог добиться,
И нравы перенять, какие принял двор,
Льстить покровителю и, влившись в общий хор,
Жить припеваючи бы мог, как говорится.

Чтобы продвинуться, я мог бы торговать
Туманом, пустотой, дурача чернь и знать,
Лишь только б в доле быть всегда, и в деле всюду.

Стать хитрецом бы мог, – и это по плечу.
Я мог бы... Не могу! Поскольку не хочу!
Но тех, кто так живет, винить и клясть не буду.

Поль ВЕРЛЕН

С французского

* * *

Расплакалось небо.
И плачет душа.
Ну что за потреба
Ей плакать, как небо?

Скребется о крыши,
Шуршит по земле,
И падает свыше
На душу, на крыши.

Без всякой причины,
Но плачет душа,
Как будто по чину
Ей плач без причины.

За что же мне это –
Ни зла, ни любви?
Тоска без просвета
И дождь. Только это.

Альбер САМЕН

С французского

ПАННИРА, ЗОЛОТАЯ ПЯТА

Все замерли в зале, мгновенья считая...
Выходит Паннира, Пята золотая,
Под первый серебряной флейты порыв,
Стан тысячью складок вуали укрыв,
И движется мелкими тихо шажками,
Причудливый ритм сообщая руками
Всей ткани... И вот оживает она,
И плещет, и ширится, льнет, как волна,
Становится бешеным водоворотом,
Паннира – цветком, и огнем, и полетом.
И зал опьяненный впадает в экстаз,
Прилипнув к ней намертво множеством глаз.
Она все быстрее кружится и вьется,

В светильниках пламя отчаянно бьется...
Но пляска безумная прервана вдруг,
И ткань, что спиралью крутилась вокруг,
Застыв без движения, миг – и опала,
К груди танцовщицы и к бедрам припала,
Стекает потоком у всех на виду,
И каждый увидел ее наготу.

Эрвэ БАЗЕН

С французского

ЖЕЛТОЕ

Цветы все на сносях. Плоды растут. Тягучий
Сок в мякоть перетек и в смазку для листвы.
В зубах козы застрял клочок травы колючей.
И горд фруктовый сад всей тяжестью айвы.

Стерня причесана под ежик. Пруд. Жара.
Как в жидком янтаре, ольха купает крону
В расплаве солнечном. И все сошлось. Пора,
Сестра Ксантина, петь гимн желтому сезону.

Оса укоротить спешит здесь копыя света,
Летучей мышью уж задумал пренебречь.
И, как минута, прах, погибшая планета,
Лист за листом летит, чтоб на ковер прилечь.

И тыща пылких бонз решит, в лесах блуждая,
Что осень избрана, ей ветер так идет,
Быть Императором шафранного Китая,
И царственно нести свой тыквенный живот.

Мишель УЭЛЬБЕК

С французского

* * *

Я больше не вернусь, не трону травы эти,
Наполовину пруд закрывшие уже.
Что полдень наступил, я осознал в душе,
Увидев этот мир в невероятном свете.

Среди других людей я жил бы здесь и дом
Поставил бы в тени времен, спешащих мимо.
Shanti shantalaya. Om mani padme ôm*.
Но солнце на ущерб идет неотвратимо.

Как этот вечер тих, вода стоит в огне,
Дух вечности над ней парит в преддверье мрака.
Мне нечего терять. Я одинок. Однако,
Закат такого дня наносит рану мне.

Болеслав ЛЕСЬМЯН

С польского

ТАНГО

Огонь настурции – в глазах кота.
Все ласки чуткой мглы для тел готовы.
Ладья плывет в золотое никуда.
Грусть – берега лиловые.

* Chanti chantalaya. Om mani padme ôm (санск.) – Мир – обитель спокойствия. Драгоценный камень в цветке лотоса. Одна из наиболее известных буддийских мантр.

Пойдем и мы по следу двух гондол,
Дно подмиров и взглядом не задето.
Вольно же наносить себе укол
Всем тайным знаньем цвета.

А в зеркале – калейдоскоп огней.
В окне – лишь мрака гуща.
Стопа ложится все точней, точней
На каждый звук текущий.

Готовя заговор, за звуком звук
Туманится, туманит.
Пурпурное стихийно, танго, вдруг
Поголубев, обманет.

Удобную стопа находит мглу,
Но, не закончив фразу,
Последний звук – свободный – на полу
Затих. – Все стихло сразу.

Юлиан ТУВИМ

С польского

* * *

Поэзия! Ты колдуна лампада
И лампочка в лабораторной сфере.
Труд мастера в тебе и дух мистерий,
Еще – священнодействие обряда.
О математика анархий пряных!
Скупа в расчетах, мелочь кинуть жалко,
Шинкарка трезвая напитков пьяных,
Химичка, разодетая гадалкой.

Тебя я знаю: буйная, срамная,
 Ногой под небо целишь, одуревши
 От собственного своего гашиша,
 Но прежде, бдительная фармацевтша,
 Крахмальный белый фартук применяя,
 До унции все взвесишь в скрытой нише.
 Я знаю: в планетарном луна-парке
 Ты с вечностью, как с мячиком, играешь,
 Сперва в часах проверив каждый камень,
 Колесико, и все в округе арки.
 Так Фауст, обернувшийся Эйнштейном,
 Видение в пробирку сбросив ловко,
 На свет несет ее, причастный к тайнам,
 И пишет числа, явно под диктовку.
 Так дым цветной, переходящий в рифмы,
 И снов толпу, и всю стихию бунта
 Призвав на помощь циркуль, логарифмы,
 Проверь законом жестким контрапункта.

Константы ГАЛЧИНЬСКИЙ

С польского

ПИРШЕСТВО

Если все мы в сборе, сядем чин по чину –
 рослые, веселые, крепкие мужчины.
 Стол накрыт подковой, будет пир не мелкий:
 светятся, как в праздник, кубки и тарелки.
 И вечерять время: день уходит, схлынув.
 Лейте ж молчаливо, слуги, из кувшинов
 старого и доброго нам вина почаще,
 с ароматом чуда, к лютням подходящим.
 В самом сердце бора, золотые братья,

вы попали к травам и ко мхам в объятья.
Светлячок заблудший упадет устало –
гаснет, отразившись в хрустале бокала.

Я не зря собрал вас на большой поляне:
разговор здесь легче, веселей гулянье.
В городе все люди – тюфяки с соломой,
мы же в чаще леса собрались, как дома.
Видите: восходят в сини величавой
звезды, неразлучны с грустью и со славой,
обрезают берег, сосен вереницы,
заставляют иглы мягко серебриться.
Лютняры, начните свой обряд певучий –
на стволах играют те, кто ростом с тучи.
Что ж к земле вы жметесь? – Лютенки берите,
комариной, тонкой музыкой дарите.
Лакомка, подставит и медведь ей уши:
сей комар божествен, пробирает души.
Ну, признайтесь: славно пить вино здесь, други,
глядя, как танцуют огоньки в округе,
слыша голос леса, и следя, как в даях
звезды закачались в серебристых шаялях.

В этом наша мудрость, где на дне – горчинка:
стол накрыть красиво – вот и вечеринка,
золотой увидеть мельком клык кабаньих,
чтоб цветы повсюду и вино в стакане.
Что же будет, если бурю повеет,
гром загромыхает, молния огреет?
И какой же песней мы почтим наш ужас,
убегая в чашу, но с бокалом дружать?

Ольга ПОСТНИКОВА

ТРЕВОГА БЫТИЯ

* * *

Прощаемся, а я не говорю «Постой!..»
Успею ли сказать, что пальцы так тонки
И так обожжены азотной кислотой...
Успею ли сказать, как я тебя люблю!
А черные штрихи, царапины руки
Ладонями ловлю, губами заживлю.

Нас общий дом не баловал теплом,
За двадцать лет вдвоем мы не были ни дня.
В метро, в кино – так помнишь ты меня –
В прихожей, до дверей забитой барахлом.

И с дымом завитки смешались на висках,
Осмуглен ветром ты и табаком пропах...
Но клен в твоё окно напрасно тянет ветки.
Успею ли сказать до срока, до повестки,
Когда пойдешь в «химических» войсках...

* * *

На сквозняке в чердачном желтом свете,
Переживя пожары и жары,
Останутся мистические эти
Осиных гнезд плоеные шары.

В них что-то есть от старых писем смятых,
Спрессованных в ветхозаветный плод,
И страшно тронуть комья мертвой ваты,
Ячеистый, окаменевший мед.

Строители, не знающие страха,
Лепили храм из ниточек слюны,
Но в сентябре слоеный грязный сахар
Своих жилищ покинули они.

И радостно их уксусные слезы
В полете иссушил могучий норд,
И только сферы горькой целлюлозы
Остались нам от полосатых орд.

А мы с тобою черный толь тягаем,
Удостоверясь, что они вдали,
Судьбу клянем и с гордостью ругаем
Тигристых пчел проклятого Дали.

И кругляшей с пьянящею бурдою
Не оживит гудящая семья...
И мы сидим под кровлею худою,
С диагнозом «тревога бытия».

* * *

В глумленье продавцов ты ль очередью кроткой,
Россия, ты ль стоишь, мечтаешь о еде?
И радуешься в крик – с прокуренною глоткой,
В красе одутловатой и беде...

Как перепел живешь меж пахотой и жатвой,
А над страной повис войны призывный марш.
Успеть ли песню спеть? Суметь бы продержаться,
Пока машин не выведет Тяжмаш!

Бежишь-бежишь-бежишь... С тринадцатого года
Ты вечно на ногах, с испугу – на крыло,
Но подан знак уже великого исхода,
И впереди до ужаса светло.

Не спрятаться уже в картофельные тропы,
В твой торфяной покой, в серебряный овес.
Но, может быть, в лучах вселенской катастрофы
Отвергнутого Бога призовешь?

У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

Унылы наши памятники – много ль
В них памяти! Все на один фасон.
Веселенький бульварный рослый Гоголь,
Плечистый и задорный солдафон.

Не тот, что маньякально нездоров,
От нежинской грязищи одичавши,
Что тешится узором для ковров,
Чтоб в Риме от России отдышаться.

Худой поручик... грудь его слаба,
Телячьи ноги с грацией subtilной.
Его ли жизнь – кавказская пальба?
А челюсти – в досаде предмогильной.

Титановый Гагарин – бедный столпник,
Кого всю ночь слепят прожектора,
Советский ангел, воплотивший облик
И дяди Степы, и богатыря.

Но пятым ли, десятым декабря*,
Одним свободным именем ведома,
Москва выходит к площади Страстной,
Хоть окрик милицейского кордона
Слышней над безъязыкою страной.

К СТАТУЕ ПЕРУНА

Нас тьмы, и тьмы, и тьмы.

А. Блок

Славянский идол, громовой игрун,
Четвероликий каменный Перун,
В реке утопленный комедией крещенья,
С любовью полигамною своей,
С дубовым алтарем среди степей,
С обязанностью кровного отмщенья...

В боренье жад и зим, еще до схизм
Был насажден российский мазохизм.
Забыты тризны на кострищах черных
И головач с всезнающим лицом,
Чей символ – круг, прибитый над крыльцом,
Над каждой дверью деревень покорных.

Двуверием мы выживаем здесь,
В нас велика языческая спесь,
И терпеливость есть – от христианства.
Но восемь глаз перуновы горят,
Грозя огнем, на целый мир глядят
В земные беззащитные пространства.

* 5 декабря – День советской конституции, 10 декабря –
с 1977 года – День прав человека.

И дума, точно каменным пестом,
Нам лоб толчет: тысячеверстый дом
Нам недостаточен, и не погасло
Желанье боли, что с крещения в нас,
И алчность, что заложена в запас
Дохристианской верою поганской.

* * *

Ты все ноешь. О чем? Небось, тебя не сослали
В город Томы, изгнанием тебя не обидели.
Ненависть цезаря пропорциональна таланту Овидия.
Хочешь ты умереть на чужбине – хоть и со славой?

Посиди-ка в нужде, посиди-ка в дыре, в Кишиневе,
Не в молдавской лафе, в разлитой столице цветной,
Не в престижной своей переделкинской неге вишневой,
А в глуши и грязище сплошной!

Помнишь, где Заболоцкий свой бухгалтерский
облик утратил
И, как пишут в его биографии, стал строитель дорог?
Ты бы мог, мой приятель?
Не дай Бог!

Иль как некий Иосиф без братьев, с клеймом тунеядца,
Что свезен исправляться в деревню одну для начала...
О, не слишком ли стали гордиться мы и бояться?
Все с рукою стоим и всего от эпохи мало.

Вот везение, вот одна удача поэта –
Умереть не в петле, не от пули своей дилетантской,
Вот награда душе, до звезд иногда долетавшей –
От разрыва в груди замолчать посредине
российского лета.

* * *

Мощи святой блаженной Матроны
покоятся в Покровском монастыре в Москве.
На Рогожской опять не проехать никак,
И трамваи ползут, как в бреду.
Это вечные девушки в темных платках
В воскресенье к Матроне бредут.

«Наши парни – в Афгане, а наши – в Чечне,
И других нам не будет мужьев,
Мы задушены плачем несказанных слов,
Мы безмужние даже во сне!» —

Вот что шепчут, о чем причитают сквозь слез,
Вместе просят, но каждой – свое.
И едят лепестки обезжизненных роз,
Горький мусор с могилы ее.

Но к Матронушке нынче не все попадут,
Самых младших еще не видать,
Ведь еще не настало им время рыдать,
Их ребят еще только ведут

Необъявленной армией... Сколько частей
Без погон, и значков, и знамен?
И невесты зачать не успеют детей,
Не сумеют им выбрать имен.

* * *

Одинокий, идет по вагонам –
Вот, уже по вагонам пошли!
Костылей истерический гонор,
Инвалидной судьбины рубли...

Он брезентовой варежкой тычет,
 В рукавицах, чтоб рук не казать,
 И дают ему, ясно, не тыщи,
 Торопливо отводят глаза.

Точно вижу увечного сына...
 Этот, может, и выжил один,
 А другие – в осенней полыни
 Полегли среди украинских дынь...

Отчего, доброволец безногий,
 Принимая полтинник и грош,
 Ты меня отгесняешь с дороги,
 И рубля моего не берешь?

Отчего же пошли брат на брата,
 С двух сторон православных губя?
 И он скажет мне: – «Ты виновата!
 Ты молилась, но лишь за себя!»

* * *

Думала, что не могу, что здесь выживать недостойно.
 Как в нищете красоту, светоносную сущность искать?
 Но поучала судьба, так причудливы были несчастья,
 Что и системою бед жизнь восхищала меня.

Слезы, что выжгли глаза, падают так вертикально!
 Раны красны оттого, что в них почвы железная кровь.
 Думала, что не могу в этом ужасе, в этом зловонье,
 Вышло – жива и в петле, оказалось – жива и в могиле.

В тленье самом есть тепло! Распадаясь на сонмы молекул,
 Сложное станет простым, из цепей будет множество бусин.
 Древних обычай – в огне после смерти достичь очищенья.
 Греет сверхновые звезды отчаянье бедной любви.

РЕСТАВРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО СОБОРА

Когда над Москвою стою на крыше собора,
У колокольни, обок с Иваном Великим,
Я становлюсь вдруг самой собою –
С открытым ртом и встревоженным ликом.

Прошла два поста проверки, а тут – свобода,
Свобода дышать и свобода слова.
Если Царь-колокол только не грохнется снова,
Куб кирпича в Успенском не рухнет со свода...

На высоте этой вопли столицы глуше.
Медная кровля то крута, то полога.
Прочно держусь! И здесь я делаюсь лучше
От страха упасть и от близости Бога...

Леонид РАБИЧЕВ
(1923–2017)

ЧУДЕС НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ*

КОНЬ

Начиналось новое наступление. Мой трофейный блиндаж находился на высоте метрах в двадцати от последнего сгоревшего дома деревни Зяблово. Часа в три дня по радиации командир роты приказал мне срочно получить километров на двести вперед топографические карты двухкилометровки.

Сначала напрямик по компасу, а потом по проселочной дороге часа за полтора доехал я до картографического отдела 31-й армии, располагавшегося километрах в девяти от переднего края. Часа полтора проболтал с телефонистками, дожидаясь своей очереди. Получил карты. Но говорили мы о Москве, вспоминали, где кто жил и учился, а я им еще начал читать свои стихи и не заметил, как начало темнеть – все никак не мог оторваться – очаровательные девочки – восторг какой-то охватил меня.

Наконец сел на коня и продолжая воображаемый незаконченный разговор, поехал, но не налево назад, а направо вперед. Уж очень хорошее было у меня тогда настроение. Но тут произошло что-то совсем непредвиденное. Небо было затянуто тучами – ни звезд, ни луны – и мгновенно наступила полная темнота. Я ничего не видел. Заставил коня своего перейти с рыси не галоп. Прошло часа полтора. Лошадь остановилась. Я соскочил с седла. Под ногами была целина, дорога осталась где-то и я, совершенно не понимая где нахожусь, повернул назад, время шло, а дороги не было.

* Составил Федор Рабичев.

Внезапно я услышал немецкие голоса. Ужас охватил меня. Насколько далеко я заехал на немецкую территорию.

Я выхватил из кобуры наган и выпустил из рук уздечку. Выпустил потому, что в полной темноте не мог понять где немцы – впереди, позади, сбоку? Выпустил еще и потому, что все дальнейшее потеряло для меня смысл и решение оставалось только одно. Если немцы окажутся передо мной – первую пулю направлю на первого из них, вторую себе в висок. Между тем конь мой продолжал свой непонятный мне бег и голосов больше пока или насовсем слышно не стало. Внезапно я ощущаю, что подо мной дорога. Сердце бьется, я в седле, наган в руке. Полная темнота. Неожиданно впереди оказалась река. Что это? Брод?

Чтобы не потерять равновесия и не свалиться в воду, вцепляюсь свободной рукой в гриву и вот мы уже на другом берегу, и конь мой бежит, а я по прежнему не знаю куда, а время идет, то ли полчаса, то ли час, и вдруг остановка – ни с места. Хватаю поводья. Натягиваю – туда, сюда. Никакого результата. Шпоры – никакого результата. Соскакиваю на землю, под ногами целина, а рукой, не отпуская уздечки, натыкаюсь на дверь, и внезапно понимаю, что это дверь моего блиндажа.

...И осколок, который летел в меня,
угодил в живот моего коня.
Я достал наган и спустил курок.
На цветах роса, а в котле фураж,
три кило овса. Белорусский фронт.
Сорок третий год.

ОРАНЖЕВЫЙ ШАР

Город за городом, пристань за пристанью, ночью плывем, днем рисуем. Горожане, мужики, рынки, храмы, музеи, волжские дали. Вечером, уставшие, обсуждаем, внимательно

всматриваемся в остающиеся за нами холмы и овраги. Надо понять, какая завтра будет погода. Включаем радиоприемник и с ужасом узнаем, что наши войска с боями вошли в Прагу. Наша надежда – «Пражская весна» остановлена и раздавлена нашими танками. Слов больше нет. В двенадцать часов ночи проезжаем мимо города Васильсурска. Усталость берет верх, и мы в своих двух каютах засыпаем.

А в два часа ночи в каюту мою врывается капитан. Судорожно хватает меня за руку.

– С нами что-то происходит, немедленно за мной! – Выхожу на палубу, и меня охватывает ужас. Огромный голубо-оранжевый шар завис над нами. Смотреть нельзя. Можно потерять зрение. Неопознанный объект?

– Леонид Николаевич, бегом за мной в капитанскую рубку.

Бегу, смотрю не на небо, а под ноги. От ужаса голова странно втягивается в плечи. Мысль. Пражская весна. Наши танки. Наши сбросили на Прагу атомную бомбу? А я в рубке. И почти вся команда. Включена радиостанция. В радиусе двухсот километров все суда следят за тем, что происходит с небом. Вы видите? – А вы? – А вы? Что это? Что-то жуткое, непонятное. Что я наделал, почему не разбудил Викторию? Она должна видеть это. Боюсь невыразимо, но бегу по палубе и бужу Викторию. Она испугана не меньше меня. Я поддерживаю ее. Добираемся до капитанской рубки. Голубо-оранжевый диск. Третью неба. Не прозрачный, а жутко холодный и абсолютно предметный. Кажется, что это шар в воздухе висит. Инопланетяне? Три часа ночи. Четыре часа ночи. Штурман рассказывает:

– В полвторого ночи рядом с диском луны неожиданно появилась вторая луна и в отличие от первой – настоящей – стала стремительно увеличиваться. Потом она неожиданно разделась на две части, и каждая часть становилась все больше и больше, потом обе части слились и образовали этот самый нечеловеческий, излучающий зловещий холод диск-шар, который вы видите.

Катастрофа? Смерть? Галлюцинация? Смотреть было невозможно. Не смотреть тоже было невозможно.

Я ощущал ничтожность своего существования, и мой мозг сверлила мысль, что может быть, это конец света.

В пять часов утра диск побледнел, посветлел и исчез, растворившись в сером утреннем небе. В десять утра мы прибыли в Горький, и капитан побежал на пристань в диспетчерскую, но на вопрос, что это было, получил неожиданный ответ: – Ничего не было, тебе все приснилось, а говорить об этом не советуем, может кончиться плохо. Капитан вернулся на корабль расстроенный и сказал:

– Нам все приснилось.

Вечером после окончания разгрузки и погрузки контейнерный наш буксир отправился вверх по Волге в свой очередной рейс.

Лампа чужая и штора чужая,
Вещи менялись, себя обнажая,
Тени растаяли, кончилось масло,
Штора светилась, а лампа погасла.
Это была бесконечная драма,
Черная птица на выступе дома
Думала, что на дворе уже утро.

В семь часов утра мы попросили капитана высадить нас на пристани села Бармино.

БАРМИНО

От пристани до берега метров сто мелководья. Широкий настил из досок, огражденный перилами. На перилах кого и чего только нет. Матросы, грузчики, голуби и воробьи. Какие-то полупьяные старики, а на холме село, подобного которому мы еще никогда не видели.

Но это мы, а по существу и по-видимому, – это довольно типичный волжский купеческий городок. Однако

в конце настила, слева, на перилах сидят три крайне колоритных мужика. В затасканной одежде, в помятых шляпах. Останавливаюсь, заговариваю, рисую. Задаю вопрос о белом, голубом, оранжевом диске. Ночью они спали, и вопрос мой их удивляет. Но позируют они с удовольствием, смотрят на рисунок, узнают друг друга, смеются. По грунтовой дороге поднимаемся. Останавливаемся около первого дома.

Первый этаж кирпичный, с чугунными необыкновенными решетками на окнах и воротах. Второй этаж бревенчатый, жилой, на окошках в горшках цветы. На скамейке перед домом женщина лет сорока. Она объясняет нам, что кирпичные первые этажи – это складские помещения. Село было торговым, связано было с находящейся на другом берегу Волги Макарьевской ярмаркой. В тридцатые годы всех купцов раскулачили и отправили не помню уже в какие лагеря, а дома стоят, как новые, и простоят еще сто лет. Идем дальше. Все дома, как две капли воды, похожи друг на друга, а вот решетки на каждом разные, совсем не похожи одна на другую и каждая, как произведение искусства. Сорок домов, сорок решеток и ни одна не похожа на другую.

Оригинальные самобытные орнаменты, выполненные по заказу с условием, чтобы ни одна не повторяла другую, чтобы одна была лучше другой. Что это? Как товарный знак? Или самоутверждение, желание показать своему соседу, а быть может конкуренту, что и мы не хуже, а может быть, что мы-то получше вас, желание, выраженное в чугунных кованых решетках. Это феноменальное явление. Я рисую дома целиком, улицу целиком. Бармино – это одна очень длинная улица, по обе стороны которой, на одинаковом расстоянии друг от друга гордо возвышаются увенчанные зарешеченными окошечками фронтонов дома-особняки. Фотографирую и рисую все, что попадает в поле зрения.

Десять дней мы работали в Бармино. Три женщины подарили нам три своих новгородских прялки. В первом,

в третьем, в десятом, в двадцатом доме спрашивали мы старух и мужиков – видели ли они ночью голубо-оранжевый диск на небе. – Мы видели, – говорили они, но в райкоме партии нам объяснили, что это нам приснилось.

Свои фотографии чугунных кованых решеток отнес я в журнал «Декоративное искусство». Редакция тут же приняла решение опубликовать их, но попросила меня указать какая решетка расположена на каком номере дома и фамилии владельцев домов. Кто-то объяснил мне, что иначе журнал не в праве опубликовывать их.

– А разве нельзя, – сказал я, – написать – «Волга, село Бармино. Чугунные кованые решетки, год 1968».

– Нельзя, – сказали мне.

Неопознанный объект. Мы никак не могли вычеркнуть это из сознания.

Возникала опасность и сводила с ума
Правды губительной ясность и свободы тюрьма,
и входила в картину, и губила ее,
и согнуло мне спину беспокойство мое...

ВЛАДИМИР КАРАСИК

Каменистый пляж, волны. Зашел в воду, прошел метров пять – вода, до пояса, присел, выпрямился, оглянулся. Со стороны горизонта надвигалась в сторону берега довольно большая волна. Подумал: «Сейчас волна дойдет до меня, подпрыгну, а потом выйду на берег».

Но чего-то я не рассчитал.

Действительно я подпрыгнул, но волна оказалась больше, чем я предполагал, накрыла меня с головой. Я вынырнул поплыл в сторону берега, хотел встать на ноги, передохнуть, но дно подо мною не оказалось, вынырнул, но новая волна накрыла меня, к счастью я не захлебнулся, вынырнул и увидел, что берег от меня отодвинулся метров

на пятнадцать, поплыл к берегу, но новая волна накрыла меня, а до берега уже было метров двадцать пять. Я не волновался, но устал невыносимо, понял, что обязательно надо передохнуть и лег на спину, а ветер все усиливался и огромная новая волна накрыла меня, а до берега уже было метров тридцать пять.

И тут я понял, что из образовавшегося кипящего котла мне не выбраться. Я напряженно всматривался, увидел, что на берегу в плавках стоят человек шесть, что жена моя, видимо, осознав, что я тону, мечется между ними, умоляет оказать мне помощь, но бросаться во внезапно возникший ледяной шквал никто не решался, и я понял, что на этот раз помощи не будет, и что это все.

Это странно, но ни страха, ни сожаления я не испытывал, и еще несколько минут следил за берегом, и только одна прощальная мысль огорчала меня: как жалко, что жена видит меня, и в первый раз я захлебнулся по-настоящему. Но руки еще подчинялись мне, и я снова вынырнул и увидел, что к парапету на набережной подошел молодой человек и стремительно начал раздеваться, а до берега было уже метров шестьдесят.

Снова волна накрыла меня, и я снова ушел под воду, но сознание, что спасение стало возможно заставило меня преодолеть непреодолимое. Руки уже не работали, но я вынырнул, увидел, что спаситель мой уже метрах в пятнадцати от меня и снова ушел под воду. Я понял, что только одна возможность остается у меня – под водой, чтобы не захлебнуться окончательно – не дышать, но что на это у меня остается не больше трех минут. И я вынырнул. Человек был в двух метрах от меня. – Тону, – прохрипел я.

– Беритесь за руку, – задыхаясь и улыбаясь, сказал он. И я схватил его руку левой рукой и перевернулся на спину, откинув правую руку. Больше я ничего не видел и не слышал. Очередная волна перехлестывала, и тут он закричал: – Становитесь на ноги, мы у берега! Я понял, но ноги не подчинялись мне, речь тоже.

Тут несколько человек подняли меня на руки и вынесли на берег. Минут десять меня выворачивало, сердце билось так часто и так оглушительно, что теперь я думал лишь о том – разорвется оно или нет. Через пятнадцать минут сознание вернулось ко мне, рядом со мной стояла жена, не решившиеся на подвиг пловцы ушли на завтрак.

– Где человек, который спас меня, – спросил я жену.

– Не знаю, сказала она, – я помогала тебе и ничего не видела.

Как странно. Он ушел. Полчаса по ступенькам подымались мы к дому творчества, потом добрались до своей комнаты. Сердце билось. Голова горела. Жена вызвала доктора и сестру. Смерили температуру – 41 градус. Я стал замерзать. Обложили грелками и бутылками. Женщина врач сказала, что это стресс. Через два часа я пришел в себя. Рядом со мной на стуле сидел Вильям Мейланд. Я сел на своей кровати. Вильям сказал, что спасение надо как-то отметить. Температуры не было. Силы вернулись. Договорились – после обеда поднимемся на автобусную станцию, там в магазине купим бутылку водки и что будет на закуску, встречаемся на набережной. В три часа на автобусной станции я увидел, что в отходящий автобус пытается войти мой спаситель. Бросился, почти силой вытащил его из машины.

– Через шесть часов, – сказал он, – мой поезд отходит из Симферополя, и через сутки из Москвы улетает в Краснодар мой самолет. У меня нет ни минуты.

– Имя, фамилия, адрес, – сказал я. Он протянул мне записку. Автобус отошел. На записке было написано: Красноярский край, Богучаны. Володя Карасик.

ЕДИНОМЫСЛИЕ – ДВОЕМЫСЛИЕ – ЕДИНОМЫСЛИЕ

5 октября 2011 года. Думаю не о себе, а о поколении, при этом понимаю, как сложен вопрос. Деятнадцатый век.

Русское дворянство. Русское купечество. Мещане, крестьяне. Многонациональное государство. Православие, Мусульманство, Иудаизм, Марксизм, Государство, семья, гражданская война.

Думаю, что дело не в перечислении, думаю, что вопрос значительно сложнее, и писать буду только о том, что попадало в поле моего зрения, ни в коей мере не претендуя на что-то единственно окончательное. Однако назад на восемьдесят лет.

Хохловский переулочок. Детский сад, школа. Нулевка.

Перемена. Все мальчики и девочки, весь мой класс выбегает на двор к воротам немецкого костела и хором, сколько хватает сил:

- Долой, долой монахов!
- Долой, долой попов!
- Мы на небо залезем!
- Прогоним всех Богов!

Дети семилетние, родители их – рабочие, музыканты, политработники, директора заводов, профессора, секретари парткомов. Предположим – пример случайный.

Два года спустя – школьная линейка:

– Павлик Морозов! – Будь готов! – Всегда готов!

Февраль 1943 года. Война. Блиндаж, мои солдаты.

В пустой избе нахожу Евангелие.

Вечер. При свете гильзы читаю вслух, спрашиваю:

– А ты веришь в Бога? – А ты? – А ты? – А ты?

Никто не верит.

– А родители?

– Моя мать верила, но в церковь не ходила, в помещении церкви был склад. За четыре года войны я не встречал ни одного солдата, ни одного офицера и генерала, который бы перекрестился.

В четырех взводах моей роты я, как секретарь комсомольской организации роты, ежедневно проводил политбеседы. По своей рации я, если получалось, слушал последние известия, читал армейскую и фронтовую газеты.

Как замечательно работают эвакуированные заводы!
Сколько стали выплавлено!

Сколько угля добыто!

Полное единогласие.

Какая замечательная была наша коллективизация!

– Сталин? Коллективизация? Да ты с ума сошел, – обрывает меня украинец, сержант Ковалев, – половина моего села была раскулачена, родители не знаю где, коров перерезали, голод...

– А у нас...

– А у нас!

– А у нас – выживаем только за счет огородов...

Это враги народа устроили голод на Украине и в Поволжье. А Сталин – наш великий вождь, за Сталина я жизнь отдам. Уверен, что после окончания войны Сталин увидит, как хорошо устроено все в других странах, распустит колхозы, а землю отдаст крестьянам.

Двадцать солдат моего взвода в восторге, а я в недоумении. Через неделю я понял, что о земле с солдатами говорить нельзя. Можно о мести фашистам, о ненависти к власовцам, о любви, и как это ни странно – о добре и о чести.

И это были не слова.

Я завершаю вторую книгу моих мемуаров.

Да, на войне превалировало единомыслие. Да, лжи было много, но не у связистов-исполнителей, не в среде рядового состава, а среди соблюдающего субординацию старшего офицерского корпуса и абсолютно среди генералитета и особистов.

О доносчиках, которых хватало, говорить не буду.

При всем при этом, мне и находящимся в поле моего зрения лейтенантам и сержантам было хорошо.

Главными мотивировками было чувство выполненного долга и внутреннее понимание, что любые изменения череваты реальностью катастроф и, что безусловно, понять, где информация, а где дезинформация невозможно.

Что говорить? Что делать мне?
Мне страшно жить в моей стране
с ее капитализмом и ностальгией по войне,
с пустым желудком по ночам,
с чувствительностью к мелочам,
с врожденным коммунизмом
и стадным героизмом.

Александр РЕВИЧ
(1921–2012)

ВСЕ ЭТО ЗНАЛИ МЫ...*

* * *

И ласточки мелькнувшая стрела
над самую воду пролетела,
не замочив свистящего крыла,
не окропив стремительного тела,
над зеленью зеркального пруда
вдруг вырвалась на волю из-под спуда,
возникла невзначай из ниоткуда
и тут же ускользнула в никуда,
как бы слилась с безоблачным простором,
с прибрежными кустами и кугой,
являя миг, являя сон, в котором
и вечность, и бескрайность, и покой.

ЯВЛЕНИЕ

Дали, беленные мелом,
мы никогда не покинем,
черные птицы на белом
видятся в мареве синем,
а далеко за пределом
край, где раздолье полыням,
кашкам, репьям и осотам,
всюду растущим по склонам,
по каменистым высотам,

* Составил Алексей Смирнов.

голым, безводным и сонным.
Кажется, в этих вот далях,
здесь, на бесплодных откосах,
путник в белесых сандалях
шел, опираясь на посох,
и под шатром небосвода
легкие марева пыли
вкруг головы пешехода
солнечной дымкой светили.

* * *

Когда нет жалости, какие там стихи!
Устал я, милые, от всяческих ухваток,
от силы напоказ, от прочей шелухи,
от бега взапуски, – и так покой наш краток.

Так много на земле сосны и ковыля,
лишь выйди в этот мир, переступи порожек.
Мне жаль мою жену и Лира-короля,
друзей и Гамлета, щенков и многоножек.

Считаем силою, когда не дрогнет бровь,
считаем слабостью печаль без всякой позы,
но что же делать нам, когда болит любовь?
Величье – кесарю, Шекспиру – смех сквозь слезы.

ПРИВАЛ

По кровле барабанил град
и рушились потоки ливня,
казалось бы, все шло на лад,
хоть этот водо-камнепад
стучался в крышу все надрывней.

Был потолок и три стены,
окно, зажатое в простенки,
такому в мире нет цены,
считая по любой расценке
и по такой, когда живешь,
открытый стуже, ветру, небу,
когда в бараке кормишь вошь
и мрешь собакам на потребу,
когда...

Все это знали мы:
и град, и потолок небесный,
и стены непроглядной тьмы,
и свист падения отвесный.

И, слава Богу, кончен путь,
и милостью дарован высшей
какой-то угол, чтоб уснуть
под ливнем, под грозой, под крышей.

* * *

Car mon reve impossible a pris corps...
Paul Verlaine. Nevermore*

В сон врывается листва,
море лиственного леса,
кров древес, ветвей завеса,
древний облик естества.

В сон врывается, как звон,
осенняя, укрывая,
эта песня ветровая,
эти зовы шатких крон.

* Мой сон несбыточный стал плотью... Поль Верлен. Nevermore.

И несут дорогой сна
в глубь зеленого чертога,
где кончается тревога,
где сквозит голубизна.

Этот сон как жизнь твоя,
где под ветром все в движенье,
где повтор и продолженье
колыбели бытия.

ЧАША

Мог бы совсем не родиться,
мог бы... Но слава Творцу!
Вспомнишь забытые лица –
слезы текут по лицу.

Снежное утро рожденья –
твой незапамятный мир,
тот, где чадили поленья
в печках озябших квартир.

Страху в глаза и отваге
острой крупую мело,
бились кровавые флаги
с белой пургой в стекло.

Снова пространство в сугробах,
вьюга и выстрелы в лоб,
и на холмах крутолобых
ноги вмерзают в окоп.

Все это было когда-то
и остается вовек:
черные строки штрафбата
в белый впечатаны снег.

Жизнь завершается наша
зимней атакой во сне.
Выпита полная чаша,
самая малость на дне.

ПОЭМА О ПОЗДНЕМ ПРОЩАНИИ
(фрагменты)

*Завороженные дрожки
Завороженный извозчик
Завороженный конь*

К. И. Галчиньский.
«Завороженные дрожки»

Над Краковом сырая мгла,
искрится мелкий дождь над Краковом,
и повторяют блеск стекла
булыжники отливом лаковым,
сквозь эту водяную пыль
фонарный свет крадется ошупью,
граненый кафедральный шпиль
мерцает над ночною площадью,
недвижно взмыл его огонь
над кровлями средневековыми,
пролетку тащит мокрый конь
и влажно цокает подковами,
но стоит протянуть ладонь,
исчезнет мигом наваждение,
фантазия хмельного гения –
возница, экипаж и конь.

<...>

Аллея Роз. «Возмездье». Блок.
 Я нажимаю на звонок,
 и женщина в дверях возникла,
 нездешний лик времен Перикла,
 с чертами, как из-под резца,
 но все же польские сугубо
 печально сомкнутые губы
 в мерцанье смуглого лица.
 – Наталья! Здравствуйте, Наталья.
 – Ах, это вы? Я вас ждала. –
 И комната в меня вплыла,
 ее случайные детали:
 гитара, кресло у стола,
 шеренга книг из-под стекла –
 вполне обычные находки,
 но вместо лампы с потолка
 фонарь извозчичьей пролетки
 повис...

<...>

...Фонарь извозчичьей пролетки
 под плоской твердью потолка,
 над ним должны быть облака
 и окон ржавые решетки
 в сыром ущелье тупика,
 и дождь, струящийся века,
 и ветер из далекой дали,
 и зыбкий луч, и полумрак...
 Об этом мы уже читали
 в стихах поэта, там, в начале,
 есть посвящение: «Наталье –
 фонарику... – да, точно так, –
 фонарику замороженной
 пролетки».
 Так ли часто жены
 во мраке служат фонарем?

Мы этот скромный текст берем
как знак высокого признанья
того высокого призванья,
призванья быть поводырем.
Что делать? – я люблю Наталью,
с какой-то странною печалью
знакомый покидаю дом
и камень трогаю шершавый.
Передо мною ночь Варшавы,
и все деревья спят кругом.
Не зимний ветер и не вьюга –
листва касается лица,
но что-то сжало горло туго,
как будто потерял я друга,
как будто схоронил отца.
А где-то спит полночный Краков
под плотным покрывалом туч,
и лужи в дождевых накрапах
дробят фонарный шаткий луч.
Знакомый дождь – такой вчерашний!
Он жметя к Мариацкой Башне,
он караулит на углу,
где спят забитые киоски
и тень извозчичьей повозки
в сырую ускользает мглу.

ПЕРЕВОДЫ*

Агриппа д'ОБИНЬЕ

Со старофранцузского

ФРАГМЕНТ ИЗ «ТРАГИЧЕСКИХ ПОЭМ»

Там, где пророк узрел пылание куста,
Я взгляд, как тетиву, напряг, но даль пуста,
И я бегу в рассвет, в его простор белесый,
Ногами мокрыми разбрызгивая росы,
Не оставляя тем, кто вслед пройдет, дорог,
Лишь смятые цветы моих никчемных строк,
Цветы, которые в полях полягут где-то
От ветра Божьих уст, от солнечного света.

Поль ВЕРЛЕН

С французского

СОЛОВЕЙ

Как возгласы птиц, исполошенных во сне,
Слетаются воспоминанья ко мне,
Слетаются к сердцу, желтеющей кроне
Склоненной ольхи, отраженной в затоне,
В лиловом зеркале мерцающих вод
Печали, которая тихо течет,
Слетаются, слышится ропот невнятно,
Но ветер уносит его безвозвратно,
И шум затихает в листве, и слышна
На грани мгновенья одна тишина,
Ни звука, лишь голос, осанну поющий

* Составили Борис Ревич и Алексей Смирнов.

Тому, что прошло, лишь томящийся в куще
Струющийся голос пичуги лесной,
Любви моей первой, воскресшей весной;
И в грустном сиянье луны восходящей,
Столь царственно бледной над темною чашей,
Задумчивой душною ночью, когда
Безмолвствует мрак и притихла вода,
Лишь ветер над синью качнет, яснолицей,
Дрожащее дерево с плачущей птицей.

ОСЕННЯ ПЕСНЯ

Осень в надрывах
Скрипок тоскливых
Плачет навзрыд,
Так монотонны
Всхлипы и стоны –
Сердце болит.
Горло сдавило,
Пробил уныло
Тягостный час.
Вспомнишь, печалась,
Дни, что промчались, –
Слезы из глаз.
Нет мне возврата,
Гонит куда-то,
Мчусь без дорог –
С ветром летящий,
Сорванный в чаще
Мертвый листок.

Константы ГАЛЧИНЬСКИЙ

С польского

ЛИРИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

- Как любишь ты меня? Ответь!
- Отвечу.
- Ну как?
- Люблю тебя, когда мерцают свечи.
И в солнечных лучах. И в шляпе. И в берете.
В театре. И в пути, когда навстречу ветер.
В малиннике, в тени березок и сосенок.
Когда работаешь, когда вздохнешь спросонок.
Когда яичко разбиваешь ловко
И если падает при этом ложка.
В такси. В автобусе. Пешком. В повозке.
На ближнем и на дальнем перекрестке.
И с гребешком в рублях. И в час веселья.
И в миг тревоги. И на карусели.
В горах. И в море. В ботах. Босиком.
Вчера. Сегодня. Завтра. Ночью. Днем.
Весной, когда летит к вам ласточка с приветом.
- А летом любишь как?
- Люблю, как сущность лета.
- А осенью, когда все в тучах, все уныло?
- И даже если зонтик ты забыла.
- Ну а когда зима оденет окна в иней?
- Люблю, как пляску пламени в камине,
У сердца твоего согреться я могу.
А за окном снега. Вороны на снегу.

БРОДЯЧИЕ МУЗЫКАНТЫ

Бродячим музыкантам –
ох, тари-рари-ра –
веселым дилетантам
вся жизнь – всегда игра;
один – скрипач от Бога, –
другой – флейтист дай Бог! –
повсюду им дорога –
тарира-тари, ох! –
один – весь конопатый,
весь в клеточку другой,
и пусть на них заплаты –
ой, тари-рари, ой! –
уносит дни потоком,
мелькают второпях,
летят гроши из окон,
как стаи медных птах;
в игре – скрипач от Бога,
в игре – флейтист дай Бог,
повсюду им дорога –
тарари-тари, ох!
Настала Пасха вскоре,
пьянит цветочный дух,
но приключилось горе
у музыкантов двух,
тут спятышь от досады,
и ну чистить весь свет:
украли скрипку гады,
и флейты нет как нет.
– Как, Вацек, жить на свете?
Не знаю сам, поверь.
– Ах, Петя, милый Петя,
На чем играть теперь?
Нас музыка кормила,
украл какой-то плут!

Ну что за вражья сила!
Что за безбожный люд!
Встал месяц в карауле,
пел ветер над ручьем...
Вздохнули и уснули
флейтист со скрипачем.
Во мраке среди ночи
явился херувим,
в кудрях из роз веночек,
в кольце горит рубин.
Склонился Ангел божий
в шелках и дымке крыл,
и флейту им на ложе
и скрипку положил,
и вмиг златою сеткой
накрыла спящих мгла,
коснулась легкой веткой
печального чела.
А музыканты наши,
чуть свет они встают:
глядь – скрипка, прежней краше,
и флейта тут как тут.
Бродячим музыкантам
всегда поможет Бог,
любезным дилетантам –
ох, тари-рари, ох!

Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ

ОН ИЩЕТ ЧИТАТЕЛЯ, ИЩЕТ...

* * *

День, утомленный сонной ленью,
Вдруг опускает поводя,
Я снова пропустил мгновенье,
Когда рождается звезда,
И возникает в тихой дали
Еще синеющих небес
Та звездочка нежней печали
И месяц тонкий, как порез.

* * *

Ты – как за тысячу веков,
Ты – страшно далека,
Ты – из приснившихся стихов
Последняя строка.
Строка, которой мне не в труд
Любых певцов забить,
Строка, которой поутру
Ни вспомнить, ни забыть.

ОСЕННЕЕ

Листья падают, не дышат
И лежат как изваянья.
Их трепещущие души
Ожидают покаянья.
Я гляжу на листьев пятна,

Мысль бесплотна и пуста.
Словно сам я аккуратный
Слепок, сделанный с листа.
А деревья в летаргии,
И полны такою негой,
Словно ветви их нагие
Превратились в бронхи неба.
И течет из синей чаши
Вниз по веткам мягкий свет,
И до листьев тех опавших
Им, деревьям, дела нет.
Тихо, крадучись по-лисьи,
Ветер рыщет по лесам,
Поднимает души листьев
И уносит к небесам.

* * *

Там, где свалил меня запой,
На Трубной или Самотечной,
Я, непотребный и тупой,
Лежал в канавке водосточной,
Шел от меня блевотный дух,
И мне явился некий дух,
И он в меня свой взор вперил,
И крылья огненны расправил,
И полдуши он мне спалил,
А полдуши он мне оставил.
И было небо надо мной.
И в небе вился тучный рой,
Подобно рою тлей и мушек,
Душ, половинчатых душой,
И четверть-душ, и душ-осьмушек,
И легионы душ, чью суть
Очерчивали лишь пунктиры,
Где от души осталось чуть,

Где вместо душ зияли дыры.
И плыли надо мной стада
Стыдящихся на треть стыда,
Познавших честь на четверть чести,
А я желал быть с ними вместе.
И ангел их хлестал бичом
И жег кипящим сургучом,
И пламень тек по этой моли,
Но пламень был им нипочем, –
Они не чувствовали боли.
И он сказал мне: – Воспари!
Ты – их певец. Они – твои. –
И разразился странным смехом.
Подобный грохоту громов,
Тот смех гремел среди домов
И в стеклах отдавался эхом.

ВРЕМЕНИ НЕТ

*Не существует времени,
Поскольку нет его.
Поговорим о ревене,
Компоте из него...*

В. Голованов

Сегодня Господь из рая
Изгнал Адама и Еву,
Они идут, доедая
Огрызок яблока с древа,
И вот уже рай исчез –
Остался лишь свет небес.
Сегодня Каин убил Авеля,
Обстоятельства так поступить заставили.
Сегодня, пока все спали,
Христа распяли.

Сегодня Державин написал оду «Бог»
Во славу господню,
Лучше о Боге никто не смог
Сказать сегодня.
Сегодня Хлебников сочинил «Смехачей»,
А «Эдичку» – господин Лимонов.
Сегодня тридцать семь миллионов
Стали жертвами сталинских палачей.
Вошли в сегодня, реальны до жути,
Расположившись как вещи в комнате,
Колчак и Собчак, Распутин и Путин.
Сегодня случилось все, что вы помните, –
События совершились зараз
И вылезли, как морковь на грядке.
А время придумано, чтоб у нас
Было все в голове в порядке.

* * *

А. Левитину

I

Там звездное чудо,
Там звезд огоньки,
Друзья нам оттуда
Кричат,
– Дураки!
Уж вам не потребны
Ни хлябь и ни твердь,
Вам надо на небо,
На небо смотреть.

КОТЛЕТЫ ИЗ РЯБЧИКОВ «МАРЕШАЛЬ»

*У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармазаном макарони
И яичницу свари.
На досуге пообедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке...*

Из письма А. С. Пушкина
к С. А. Соболевскому

Ехать в Тверь за пармезаном –
Разоряться на билет.
А из рябчиков нельзя нам
Сделать жареных котлет?
Все возможно, дорогая,
Если только результат
Мы получим, избегая
Неоправданных затрат.
Никакого нет расчету
Пармезан искать в Твери,
А вот рябчиков всего-то
Будет нужно штуки три.
Да на эти три филея
Щепоть соли, перец, лук,
Лишь для духа сельдерея,
Раков хватит двадцать штук,
Трюфелей штук семь, а кроме –
Фунт грибов, стакан муки.
Словом, то что видим в доме,
В Тверь нам ехать не с руки.
Да мадеры полстакана,
Полстакана, чай, не жаль.

Все! И вместо пармезана
Получаем «Марешаль».

щи

У нас сегодня первым блюдом
(Гость торжествуй и трепещи)
В подарок всем хорошим людям
Царица русской кухни – щи.
Признаюсь я тебе, читатель,
Что в мире лучше нет вещей,
И я великий почитатель
И страстный обожатель щей.
Сквозь все падения и срывы
Я в сердце их своем пронес,
Как на холме среди желтой нивы
Чету белеющих берез.
Кипит, бурлит и пахнет вкусно
В кастрюле или котелке –
Здесь варим мясо, а капуста
Пусть прееет в глиняном горшке.
Когда ж капуста помягчает,
И приготовится бульон,
Он ей свиданье назначает,
С капустой жаждет слиться он.
Теперь добавим в щи коренья,
Заране сваренных грибов,
Но алгоритм приготовления
Узнать поможет лишь любовь.
Мы щи с плиты снимаем ловко
И ставим их на «легкий дух»
В слегка нагретую духовку,
От часу, так часов до двух.
Похлебка наша настоится
И станет точно хороша

Лишь протомившись, как томится
И млеет русская душа.

* * *

Наивный Гамлет хочет цепь разбить,
Взять два звена из всей цепи сомнений.
Но мир не знает роковых мгновений,
Не существует «быть или не быть» –
Вот в чем разгадка наших преступлений.

* * *

Он ищет читателя, ищет
Сквозь толщу столетий, и вот –
Один сумасшедший – напишет,
Другой сумасшедший – прочтет.
Сквозь сотни веков, через тыщи,
А может всего через год –
Один сумасшедший – напишет,
Другой сумасшедший – прочтет.
Ты скажешь: «Он нужен народу...»
Помилуй, какой там народ?
Всего одному лишь уроду
Он нужен, который прочтет.
И сразу окажется лишним –
Овация, слава, почет...
Один сумасшедший – напишет,
Другой сумасшедший – прочтет.

Борис ЧИЧИБАБИН
(1923–1994)

МОИ СТИХИ, МОЕ ДЫХАНЬЕ...*

МАХОРКА

Меняю хлеб на горькую затяжку,
родимый дым приснился и запах.
И жить легко, и пропадать не тяжко
с курящейся сигаркою в зубах.

Я знал давно, задумчивый и зоркий,
что неспроста, простужен и сердит,
и в корешках, и в листиках махорки
мохнатый дьявол жметя и сидит.

А здесь, среди чахоточного быта,
где холод лют, а хижины мокры,
все искушенья жизни позабытой
для нас остались в пригоршне махры.

Горсть табаку, газетная полоска –
какое счастье проще и полней?
И вдруг во рту погаснет папироска,
и заскучает воля обо мне.

Один из тех, что «ну давай покурим»,
сболтнет, печаль надеждой осквернив,
что у ворот задумавшихся тюрем
нам остаются рады и верны.

* Составили Лилия Чичибабина-Карась и Алексей Смирнов.

А мне и так не жалко и не горько.
Я не хочу нечаянных порук.
Дымись дотла, душа моя махорка,
мой дорогой и ядовитый друг.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

По деревням ходят деды,
просят медные гроши.
С полуночи лезут шведы,
с юга – шпыни да шиши.

А в колосьях преют зерна,
пахнет кладбищем земля.
Поросли травую черной
беспризорные поля.

На дорогах стынут трупы.
Пропадает богатырь.
В очарованные трубы
трубит матушка-Сибирь.

На Литве звенят гитары.
Тула точит топоры.
На Дону живут татары.
На Москве сидят воры.

Льнет к полячке русский рыцарь.
Захмелела голова.
На словах ты мастерица,
вот на деле какова?..

Не кричит ночами петел,
не румянится заря.
Человечий пышный пепел
гости возят за моря...

Знать, с великого похмелья
завязалась канитель:
то ли плаха, то ли келья,
то ли брачная постель.

То ли к завтраму, быть может,
воцарится новый тать...
И никто нам не поможет.
И не надо помогать.

* * *

И опять – тишина, тишина, тишина.
Я лежу, изнемогший, счастливый и кроткий.
Солнце лоб мой печет, моя грудь сожжена,
И почиет пчела на моем подбородке.

Я блаженствую молча. Никто не придет.
Я хмелею от запахов нежных, не зная,
то трава, или хвои целительный мед,
или в небо роса испарилась лесная.

Все, что вижу вокруг, беспредельно любя,
как я рад, как печально и горестно рад я,
что могу хоть на миг отдохнуть от себя,
полежать на траве с нераскрытой тетрадью.

Это самое лучшее, что мне дано:
так лежать без движений, без жажды, без цели,
чтобы мысли бродили, как бродит вино,
в моем теплом, усталом, задумчивом теле.

И не страшно душе – хорошо и легко
слиться с листьями леса, с растительным соком,
с золотыми цветами в тени облаков,
с муравьиной землею и с небом высоким.

КЛЯНУСЬ НА ЗНАМЕНИ ВЕСЕЛОМ

Однако радоваться рано –
и пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не зная,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет, – а я-то знаю:
не умер Сталин.

Как будто дело все в убитых,
в неизвестно канувших на Север –
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться, –
не умер Сталин.

Пока во лжи неукротимы
сидят холеные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждет доносчик, –
не умер Сталин.

И не по старой ли привычке
невежды стали наготове –
навешать всяческие лычки
на свежее и молодое?
У славы путь неодинаков.
Пока на радость сытым стаям
подонки травят Пастернаков, –
не умер Сталин.

А в нас самих, труслив и хищен,
не дух ли сталинский таится,
когда мы истины не ищем,
а только нового боимся?
Я на неправду чертом ринусь,
не уступлю в бою со старым,
но как тут быть, когда внутри нас
не умер Сталин?

Клянусь на знамени веселом
сражаться праведно и честно,
что будет путь мой крут и солон,
пока исчадьё не исчезло,
что не сверну, и не покаюсь,
и не скажусь в бою усталым,
пока дышу я и покамест
не умер Сталин!

* * *

Я слишком долго начинался
и вот стою, как манекен,
в мороке мерного сеанса,
неузнаваемый никем.

Не знаю, кто виновен в этом,
но с каждым годом все больней,
что я друзьям моим неведом,
враги не знают обо мне.

Звучаньем слов, значеньем знаков
землянин с люлочки пленен.
Рассвет рассудка одинаков
у всех народов и племен.

Но я с мальчишества наметил
прожить не в прибыльную прыть
и не слова бросать на ветер,
а дело людям говорить.

И кровь и крылья дал стихам я,
и сердцу стало холодней:
мои стихи, мое дыханье
не долетело до людей.

Уже листва уходит с веток
в последний гибельный полет,
а мною сложенных и спетых –
никто не слышит, не поет.

Подошвы стерты о камень,
и сам согбен, как аксакал.
Меня молодые поколенья
опередили, обскакав.

Не счесть пророков и провидцев,
что ни кликуша, то и тип,
а мне к заветному пробиться б,
до сокровенного дойти б.

Меня трясет, меня коробит,
что я бурбон и нелюдим,
и весь мой пот, и весь мой опыт
пойдет не в пользу молодым.

Они проходят шагом беглым,
моих святынь не видно им,
и не дано дышать тем пеклом,
что было воздухом моим.

Как будто я свалился с Марса.
Со мной ни брата, ни отца.
Я слишком долго начинался.
Мне страшно скорого конца.

* * *

Меня одолевает острое
и давящее чувство осени.
Живу на даче, как на острове.
И все друзья меня забросили.

Ни с кем не пью, не философствую,
забыл и знать, как сердце влюбчиво.
Долбаю землю пересохшую
да перечитываю Тютчева.

В слепую глубь ломлюсь напористо
и не тужу о вдохновении,
а по утрам трясусь на поезде
служить в трамвайном управлении.

В обед слоняюсь по базарам,
где жмот зовет меня папашей,
и весь мой мир засыпан жаром
и золотом листвы опавшей...

Не вижу снов, не слышу зова,
и будням я не вождь, а данник.
Как на себя, гляжу на дальних,
а на себя – как на чужого.

С меня, как с гаврика на следствии,
слетает позы позолота.
Никто – ни завтра, ни впоследствии
не постучит в мои ворота.

Я – просто я. А был, наверное,
как все, придуман ненароком.
Все тише, все обыкновеннее
я разговариваю с Богом.

* * *

Ночью черниговской с гор араратских,
шерсткой ушей доставая до неба,
чад упасая от милостынь братских,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Плачет Господь с высоты осиянной.
Церкви горят золоченой известкой,
Меч наострил Святополк Окаянный.
Дышат убивцы за каждой березкой.

Еле касаясь камней Синая,
темного бора, воздушного хлеба,
беглою рысью кормильцев спасая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Путают путь им лукавые черти.
Даль просыпается в россыпях солнца.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Мук не приявший вовек не спасется.

Киев поникнет, расплещется Волга,
глянет Царьград обреченно и слепо,
как от кровавых очей Святополка
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Смертынька ждет их на выжженных пожнях,
нет им пристанища, будет им плохо,
коль не спасет их бездомный художник,
бражник и плужник по имени Леха.

Пусть же вершится веселое чудо,
служится красками звонкая треба,
в райские кущи от здешнего худа
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Бог-Вседержитель с лазоревой тверди
ласково стелет под ноженьки путь им.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Чад убиенных волшбою разбудим.

Ныне и присно по кручам Синая,
по полю русскому в русское небо,
ни колоска под собой не сминая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Над антологией работали

Алексей СМИРНОВ

(автор проекта)

Алла ШАРАПОВА, Лидия КИСЕЛЕВА

Людмила Богуславская,
Александр Войскунский,
Наталья Дьякова
Александр Зорин,
Алла Калмыкова,
Галина Китаева,
Наталья Краско,
Наталья Лапина,
Вера и Сергей Леванские,
Виктор Лунин,

Наталья Мартинец,
Ольга Постникова,
Федор Рабичев,
Борис Ревич,
Людмила Соколова,
Вера Тарасова,
Дмитрий Тихомиров,
Лилия Чичибабина-Карась,
Петр Шлыгин,
Елена Шувалова

Литературно-художественное издание

МАГИСТРАЛЬ АНТОЛОГИЯ

Автор проекта
Алексей Евгеньевич Смирнов

Издатель *Леонид Янович*
Корректор *Оксана Зеленская*
Художник *Владимир Хананов*
Верстка и оригинал-макет *Михаил Щербов*

Налоговая льгота –
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

НП Издательство «Новый хронограф»
Контактный телефон: +7 (916) 651-30-94
по вопросам реализации: +7 (985) 427-91-93
E-mail: nkhronograf@mail.ru
Информация об издательстве: <http://www.novhron.info>

Подписано к печати: 10.01.2021
Формат 84×108/32, бумага офсетная.
Печать офсетная. Объем 17 печ. л.
Тираж 100 экз.
Отпечатано в АО «Т8 Издательские технологии»

ISBN 978-5-94881-498-8



9 785948 814988

